

РУССКОЕ БОГАТСТВО  
1891 no. 4



CHICAGO CIRCLE



LIBRARY

This book is the gift of

**Professor**  
**Edward C. Thaden**

UNIVERSITY of ILLINOIS



# РУССКОЕ БОГАТСТВО

*Dupl. 2/11*

1891

АПРѢЛЬ.

DUPLICATE  
5885

№ 4.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литографія Мясника и Римана. Бассейная ул., № 48.

1891.



# СОДЕРЖАНІЕ IV КНИГИ.

## Беллетристика:

СТР.

ГРАФЪ АВГУСТЪ. Романъ Александра Маньковского (съ польскаго) . . . . .	3
ПОЛЮБИЛА. Повѣсть Е. Я. . . . .	28
НА РОДИНѢ. Стихотвореніе Ал. Будищева . . . . .	52
МАРШЪ ИЗЪ АИДЫ. Разсказъ К. В. (псевдонимъ) . . . . .	53
ГАНКА. Повѣсть Маріи Конопницкой . . . . .	112

## Научный отдѣлъ:

СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА И ЕГО ЛОГИКА. Г. Тарда . . . . .	95
УЧЕНІЕ ОБЪ ЭНЕРГІИ И ТЕОРІЯ СЧАСТІЯ. Р. В.	

Пржишиховскаго . . . . .	141
--------------------------	-----

## НАУЧНЫЕ РЕФЕРАТЫ:

Почти разумныя движенія у растений. Ингерсолля . . . . .	216
Современныя взгляды на чахотку. Burt'a и Hambleton'a . . . . .	217
Противорѣчить-ли ученіе о силѣ детерминизму? Джемса Кролля и Оливера Лоджа . . . . .	219

НАРОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. Соч. Генри Мэна (листь 3)	
---	--

въ концѣ книги.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТІЕ ЧУВСТВА ПРИРОДЫ. Со- чиненіе Альфреда Бизэ . (листы 20 и 21) въ концѣ книги.	
---	--

## Критика и хроника.

### ОБО ВСЕМЪ:

Художественныя выставки: «Передвижная» и «Академическая». (Критическія замѣтки). Созерцателя . . . . .	171
--	-----

### ХРОНИКА ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ:

Нѣчто о самодѣтельности и ея значеніи историческомъ, практическомъ и этическомъ.—Признаки самодѣтельности въ провинціи: Сарапуль, Кологривъ и др.—Борьба съ штундистами.—Дѣло Бартенева, его письмо и дневникъ Маріи Висновской.—Примѣненія къ этому дѣлу размышленій о самодѣтельности. Л. О. . . . .	194
СМЕРТЬ Н. В. ШЕЛГУНОВА . . . . .	214
НЕКРОЛОГИ:	

Кончины Ея Высочества Векикой Княгини Ольги Феодоровны и Его Высочества Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго . . . . .	225
---	-----

(См. на слѣд. стр. обложки).



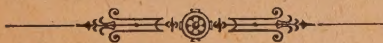
# РУССКОЕ БОГАТСТВО.

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ и НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.



А П Р Ъ Л Ъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

—  
1891.



Дозволено цензурою, С.-Петербургъ 20-го Апрѣля 1891 года.

Типо-литографія  Мѣсника и Римана  
С.-Пб. Бассейная ул. д. 48.



# ГРАФЪ АВГУСТЪ.

Повѣсть Александра Маньковского.

Переводъ съ польскаго.

27 мая.

Просто нельзя уже показаться на площади.

Я шель подъ колоннами, никому не желая зла, добрый, покойный, снисходительный.

— А, здравствуйте, здравствуйте! — воскликнулъ какъ разъ юзаци меня крикливый голосъ.

Я обернулся и задрожалъ, увидѣвъ извѣстнаго каждому, то только побывалъ заграницей, пана Витольту Порай-Тронякевича. Это — фигура несноснѣйшая въ мѣрѣ, трактирный крикунъ, салонный сплетникъ, факторъ, аристократъ, демократъ, то кому понадобится. Въ присутствіи своихъ — либералъ, въ присутствіи чужеземцевъ — напыщенный лѣтописецъ блеска собственнаго своего рода и дѣяній своихъ предковъ, изъ которыхъ каждый съ незапамятныхъ временъ, по крайней мѣрѣ разъ въ вѣдѣлю, спасалъ отчизну. Онъ берется за комиссіи по покупкѣ мѣблѣ, домовъ, по полученію орденовъ, даже по устройству вѣроятныхъ знакомствъ, съ гарантіей скромности. За глазами нѣмъ клеймить каждого, въ глаза — каждому низко кланяется, удѣ-то негодяй или порядочный человѣкъ. Онъ хвастунъ и зааль до смѣшного: съ монархами прогуливается подъ руку, министровъ треплетъ по брюшку. Съ самого дня рожденія онъ е въ ладахъ съ истиной и еще ни разу съ нею не встрѣчался. Однимъ словомъ, это — визгливое и докучливое животное, отъ котораго каждый убѣгаетъ, хотя оно вредитъ только самому себѣ.

Живетъ онъ въ Лондонѣ или Парижѣ. Онъ женатъ на англичанкѣ, которая, конечно — ужъ, ближайшая родственница королевы Викторіи.



Въ дѣло Буланже онъ не желаетъ вмѣшиваться, хотя много рассказываетъ о немъ.

Говорятъ, что онъ былъ знакомъ съ Вильсономъ.

— Что вы тутъ дѣлаете, графъ?—спросилъ онъ.

— Ничего... купаюсь.

— И я пріѣхалъ въ королевѣ Адриатики съ той-же цѣлью.

— Да?—спросилъ я сухо.

— Въ современномъ Вавилонѣ невозможно высидѣть, такъ ужъ стали томить жары. Мнѣ захотѣлось погрузиться въ морскую пучину...

Только-бы онъ не забылъ промыть и свой ротъ.

— Я не умѣю выразить, какъ я радъ, что встрѣтилъ васъ, графъ! На чужбинѣ всегда такъ мила та рѣчь, съ которой къ намъ въ первый разъ обращалась мать.

Тутъ слѣдуетъ замѣтить, что онъ постоянно говоритъ по французски съ сильнымъ англійскимъ акцентомъ.

А любить онъ краснорѣчиво выражаться! Королева Адриатики! Современный Вавилонъ! Римъ,—вѣчный городъ!..

Онъ никогда не скажетъ «локомотивъ», а непременно: «железный драконъ, извергающій огонь изъ пасти!» Не скажетъ врачъ, а непременно эскулапъ; собака, на его языкѣ: самый вѣрный спутникъ человѣка.

Къ счастью подошелъ Жертио, случайно одинъ безъ Орельки. Порай-Тронбакевичъ накинулся на него, а я тѣмъ временемъ удралъ.

Ручаюсь, что онъ тотчасъ-же рассказалъ Жертио, будто я отравилъ свою мать, повѣсилъ моего отца, а изъ банка укралъ значительную сумму.

У этого человѣка нѣтъ ни малѣйшаго чувства равновѣсія, а извѣстно, что тотъ, кто не умѣетъ сохранить равновѣсія, часто ходитъ съ подбитымъ носомъ.

28 мая.

Вчера я не могъ ни одного слова посвятить Зосѣ. Помѣщать ее на одной и той-же четвертушкѣ бумаги съ Порай-Тронбакевичемъ—невозможно.

Удивительна эта Зося! Кажется счастливой, веселой, а, между тѣмъ, въ звукѣ ея голоса слышится едва-едва замѣтная нотка грусти. Что-то, должно быть, мучить ее въ глубинѣ сердца.

Мужъ ея очень честный человѣкъ и привязанъ къ ней. Она... говоритъ о немъ съ любовью. Но любовь-ли это жены?



Можетъ быть, у нея къ нему только привязанность дочери, сестры.

Не думаю, чтобы она вышла за него по любви. Я готовъ повѣрить тому, что ее уговорили родители.

Иначе — откуда-бы у нея взялась эта тихая грусть, которая напоминаетъ прозрачный туманъ, когда онъ, разливается въ воздухъ, несмотря на ясную, солнечную погоду.

Но какъ къ ней идетъ грусть! сколько прелести она придаетъ ей! Даже самая прекрасная симфонія не обходится безъ разбросанныхъ тамъ-и-сямъ минорныхъ пассажей. Иначе она даже неудовлетворяла-бы насъ!

У нея — грусть, а не печаль, а это совсѣмъ иное дѣло.

Одной изъ величайшихъ прелестей Зоси является ея неуѣныя лгать. Свѣтъ этого не любить, но я поклоняюсь этому. Не люблю мутной воды.

29 мая.

Порай-Тронбакевичъ невозможенъ! Я ежеминутно встрѣчаю его на площади, въ ресторанахъ, вездѣ...

Онъ даже ходилъ по домамъ... съ визитами. Сегодня я засталъ его у Гортензіи. Развалившись въ креслѣ, онъ пилъ чай и бесѣдовалъ съ Зосей, смотрѣлъ на нее.

Съ той поры, какъ онъ тутъ, Венеція мнѣ опротивѣла.

Несносная фигура!

30 мая.

Зося несчастлива.

Сегодня утромъ мы пошли съ ней и съ Жертіо осмотрѣть какую-то отдаленную церковь.

Намъ пришлось проходить по узкому лабиринту улицъ, и не зная точно дороги, мы часто съ нея сбивались... Орелька шла впереди, ведя насъ, потому что она знаетъ все и знаетъ превосходно.

Пройдя многолюдныя улицы и магазины, мы очутились въ части города, совершенно неизвѣстной, тихой, въ которой рѣдко встрѣчались прохожіе. За то мы могли всмотрѣться въ домашнюю жизнь бѣднѣйшихъ слоевъ населенія, такъ какъ и окна, и двери, и все, что могло отворяться, было отворено настежь. Поэтому мы часто останавливались, чтобы заглянуть въ глубь темныхъ жилищъ. Въ одномъ мѣстѣ готовился обѣдъ, въ другомъ — работали дѣвушки, склонившись надъ шитьемъ, кое-гдѣ ссорились люди подозрительной наружности.

Солнце свѣтило, погода была прекрасная, а потому все ка-



залось намъ красивымъ, даже нищій въ лохмотьяхъ — съ отвратительно изувѣченными ногами.

На порогъ одного дома шумно и весело играли дѣти. На одномъ изъ нихъ была бумажная шляпа, другой размахивалъ длинной щепкой, изображавшей саблю...

Въ игрѣ проявлялись воинственные наклонности; навѣрное, изъ этихъ дѣтей выйдутъ когда-нибудь отважные герои, которые въ красивыхъ мундирахъ будутъ побѣждать женскія сердца.

Между ними было также нѣсколько дѣвочекъ. Уступая желанью сильнаго пола, онѣ должны были также играть въ солдаты и сражаться.

Когда мы подходили, шла всеобщая схватка. Мальчики изображали войско, пустившееся въ бѣгство, за ними гнались дѣвочки, которыя, наконецъ, схватили одного изъ нихъ, опрокинули на землю и хрупкая на видъ дѣвочка нанесла ему нѣсколько меткихъ и сильныхъ ударовъ.

— Молодецъ, — сказала я Зосѣ и стала хлопать въ ладоши. Зося размѣялась и остановилась.

Дѣти были красивыя, крѣпкія, здорово загорѣвшія на солнцѣ. Одна крохотная бѣлокурая дѣвочка, сидѣвшая на землѣ, очень внимательно слѣдила за игрой, въ которой сама еще не могла принимать участія. Глазки ея и губки смѣялись, а на румяныхъ щечкахъ появлялись хорошенькія ямки. Отъ времени до времени она поднимала голыя ручки и хлопала въ ладоши, которыя не сразу раскрывались, потому что неискусные еще пальчики сжимались и точно склеивались.

Какая прелесть эта крохотка!

Зося не спускала съ нея глазъ, а я смотрѣлъ на Зосю. Игры, между тѣмъ, немного затихли.

Дѣвочка взглянула на Зосю и засмѣялась ей.

— Signora Inglese! Signora Inglese! (госпожа англичанка) — закричала она, шепелявя и не выговаривая половины буквъ.

На лицѣ Зоси выступилъ легкій румянецъ, который началъ усиливаться и густѣть... Руки ея дрогнули, она внезапно наклонилась и, схвативъ дѣвочку, начала ее прижимать къ себѣ и цѣловать.

Когда она выпустила ее изъ объятій, я увидѣлъ двѣ слезинки, катившіяся изъ ея глазъ по лицу. Да, Зося не счастлива, и теперь я знаю почему.

Когда мы возвращались съ нашей прогулки, дѣти уже не играли въ войну. Они сидѣли кружкомъ на мостовой, а ка-



кой-то мальчуганъ импровизировалъ имъ, должно быть что нибудь очень интересное, потому что всѣ слушали его внимательно, разинувъ рты и вытаращивъ глаза.

Нѣсколько дней тому назадъ я смотрѣлъ на Зою, какъ на какую-то добычу, которую жаждалъ присвоить себѣ.

Сегодня я даже не думаю объ этомъ и думать не хочу, потому что во мнѣ что-то протестуетъ, у меня сердце сжимается при одной мысли, что я могъ-бы оборвать лепестки у этого прелестнаго цвѣтка и испортить его.

Это было-бы безчестно.

Но любить ее, только любить ее—можно, слѣдуетъ!.. И я ее люблю—такъ, какъ еще никогда не любить. Эта Зоя—это настоящая весна, это букетъ изъ фіалокъ, ландышей и сирени.

Ни лиліи, ни розы, ни резеда не могутъ сравниться съ этой троицей скромныхъ весеннихъ цвѣтовъ. Это прекраснѣйшіе цвѣты на землѣ.

Пусть живетъ святая и чистая! Я ее не запятнаю даже мыслью. Впрочемъ... А если-бы я зналъ, что она меня любитъ также, какъ я ее люблю?..

Нѣтъ, нѣтъ... не хочу!

31 мая.

Меня всегда изумляли люди, которые жалуются на то, что живутъ далеко отъ почты. Я-же, согласился-бы на уничтоженіе всѣхъ почтъ.

За кофе мнѣ принесли письмо; я узналъ почеркъ моего адвоката. Чего отъ меня нужно этому скучному человѣку? Что я ему сдѣлалъ, что онъ меня преслѣдуетъ даже тутъ?

Какъ было-бы хорошо, если-бы адвокаты не умѣли писать!

На конвертѣ написано «спѣшное», какъ писали въ добрыя старыя времена, когда еще на своихъ лошадяхъ ѣздили въ Карлсбадъ. Къ счастью, для меня письмо не было спѣшнымъ, я отбросилъ его въ сторону.

Однако, все-таки настроеніе мое было испорчено. Это письмо перенесло меня изъ Венеціи въ Варшаву.

Я увидѣлъ контору моего повѣреннаго, его столъ, накрытый зеленымъ сукномъ, связки закоптѣвшихъ бумагъ, шкафы, раздѣленные на отдѣлы, ящики...

Я даже почуялъ этотъ особенный запахъ комнаты, въ которой при постоянно закрытыхъ окнахъ, въ дыму скверныхъ



папирсъ,—нѣсколько людей, которымъ жарко, съ утра до ночи скрипять перьями.

Страхнувъ эти непріятныя воспоминанія, я занялся кофе и закурилъ мою трубочку.

Рѣдко кто умѣетъ курить трубку такъ, какъ слѣдуетъ, т. е. по-турецки, медленно, стараясь удержать тѣло въ величайшемъ спокойствіи. Если-бы вмѣсто того, чтобы пускаться мыслью въ область фантазіи, обитатели Востока вздумали посвящать этотъ часъ отдыха дѣйствительности, если-бы они смотрѣли, слушали и разсуждали,—они оставили-бы далеко за собой всякихъ Бальзаковъ, Диккенсовъ и другихъ наблюдателей.

Фантазія,—вещь прекрасная и яркая, но дѣйствительность интереснѣе, да вдобавокъ она еще и поучительна. У жителей запада нѣтъ времени на ея изученіе, потому что они слишкомъ много двигаются сами.

Сидя у окна, не торопясь, курилъ я трубку и благодаря ей насмотрѣлся на такое множество свѣтовыхъ пятенъ и тѣней, на такую богатую гамму красокъ, что каждый настоящій художникъ позавидоваль-бы мнѣ въ этомъ.

Но меня ожидало и мучило письмо. Наконецъ, я распечаталъ его.

Понятно, что въ немъ шла рѣчь о денежномъ вопросѣ, о небольшой суммѣ, которую я далъ въ займы въ прошломъ году одному бѣдняку, а ему теперь угрожаетъ банкротство.

Добрые люди называютъ его портнымъ, а по моему, гораздо лучше видѣть въ немъ только бѣдняка, потому что его портняжныя попытки доказали только, что онъ неудачно избралъ себѣ профессію. За то онъ отлично выполнилъ другую профессію, супружескую: у него ужъ цѣлая куча дѣтей, хотя смотреть онъ моложе меня.

Дѣти принесли ему долги.

И вотъ онъ обратился ко мнѣ. Но и мои деньги ему не помогли: повѣренный пишетъ мнѣ, что портной на-дняхъ вылетитъ въ трубу, а потому онъ совѣтовалъ мнѣ, не теряя времени, взыскивать свои деньги, и тогда, можетъ быть, удастся спасти хоть двадцать изъ ста. Онъ уговариваетъ меня самого пріѣхать въ Варшаву.

Однако, онъ ошибся: я ужъ отсюда не двинусь.

Вдобавокъ я не люблю, когда около меня кто-нибудь стонетъ, плачетъ, жалуется. Я не выношу вида нищеты.

Вотъ по этому-то, въ ресторанѣ, я никогда не усаживаюсь



у окна, чтобы не встрѣтить взгляда какого-нибудь бѣдняка, который можетъ позавидовать даже и той жалкой пищѣ, которой я тамъ отравляюсь.

Слѣдовало написать что-нибудь адвокату. Ну, я отдѣлался телеграммой.

Мои родственники едва-ли будутъ довольны: они объясняютъ это моею добротой и назовутъ меня идиотомъ. Но я не могу съ этимъ согласиться, это было-бы съ моей стороны телячьимъ лицемѣріемъ; я убѣжденъ, что даже теленокъ ни за что не признаетъ, что человѣкъ выше его: вѣдь у теленка есть свои предѣлы мысли и онъ не въ силахъ понять, что другіе могутъ мыслить шире его.

1 іюня.

Когда я не разговариваю съ Зосей, когда я не смотрю на нее, я просто не знаю, куда дѣваться, а проводить цѣлый день подлѣ нея невыносимо. Вѣдь люди подсматриваютъ, подслушиваютъ, подкарауливаютъ, а Порай-Тронбакевичъ всегда и во всемъ что-нибудь пронюхаетъ.

Зачѣмъ Зося не свободна, зачѣмъ я долженъ скрывать то, что чувствую къ ней, вмѣсто того, чтобы съ поднятой головой передъ всѣмъ міромъ признать, что я ее люблю?

Кто знаетъ? Если-бы она была свободна, можетъ быть, всѣ мои предвзятые правила и принципы рухнули-бы.

Нѣтъ непоколебимыхъ людей, нѣтъ непоколебимыхъ принциповъ. Даже человѣкъ, выкованный изъ желѣза, съ колесиками и пружинами вмѣсто нервовъ, сердца и души, долженъ хотя разъ пережить тяжелую минуту борьбы, даже и онъ колеблется и скажетъ, что правила и принципы — только пустые слова.

И чѣмъ прочнѣе и тверже стоялъ кто-нибудь, тѣмъ страшнѣе онъ можетъ упасть. Только камышъ никогда не падаетъ, за то онъ гнется до самой земли.

Но противно быть камышевой тростью: она сама не можетъ уважать себя.

Впрочемъ, я уже позабылъ всѣ басни и не помню, былъ-ли Лафонтенъ на сторонѣ трости или дуба.

Когда-то я зналъ эту басню наизусть. Меня брали на колѣни, цѣловали и мучили просьбами — продеklamировать ее, и когда я исполнялъ просьбу — меня хвалили, угощали конфетами. Не былъ-ли я тогда тростью?

---



Никого нельзя такъ легко увѣрить, что другіе лгутъ, какъ лжеца. Въ кофейной я встрѣтилъ Порай-Тронбакевича и какъ-бы мимоходомъ сказалъ ему, что между Триестомъ и Венеціей показалось стадо акулъ.

— Не можетъ быть!—воскликнулъ онъ. Объ этомъ писали-бы газеты!

— Зачѣмъ?.. Чтобы выгнать отсюда гостей, которыми городъ кормится?—спросилъ я.

— Правда! сказалъ Порай-Тронбакевичъ—кто вамъ сообщилъ, графъ, объ этихъ кровожадныхъ тиграхъ океана?

— Въ гавани... говорили.

— Предупредите-же знакомыхъ,—сказалъ Порай-Тронбакевичъ.

— Я не совсѣмъ увѣренъ въ этомъ извѣстіи. Впрочемъ, я уже предупредилъ васъ.

— О! Меня это не касается! воскликнулъ онъ. Я и такъ уже намѣревался покинуть королеву Адриатики. И хотя я покину ее со слезой въ глазу, но мнѣ давно необходимо пуститься въ дальнѣйшей путь.

— Куда?

— Купанья тутъ недостаточно сильны. Это—не море, а кроткое, какъ дѣвушка, озеро. Я поѣду на берегъ океана и тамъ помѣряюсь съ силой его волнъ. Въ настоящее время только что пріѣхала въ Біаррицъ ея Высочество испанская инфанта, которая, не смотря на мои либеральныя воззрѣнія, удостоиваетъ меня своей дружбой.

Тронбакевичъ всталъ со стула.

— Какой часъ вы посвящаете вашимъ домашнимъ пенатамъ, графъ?—спросилъ онъ. Это значило просто: «когда я бываю дома?»

— О! Я совсѣмъ не сижу дома.

— Прежде чѣмъ покинуть эти берега, мнѣ хотѣлось-бы проститься съ вами, графъ...

— Мнѣ будетъ очень пріятно,—возразилъ я,—въ четыре я буду дома.

---

И ровно въ четыре часа я входилъ въ гостинную Гортензіи, радуясь, что я проведу пріятный часокъ въ обществѣ Зоси. Радость моя была непродолжительна. Скоро явился и Порай-Тронбакевичъ. Онъ пришелъ проститься съ княгиней. Бѣгая



съ утра съ визитами, онъ уже посѣтилъ нѣсколькихъ княгинь и маркизинь и даже одно Высочество. Очевидно, онъ забылъ о нашемъ утреннемъ разговорѣ, потому что на вопросъ Гортензіи, куда онъ ѣдетъ, онъ откашлялся и отвѣтилъ:

— Говорятъ, что въ водахъ Гасконскаго залива показались чудовищные морскіе тигры, акулы! Я ѣду въ Біаррицъ, чтобы поближе ознакомиться съ ними и убѣдиться, дѣйствительно-ли, онѣ такъ страшны...

Зоя въ углу задыхалась отъ смѣха, зная уже исторію акулъ.

— Впрочемъ, — говорилъ Порай-Тронбакевичъ, — меня вызываетъ туда король Мельхіоръ. Каждый годъ онъ покидаетъ свой маленькій прелестный дворецъ на Елисейскихъ поляхъ, въ которомъ принималъ меня не разъ съ истинно царскимъ гостепріимствомъ, и уѣзжаетъ на купанья, а такъ какъ онъ ко мнѣ милостивъ, то всегда старается, чтобы я былъ подлѣ него... Графъ, — прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, — бывая часто въ столицѣ Мольера, вы, должно быть, не разъ встрѣчали эту типическую фигуру.

— Да, встрѣтилъ разъ на конкѣ, — отвѣтилъ я. — Но вы не уѣзжайте въ Біаррицъ. Оставайтесь съ нами. Тутъ, по крайней мѣрѣ, нѣтъ акулъ.

Тронбакевичъ даже не дрогнулъ, не покраснѣлъ. Онъ уже не помнилъ завязки этой исторіи съ акулами!

Счастливымъ народецъ эти лжецы!

2 іюня.

Тронбакевичъ уѣхалъ.

Объ его пребываніи въ Біаррицъ, — объ инфантѣ испанской и королѣ Мельхіорѣ, мы вскорѣ узнаемъ изъ газетныхъ статей, подписанныхъ «Яропъ».

Такимъ манеромъ ему пришлось вывернуть на изнанку свою фамилію: «Порай». Но онъ желаетъ, чтобы люди ему вѣрили и потому не можетъ подписываться «Порай».

Гортензія неощенна. Она ничего не видитъ, и поэтому мы съ Зосей пользуемся полнѣйшей свободой.

Зоя не нашла квартиры подлѣ княгини. Ея комнаты, хотя въ томъ-же самомъ этажѣ, но выходятъ на другой корридоръ, изъ котораго по другой лѣстницѣ можно выйти на улицу.



Такимъ образомъ, мнѣ иногда удастся избавиться отъ чашки фѹ-че-фѹ.

Знакомые разѣзжаются. Одни возвращаются домой, другіе спѣшать куда-то на воды.

Вся компанія дня черезъ два уѣзжаетъ отсюда въ Вѣну. Ихъ будетъ много въ вагонѣ, имъ будетъ жарко и тѣсно. Прежде чѣмъ они доѣдутъ до Вѣны, они узнаютъ другъ друга насквозь. Съ ними уѣзжаютъ также и Жертіо.

3 іюня.

Сегодня утромъ Жертіо заходилъ ко мнѣ проститься.

— Ёдемъ,—сказалъ онъ.

— Зачѣмъ? Сиди, если тебѣ тутъ хорошо.

— Не могу. И такъ ужъ сидѣлъ слишкомъ долго. Хозяйство не можетъ ждать.

— Э! Вѣдь у тебя-же долженъ быть управляющій.

— Даже очень хорошій... но мнѣ нужно вернуться... Меня что-то туда тянетъ. Подумай-ка! Черезъ мѣсяцъ уже жатва, рожь клонится къ землѣ, колосъ полный и тяжелый... Кромѣ того, надо окончить удобреніе... поднять паръ... Ты любишь смотрѣть, какъ пашутъ?

— А, право, я не думалъ объ этомъ.

— О! Это наслажденіе. Плугъ идетъ ровно, прорѣзываетъ землю, отбрасываетъ ее, крошитъ... земля пересыпается и пахнетъ грибами.

— Вотъ такъ позтъ!

Однако, онъ что-то чувствуетъ, его что-то тянетъ туда, онъ тамъ что-то любить, видитъ нѣчто прекрасное...

— Ну,—сказалъ я,—поѣзжай, если любишь грибы. Тутъ пахнетъ устрицами, да и то не очень свѣжими.

---

Гортензія сегодня нездорова. Она лѣжится чаемъ и куреньями, которыми пропитываетъ свою комнату.

Я засталъ ее въ капотѣ, полулежащей на диванѣ. Съ закинутой назадъ головой, съ полужакрытыми глазами, она говоритъ очень тихо, какъ и надлежитъ человѣку разслабленному. Голосъ у нея плаксивый, какъ цитра.

При видѣ ея, я едва могъ удержаться отъ смѣха.

Гортензія хвораетъ съ упоеніемъ, а случается это съ ней, по крайней мѣрѣ, два раза въ мѣсяцъ: полежитъ на диванѣ дня два, пожелуетъ доктору, а потомъ ужъ и выздоровѣетъ.



Одинъ только ея докторъ вѣрить въ ея болѣзнь, потому что всѣ остальные надъ ней смѣются. Докторъ-же за то два раза въ день подбѣгаетъ къ ея дивану, беретъ за пульсъ, ходитъ на ципочкахъ и говоритъ тихо. Правда, когда дѣло идетъ объ ея здоровьи, Гортензія умѣетъ быть щедрой.

Удивительная сибаритка, эта княгиня Гортензія! Впрочемъ этому нечего удивляться. Богатая, бездѣтная вдова, не имѣющая никакихъ заботъ и огорченій, что-же стала-бы она дѣлать, если-бы не занимала и себя. и другихъ собственной особой.

Говорятъ, что даже духовныя лица отъ нея сбѣгаютъ. И этимъ людямъ, упражнявшимся въ терпѣніи и кротости, — не достаётъ ни того, ни другого, когда они подольше побудутъ съ Гортензіей.

Явилась пани Елена, о которой я писалъ раньше, и притащила коробъ новостей. Гортензія немножко ожила.

4 іюня.

Жертію уже уѣхали, а съ ними и вся орава.

Счастливаго пути!

5 іюня.

Я начинаю думать, что Зося меня любитъ: она избѣгаетъ меня.

Она, кажется, недовольна, что теперь Венеція такъ опустѣла.

Часто она бываетъ чѣмъ-то встревожена. Лицо ея мѣняется въ продолженіе разговора, руки иногда дрожатъ такъ, что она ихъ прячетъ.

Не бойся, бѣдный цвѣточекъ. Я не оборву твоихъ лепестковъ, я не сдѣлаю тебѣ никакого зла.

6 іюня.

Какъ глупъ я былъ, когда убѣждалъ отъ любящей меня Зоси, какимъ негодяемъ я былъ, что могъ добровольно ранить ея бѣдное сердце!

Свобода, свобода! Боже, какое это пустое слово! Что такое свобода безъ Зоси? На что мнѣ эта свобода, когда она не можетъ быть моею? Какимъ я былъ идиотомъ!

7 іюня.

Гортензія вдругъ засуеилась. Она здѣсь знакома кое-съ-къмъ, сдѣлала визиты. Ее теперь невозможно застать дома.

Сегодня ѣдетъ куда-то на вечеръ, завтра тоже...

Въ этой женщинѣ нѣтъ никакого равновѣсія. Она или лежитъ безпомощная, больная, или находится въ постоянномъ движеніи. И то и другое — капризы женщины, которая всегда

жила одиноко, у которой слишком много денег, которая, живя безъ цѣли, не умѣетъ ни въ чемъ переломить себя или къ чему-нибудь себя принудить.

Я полагаю, что если - бы ее добросовѣстно изслѣдовали, то мозгъ ея не оказался-бы въ полномъ порядкѣ. Тамъ чего-то не хватаетъ.

8 іюня.

Зося не хотѣла принять меня сегодня, боится... а Гортензіи не было дома.

Неужели она угадала, что во мнѣ происходитъ? Понимаетъ-ли она, какая святыня она для меня?

Мнѣ надо съ ней поговорить, успокоить ее.

10 іюня.

Мы сидѣли вчера вечеромъ въ гостинной Гортензіи. Окна были открыты, въ нихъ заглядывалъ мѣсяцъ, а легкой вѣтерокъ, шелестя занавѣсками, приносилъ намъ отрывки далекихъ серенадъ.

Гортензія отдыхала послѣ долгого и торжественнаго богослуженія, на которое она слетала на другой конецъ города. Зося занималась рукодѣльемъ. Я ей говорилъ что-то, но она слушала меня разсѣянно.

Вдругъ Гортензія вскочила и ударила себя по лбу.

— Правда!—воскликнула она.—Елена ждетъ меня тамъ! Мнѣ надо было зайти за нею.

— Куда? Зачѣмъ? спросила Зося съ нескрываемой тревогой на лицѣ.

— Мы ѣдемъ въ театръ. Очень забавная оперетка. Елена едва достала ложу.

Зося бросила на меня взглядъ, который показался мнѣ тревожнымъ.

— И я поѣду съ вами, тетя,—сказала она, вставая.

— Хорошо,—отвѣтила Гортензія, но тотчасъ заколебалась.

— Нѣтъ, мое дитя,—прибавила она.—Я тебя съ собою не возьму.

— Почему?

— Елена рассказала мнѣ объ этой опереткѣ... это не для тебя, это какіе-то ужасы!

Зося засмѣялась.

— Нѣтъ, Зося,—продолжала Гортензія,—какъ хочешь, ты увидишь ее когда-нибудь съ мужемъ. Я не хочу брать этого на свою отвѣтственность; ты для этого слишкомъ красива,



слишкомъ чиста, слишкомъ свѣжа... Я должна за тобой при-  
сматривать.

— Ну, такъ останьтесь со мною, тетя,—сказала Зося съ  
принужденной улыбкой.

Бѣдняжка боялась и меня, и себя.

— Не могу! Елена ждетъ... Графъ можетъ идти съ нами...

— О, нѣтъ! У меня концертъ,—отвѣтилъ я.

— Нѣтъ? Такъ прощайте!—воскликнула Гортензія,—мнѣ  
надо спѣшить.

Я сталъ собираться уходить и уже держалъ шляпу въ  
рукѣ. Но мнѣ хотѣлось поговорить съ Зосей, успокоить ее...  
Я взглянулъ на нее.

Блѣдная, взволнованная, съ опущенной головкой, стояла она  
посреди комнаты.

Мы были совершенно одни, никто намъ не могъ мѣшать.  
Постепенно и меня стало охватывать сильное волненіе, я дро-  
жалъ.

Я не зналъ, какъ начать, какъ заговорить съ нею. Молча,  
я смотрѣлъ на нее. Должно быть, мой взглядъ имѣлъ силу,  
потому что она, наконецъ, подняла глаза.

— Пани... началъ я.

Изъ открытаго окна донеслась хорошенькая пѣсенка —  
Тости, въ которой поучаютъ молодую дѣвушку, что все на  
свѣтѣ—суета суетъ, исключая молодости и любви,—и поучаютъ  
такъ краснорѣчиво, искушаютъ такъ мастерски! Мелодія обѣ-  
щаетъ столько наслажденія, такъ закрадывается во всѣ нервы,  
такъ расслабляюще баюкаетъ ихъ!..

Зося внезапно встрепелась.

— Заприте окно, заприте!—воскликнула она съ ужасомъ.

И она запаталась.

Я подбѣжалъ къ ней, чтобы поддержать ее; она хотѣла  
меня оттолкнуть.

— Не бойся, бѣдный цвѣтокъ — прошепталъ я,—я тебѣ  
не сдѣлаю никакого зла... клянусь!...—и я все сильнѣе при-  
жималъ ее къ себѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!—говорила Зося, отталкивая меня. Но  
это было недолго. Вдругъ у нея вырвалось:

— О, люблю тебя!..

11 іюня.

А я, какъ я ее люблю и вѣчно буду любить!

Мы оба обезумѣли, опьянѣли...

Пусть погода хмурится, пусть настанут ненастные дни, пусть тьма окутает землю,—мнѣ свѣтло и тепло, для меня свѣтять звѣзды и солнце, для меня небо ясно, для меня на землѣ рай.

Намъ некогда мыслить. опомниться... мы любимъ другъ друга!

И что-же можетъ насъ интересоватъ, кромѣ насъ самихъ?.. Мы любимъ другъ друга!

Мы столько лѣтъ ожидали подобной минуты, столько лѣтъ сердца наши тосковали по ней! Сколько лѣтъ мы потратили въ отъпенѣніи, которое считали жизнью...

Теперь только мы живемъ. Жизнь безъ любви—смерть.

Мнѣ опять двадцать лѣтъ, а ей опять шестнадцать. Мы красивы, мы молоды, и старость никогда не заглянетъ намъ въ глаза... Мы любимъ другъ друга!

12 іюня.

Мнѣ показалось, что у Зоси сегодня глаза были красны... Что это значитъ?

13 іюня.

Зося опять плакала.

14 іюня.

Что это значитъ? или это, можетъ быть, уже конецъ!

Зося плачетъ, плакала при мнѣ.

— Говори, говори! Что такое?—спросилъ я.

— Не спрашивай... лучше не спрашивай...

И улыбаясь, она прибавила:

— Люблю тебя.

16 іюня.

Да!.. это уже конецъ.

Чѣмъ сильнѣе упоеніе, тѣмъ оно непродолжительнѣе.

Зося плачетъ. Ея честная натура, на минуту опьяненная, теперь очнулась, одерживаетъ верхъ, возмущается противъ сдѣлки совѣсти съ непозволительнымъ увлеченіемъ.

— Онъ такой добрый! такъ любить! такъ вѣрить! повторяла она, заливаясь слезами.

Хочетъ бѣжать изъ Венеціи. [Напрасно я ее умоляю остаться, напрасно.

Плачетъ, отчаявается, молится.

Мы были слишкомъ счастливы, такое счастье не могло долго продолжаться.



17 іюня.

Недавно я содрогался при одной мысли о томъ, что теперь осуществилось въ дѣйствительности. Прежде, когда я только думалъ объ этомъ, это производило на меня впечатлѣніе чего-то варварскаго, на что способенъ развѣ какой-нибудь вандалъ. И такимъ вандаломъ сталъ я самъ, сталъ въ ту минуту, когда клялся ей, что не сдѣлаю ей никакого зла.

Человѣкъ—подлое созданіе.

Я разбилъ гениальное произведеніе Бога, нарушилъ гармоническое цѣлое, въ которомъ душа, сливаясь съ тѣломъ, образовала одну красоту.

И грустно какъ-то, и безобразно, и отвратительно, хоть я вызываю въ памяти отрывки изъ даровитѣйшихъ писателей, желающихъ меня убѣдить, что я поступилъ хорошо. Вѣдь, и цвѣточки склоняются другъ къ другу, потому что этого требуетъ природа, потому что противъ нея идти нельзя, потому что ея цѣль—жизнь, а не летаргія.

Но выше законовъ природы законы Того, кто ее создалъ. Безъ нихъ не было-бы цѣльности, гармоніи, законченности. Сама эстетика этого требуетъ.

Я сдѣлалъ безобразную вещь, но кто-же-бы на моемъ мѣстѣ поступилъ иначе? Не явились-ли главными виновниками того, чего уже не исправить,—и этотъ расслабляющій свѣтъ мѣсяца, и морской вѣтерокъ, и отрывокъ той чудной пѣсенки?...

Быть можетъ... Но случилась вещь скверная... И мы оба плачемъ.

Ужаснѣе всего то, что Зося уже не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ была до сихъ поръ. Въ ней уже нѣтъ равновѣсія между душой и тѣломъ, нѣтъ этой небесной гармоніи.

Тѣло ея похорошѣло, но это—уже не та Зося, которую я любилъ нѣсколько дней тому назадъ.

Она сама тоже видитъ и чувствуетъ, что стала другой, что измѣнилась не въ свою пользу—и навсегда!

Она отдала мнѣ все, пожертвовала всѣмъ. Это должно-бы было приковать меня къ ней еще крѣпче.

Я готовъ пожертвовать ей жизнью, но чувство мое будетъ уже другое. Это уже не та Зося.

У меня бывали любвишки, но я никогда истинно не любилъ. Теперь люблю и потому-то такъ горько плачу надъ ней. Теперь люблю и потому понимаю супружество: только супру-

жество въ состояніи освятить животную сторону человѣческой натуры и набросить на нее покровъ.

Все остальное—только печаль, безобразіе и отвращеніе!

Соблазнителемъ по профессіи я никогда не былъ... мнѣ случалось падить женщинъ, которыя возбуждали во мнѣ минутныя вспышки.

Зоси, которая была для меня святыней,—я не сдумѣлъ пощадить.

И въ наказанье—теперь я уже не могу благоговѣть передъ нею.

Если-бы она была свободна, я-бы могъ возвратить ей ея гармонію.

Теперь я ничего не могу для нея сдѣлать.

Она хочетъ ѣхать къ мужу.

У человѣка, котораго она не любить, она ищетъ защиты отъ того, кого любить, кому пожертвовала всѣмъ.

И я удерживать ее не имѣю права, не смѣю, не хочу... Я чувствую себя мелкимъ, сквернымъ, ничтожнымъ...

18 іюня.

Зося уѣзжаетъ сегодня вечеромъ. Гортензія возмущена. Она жалуется на мужа Зоси за то, что онъ не далъ ей докончить начатаго купанья и такъ внезапно вызываетъ въ Карльсбадъ.

Зося не лжетъ; поэтому всю эту исторію пришлось сочинять мнѣ.

Зося только повторяетъ, что ей непременно надо ѣхать.

Прощаніе было подавляющее, не освѣщенное никакой надеждой. Оно было печально, какъ все, что даетъ намъ жизнь.

19 іюня.

Уѣхала.

Я останусь тутъ еще недѣлю для соблюденія приличій. Кромѣ насъ двоихъ, пусть никто не знаетъ, что между нами произошло.

20 іюня.

Ея вѣтъ.

Мы простились навѣки. Вмѣсто того, чтобы искать другъ друга, мы будемъ избѣгать другъ друга.

Мы были слишкомъ счастливы.



24 іюня.

Не могу стряхнуть съ себя печали. Черезъ два дня я уѣзжаю отсюда.

25 іюня.

Жара становится невыносимой.

Белладжіо, 30 іюня.

Движеніе вагона, новые виды, все это принесло мнѣ долю облегченія.

Въ особенности повліяла на меня зелень.

Въ Венеціи я любовался образцовыми произведеніями, моремъ, солнцемъ, небомъ, однако, чувствовалъ, что мнѣ чего-то недостаетъ.

Только выѣхавъ за Местре, гдѣ я увидѣлъ сады и луга, я понялъ, что глазъ мой тосковалъ о зелени.

Я посѣтилъ Лугано и Палланце, но солнце слишкомъ палило. Тутъ-же на этомъ язычкѣ земли, пробирающемся въ самую средину лазурнаго озера, не такъ жарко. Белладжіо выходитъ на сѣверъ.

Только въ присутствіи этой воды, этихъ тѣнистыхъ рощъ, возвышающихся ступенями другъ надъ другомъ, въ присутствіи скалъ, нагроможденныхъ въ отдаленіи, и еще болѣе отдаленныхъ горъ съ снѣжными вершинами, можно видѣть, какъ мизерно и ничтожно то, что создано людьми.

Въ присутствіи природы человѣкъ—крохотный карликъ. Что онъ значитъ въ присутствіи тѣхъ чудесъ, которыми Богъ надѣлилъ землю? Онъ можетъ развѣ только губить и истреблять ихъ.

Да, человѣкъ только истреблять умѣетъ.

Меня постоянно преслѣдуетъ образъ плачущей Зоси. И она была гениальнымъ произведеніемъ Бога, которое я, такъ называемый художникъ, уничтожилъ. Гдѣ-же я могу найти спокойствіе послѣ такого поступка?

Всетаки мнѣ тутъ легче, нежели въ Венеціи. Тамъ каждая гондола, каждая пѣсенка, распѣваемая вечеромъ, напоминали мнѣ о моемъ преступленіи.

Зачѣмъ-же она не умерла чистая и святая наканунѣ того вечера, который мы провели вдвоемъ, слушая сатанинскую пѣсенку Тости.

Странное дѣло, какъ люди обращаютъ мало вниманія на вредное вліяніе музыки.

Фетисъ въ своей книжкѣ о музыкѣ описываетъ ея вліянье

на животныхъ. Слоны, даже эти громадныя массы мяса и жира, испытываютъ вліяніе музыки, и при звукахъ нѣкоторыхъ мелодій или инструментовъ ведутъ себя такимъ образомъ, что нравственность должна строго порицать ихъ.

А у людей больше чувства и нервовъ, нежели у слоновъ.

Музыка вреднѣ морфія: кромѣ тѣла, она разстраиваетъ и душу. Изъ театра или концерта каждый выходитъ надломленнымъ.

Ноктюрнъ! Прелюдъ! это такія короткія, невинныя вещи!..

Между тѣмъ хорошо исполненный ноктюрнъ можетъ надѣлать много зла, въ особенности если его творцомъ является Шопенъ или Шуманъ, два геніальныхъ художника, которые звуками рассказываютъ намъ то-же самое, что Мюссе или Гейне рассказывали стихами. Кое-гдѣ мы встрѣчаемъ отблескъ улыбокъ, а затѣмъ вездѣ горечь, печаль, сомнѣніе, скептицизмъ, словомъ—все болѣе охватывающій насъ Weltschmerz.

Только одни прежніе художники были оптимистами. У Бетховена мы видимъ спокойное величіе, здоровый архитектурическій строй, царящій надъ мелкими заботами, омрачающими жизнь. Моцартъ увлекаетъ насъ солнечной ясностью и весенней поэзіей... Мы видимъ деревья, луга, ручейки и красивыхъ здоровыхъ людей, жизнь которыхъ является полосой тихихъ радостей, лишь кое-гдѣ перемѣшанныхъ съ небольшими заботами.

Нашъ вѣкъ не порождаетъ такихъ творцовъ. Розовыя стекла разбиты во всѣхъ сферахъ искусства.

1 іюля.

И тутъ жара томить. Поѣду въ Швейцарію.

Интерлакенъ, 4 іюля.

Свѣжо даже на югѣ. Тѣни много, деревья громадныя. Я останусь на лѣто тутъ.

Душа мало-по-малу исцѣляется, тѣло бодрѣетъ.

Тутъ страшно—много туристовъ, а въ Швейцаріи не знаютъ другой жизни, кромѣ жизни гостинницъ.

Волей—неволей, я уже приобрѣлъ нѣсколько знакомствъ. Къ счастью я попалъ на людей, съ которыми можно бесѣдовать.

5 іюля.

Должно быть, я ношу отпечатокъ своей грусти на челѣ, потому что уже нѣсколько барынь меня спрашивали о состояніи моей души. Женщины любятъ исповѣдовать мужчинъ.



6 іюля.

У меня какое-то особенное счастье на заморскихъ сосѣдкахъ за столомъ. Въ Венеціи я познакомился съ креолкой изъ Буэносъ-Айреса или Бердичева, а тутъ я сидѣлъ сегодня подлѣ роскошной англичанки изъ восточнаго Индостана, которая несомнѣнно родилась отъ индіянки. Кожа у нея смугло—румяная, глаза—жгутъ, улыбка опьяняетъ, а зубы ослѣпляютъ. Я давно не видѣлъ такого выраженія страсти въ губахъ.

Эта не женщина, это—пожаръ!

Одѣвается она оригинально, не такъ какъ всѣ барыни. То, что кажется красивымъ на ней, было-бы на всякой другой уродливымъ.

Мужъ отвезъ ее въ Интерлакенъ, а самъ поѣхалъ въ Геную устраивать какія-то дѣла.

Странная, въ самомъ дѣлѣ, порода—эти мужья красивыхъ женщинъ! Опасность угрожаетъ на каждомъ шагу, а они ее облегчаютъ, какъ-бы умышленно. Въ этомъ отношеніи я даже былъ-бы лучше ихъ всѣхъ, потому что я бы сторожилъ.

Мистриссъ Бердъ (моя индіянка) принадлежитъ къ разряду тѣхъ сокровищъ, за которыми слѣдуетъ особенно присматривать. Не смотря на наружное спокойствіе и небрежныя движенія, она выглядитъ такъ, что у нея не хватитъ терпѣнья и двѣ недѣли ожидать мужа.

Для охраны денегъ цивилизація предлагаетъ намъ несгораемыя кассы. Для охраны женъ нашихъ, которыя должны-бы были быть намъ дороже денегъ, цивилизація до сихъ поръ не изобрѣла ничего. Въ этомъ отношеніи варвары стоятъ выше насъ. Для охраны женъ—они изобрѣли огнеупорныхъ людей.

Пріѣхавъ сюда вчера, мистриссъ Бердъ сегодня знаетъ уже всю молодежь, живущую въ гостинницѣ. У нея найдется что-нибудь сказать каждому.

Женщина, которая вызываетъ,—теряетъ долю прелести, какъ крѣпость, отворяющая ворота безъ борьбы. Пріятнѣе осаждать и завоевать.

Когда послѣ обѣда мистриссъ Бердъ вышла на прогулку вся въ бѣломъ, она походила на зарю среди зимняго пейзажа. Едва она показалась, ее уже окружила толпа молодежи, и тотчасъ-же зазвучало интерлакенское эхо, повторяя веселый смѣхъ, долетавшій даже до незапятнанныхъ одеждъ величавой Юнгфрау, утопающей въ вечернемъ сумракѣ.

Несмотря на радужное приглашеніе индіянки, я отдѣлался

отъ прогулки. Однако, хотя я сдѣлалъ это очень вѣжливо, въ ея глазахъ мой отказъ показался невѣжествомъ, и она поставила мнѣ дурную отмѣтку.

Но что-же мнѣ было дѣлать? Не могъ-же я быть однимъ изъ этой своры окружающихъ ее пустынныхъ юнцовъ. Не могъ-же я рисковать, чтобы меня приняли за одного изъ нихъ.

Впрочемъ, я тутъ не ищу общества. Я предпочитаю бродить одиноко,нося съ собою свою грусть и воспоминаніе о Зосѣ.

7 іюля.

Ручка у индіянки невиданная и неслыханная: несмотря на ея восхитительную форму и микроскопическіе размѣры, въ ней ощущается какая-то тигриная сила, и каждый ея пальчикъ, кажется, заканчивается когтемъ.

Свободныя движенія этой женщины и смѣлые взгляды доказываютъ неисчерпаемый источникъ самоувѣренности и вѣры въ свои чары.

Сегодня опять она одѣта оригинально, даже неприлично, потому что ея декольтированное платье рѣжетъ глазъ въ залѣ гостиницы. Несмотря на это, она затмила всѣхъ женщинъ, даже какую-то сентиментальную нѣмочку, въ зеленомъ репсовомъ платьѣ, застегнутомъ подъ самое горло.

Голосъ у мистриссъ Бердъ звучный, даже и тогда, когда она говоритъ по-англійски. Тѣло у нея восхитительное, и въ смыслѣ очертаній, и въ смыслѣ колорита; гибкое и въ то-же время упругое. При видѣ ея, у свободного мужчины должна кружиться голова.

Отъ всей ея особы вѣетъ жаждой извѣдать всѣ наслажденія міра; она не вѣритъ ни во что иное.

У нея есть потребность очаровывать, одурять, магнетизировать. Она, должно быть, внучка Факира. Сила взгляда у нея громадная.

Но умъ у нея птичій.

И вотъ поэтому-то, хотя она и пыталась въ началѣ обѣда поддѣлаться подъ мое серьезное настроеніе, мы вскорѣ скатились съ него до гораздо болѣе низкаго уровня. Я говорилъ ей такія вещи, которыхъ-бы устыдился самъ Коко.

Ободренная моей пошлостью, она спросила меня, не пойду-ли я сегодня гулять съ ней.

— Нѣтъ, я избѣгаю шума.

— Рѣшительно?



— Рѣшительно.

— Развѣ вы боитесь?—сказала она съ огненнымъ взглядомъ.

— Чего?

— Чего?.. повторила индіянка, но не дала мнѣ дальнѣйшихъ объясненій.—Однако-же, вѣдь вы не женаты?—прибавила она черезъ минуту.

Несмотря на свою красоту, она показалась мнѣ отвратительной! Я ненавижу женщинъ, которыя бросаются на шею.

— Нѣтъ, сударыня,—отвѣтилъ я,—потому что я выше всего цѣню свободу и покой.

Индіанка была зла. Хотя она старалась скрыть свое раздраженіе, но достаточно было видѣть, какъ она обходилась съ жаренымъ голубкомъ, лежавшимъ у нея на тарелкѣ.

Когда она ѣстъ, она напоминаетъ мнѣ тигра.

Умъ у нея птичій, но душа тигрицы

8 іюля.

Начало обѣда прошло у насъ въ молчаніи. Индіанка дулась, а я этимъ пользовался. Ей хотѣлось, чтобы я заговорилъ съ ней, но у меня не было подобныхъ намѣреній. Я видѣлъ, какъ она слегка покраснѣла. Наконецъ, ужъ не будучи въ состояніи долѣе выдержать молчанія, она спросила.

— Такъ вы врагъ женитьбы?

— Да, сударыня.

— Почему?

— Потому что женитьба убиваетъ прекраснѣйшую вещь въ мірѣ: любовь.

— Какимъ образомъ?

— Слишкомъ приближая къ женщинѣ, она даетъ возможность узнать ее.

— А вы не хотите знать женщинъ?

— Я предпочитаю ихъ любить.

— Всѣхъ?

— Да, по очереди.

— Далеко-же вы съ этимъ уѣдете!

— Вплоть до Интерлакена.

— А тутъ?..

— Вплоть до конца обѣда. Взгляните, сударыня: время пролетѣло какъ быстро, что намъ уже можно ѣсть миндаль и финики.

— Вы такъ радуетесь этому, точно этотъ обѣдъ вамъ въ тягость.

— Немножко. Кухня тутъ слишкомъ жирна.

Индіанка пожала плечами.

— Значить, вы не отрицаете любви?..

— Наоборотъ.

— Вы пойдете на прогулку?

— Не могу.

— Мы пойдемъ одни, вдвоемъ.

— Небо хмурится, можетъ пойти дождь...

— Что за бѣда!

— Моя тетка не позволяетъ мнѣ подвергаться сырости. Вѣдь, легко нажать насморкъ!..

Индіанка отвернулась отъ меня.

9 іюля.

Наѣхало много новыхъ туристовъ. Я воспользовался этимъ движеніемъ въ гостинницѣ и велѣлъ свое мѣсто за обѣдомъ перенести на другой конецъ стола.

Завтра я уѣзжаю отсюда.

Интерлакенъ роскошная мѣстность, но это — не деревня, это—гостинница. Впрочемъ, мнѣ при одномъ видѣ индіанки уже тошно.

12 іюля, Бриенцъ.

Нашелъ хорошенькую квартирку.

Я нанялъ здѣсь нижній этажъ маленькаго домика, состоящій изъ двухъ чистыхъ комнатъ. Въ одной я сплю,—въ другой могу читать, рисовать... Изъ оконъ вижу прекрасное озеро и большія деревья.

Тихо тутъ, покойно и свѣтло.

Я очень люблю національную одежду женщинъ въ Бернскомъ кантонѣ. Къ несчастью, она встрѣчается все рѣже. Ее можно видѣть только въ праздничные дни.

Жительницыерна красивыя, бѣлыя, здоровыя; глаза у нихъ очень выразительныя, а губы точно сахарныя.

Два дня тому назадъ я ходилъ на Tanzmusic (на танцы) въ сельскую гостинницу, которая недалеко отсюда. Я люблю смотрѣть на искреннюю веселость народа, люблю видѣть его танцы, слушать его смѣхъ. Простякамъ хорошо живется на свѣтѣ!

Если-бы человѣкъ путешествовалъ только въ праздничные дни, онъ-бы подумалъ, что въ жизни смѣхъ преобладаетъ надъ



слезами. Воскресный смѣхъ простаковъ искрененъ, потому что они тяжело трудились въ теченіе шести дней. Физическій трудъ — источникъ здоровья не только для тѣла, но и для души. Если-бы я былъ способенъ работать тѣломъ, я умѣлъ-бы и смѣяться.

Но мое тѣло безпомощно. За то я работаю душой, мечтаю, а это не даетъ покоя.

Человѣческій трудъ, постоянное движеніе, борьба, война, все это стремится къ единственной цѣли, — къ золоту, доставляющему хлѣбъ.

У меня этого хлѣба больше, чѣмъ я въ состояніи сѣсть. Хорошо и то, что я не проматываю своего состоянія.

Впрочемъ, я не увѣренъ даже въ этомъ, хорошо-ли я поступаю, не тратя его. Если-бы я даже выбрасывалъ его изъ оконъ, изъ него не пропала-бы ни одна кроха, ничего: оно перенеслось-бы только изъ одного — въ тысячи кармановъ. Отъ этого выиграли-бы тѣ, которые работаютъ, создаютъ, продаютъ... Даже, кто знаетъ, не размѣстились-ли мои деньги такимъ способомъ лучше и полезнѣе, чѣмъ я распорядился въ своемъ духовномъ завѣщаніи, обдумывавшемся такъ долго: вѣдь, судьба не слѣпа, она аккуратна и логична, какъ старый нѣмецъ.

Но поэтому человѣкъ, не имѣющій семьи, не обязанъ-ли проживать состояніе?

Я представляю себѣ широко разинутые рты нашихъ помѣщиковъ — экономистовъ, если-бы кто-нибудь осмѣлился высказать при нихъ такое мнѣніе! Они хотѣли-бы каждый садикъ превратить въ майоратъ. Правда, они не могутъ понять, что состояніе существуетъ для человѣка. По ихъ мнѣнію, человѣкъ созданъ для состоянія.

Вчера въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ я устраивался въ моихъ веселыхъ комнаткахъ. Въ нихъ немного мебели, но я переставилъ всю. Должно быть, мнѣ будетъ тутъ хорошо.

13 іюля.

Утромъ шелъ дождь. Я очень скучалъ, потому что читать непрерывно нельзя, а выйти на улицу невозможно.

Мнѣ пришла въ голову блестящая и отличная мысль. Маруся не знаетъ Швейцаріи. Выпишу я ее сюда, и намъ будетъ очень спокойно и тихо. Мы будемъ вспоминать славныя прошлыя времена. Зигмунтъ останется съ дѣтьми, а Маруся немножко развлечется. Такъ какъ они быются изъ-за каждой

копѣйки, то всё ея путевыя издержки я возьму на себя. Съ двоюроднымъ братомъ она не станетъ церемониться.

Я отправилъ къ ней длинную депешу. Если она не приметъ моего предложенія, то сдѣлаетъ глупость, потому что не знаю, какимъ другимъ способомъ она ознакомится съ Швейцаріей.

Къ полудню слегка прояснилось, и я могъ отправиться обѣдать.

Подлѣ ресторана или вѣрнѣе трактира, въ которомъ я обѣдаю, устроили кегельбанъ, но въ будни подлѣ него никого нѣтъ. Покинутый онъ производитъ впечатлѣніе трупъ.

Видя, какимъ жаднымъ взглядомъ я поглядываю на кегли, надо мною сжалился молодой парень Гансъ, прислуживающій мнѣ за столомъ и предложилъ партію въ кегли.

Я чуть не обнялъ его. Когда нечего дѣлать, то и кегли хороши.

Мы играли часа два. Гансъ обыгралъ меня въ конецъ. Онъ обѣщалъ мнѣ дать завтра отыгратъ, если въ трактирѣ не будетъ гостей. Честная душа этотъ Гансъ!

Я заранѣе думаю съ наслажденіемъ, какимъ крѣпкимъ сномъ я усну послѣ этихъ кегель.

14 іюля.

Сегодня утромъ солнце свѣтитъ, и кегли можно отбросить. Принесли мнѣ отвѣтъ Маруси.

Она благодаритъ меня, но не можетъ оставить мужа.

Нечего дѣлать, пусть привозитъ сюда и Зигмунта. Отправляясь на прогулку, я зашелъ въ телеграфную контору.

Окрестности озера Бріенца восхитительны. Зелено, свѣжо, а тропинки превосходныя, такъ что самыя отдаленныя прогулки не утомляютъ.

На разстояніи часа ходьбы, въ глубокой котловинѣ, сжатой двумя скалистыми стѣнами, надъ быстрымъ потокомъ, стоитъ красивая мельница, до которой я сегодня добрался по красивой, тѣнистой дорожкѣ.

Мельница примыкаетъ съ одной сторонки къ фруктовому саду, въ которомъ отдѣльную группу образуютъ громадныя каштаны съ раскидистыми вѣтвями.

Подъ каштанами разстилается мягкая, роскошная мурава. На ней можно лежать по цѣлымъ часамъ и, прислушиваясь къ разгнѣванному потоку, смотрѣть вверхъ на спутавшіяся



вѣтви и листья, между которыми кое-гдѣ просвѣчиваютъ фантастическаго покроя клочки лазурнаго неба.

При мельницѣ помѣщается молочная, по двору бѣгаютъ куры, а откуда-то изъ какого-то хлѣва доносится веселое хрюканье сибаритовъ, жизнь которыхъ представляетъ непрерывную полосу тѣхъ единственныхъ наслажденій, которыя они въ состояніи оцѣнить.

На мельницѣ во всякое время можно достать молока, свѣжихъ яицъ и хорошей ветчины.

Мнѣ очень нравится этотъ уголокъ; я часто буду приходить сюда съ книгами и красками.

Всѣ обитатели мельницы молоды, веселы и у всѣхъ славныя лица. Они охотно болтаютъ и въ гостѣ, кромѣ туриста, умѣютъ видѣть человѣка, который скучаетъ.

Мельникъ и его жена, его младшій братъ Францъ и красивая служанка Анна, составляютъ маленькую колонію при мельницѣ. Двое дѣтей играютъ, смѣются или плачутъ въ садикѣ.

Францъ и Анна непременно должны любить другъ друга.

Они были-бы глупы, если-бы не любились. Такіе оба красивые, такіе здоровые, такіе нормальные, а въ этомъ уголкѣ такъ весело и свѣжо.

Кромѣ того, они живутъ подъ одной крышей, заняты однимъ трудомъ, ѣдятъ одинъ хлѣбъ.

Всѣ веселы и довольны жизнью. Я буду заходить сюда: вѣдь, при видѣ ихъ, и я чувствую себя бодрѣе.

15 іюля.

Отвѣтъ отъ Маруси: «Зигмунтъ не можетъ бросить хозяйства».

Право они смѣшны съ этими соображеніями. Имъ кажется, что это какіе-то «принципы».

Будетъ-ли Зигмунтъ присматривать за своимъ хозяйствомъ или нѣтъ—дѣла его всегда пойдутъ плохо. То, что я хочу сдѣлать для нихъ сегодня, того, можетъ быть, я не сдѣлаю завтра. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться этимъ, они предпочитаютъ сидѣть въ деревнѣ и считать копы.

А я знаю, что Маруса давно мечтаетъ о Швейцаріи, которую она знаетъ только по рисункамъ.

— Ну, пусть дѣлаютъ, какъ знаютъ! Не могу-же я перенести и ихъ помѣстье вмѣстѣ съ ними въ Бріенцъ.

Снова занепогодилось. Вмѣсто прогулки на мельницу—

пришлось играть въ кегли. Гансъ не даетъ мнѣ выиграть ни одной партіи. Скоро онъ бросаетъ службу и пойдетъ въ банкиры.

Подъ вечеръ въ кегельбанъ пришли двое старыхъ швейцарцевъ. Одинъ изъ нихъ сапожникъ, а другой кузнецъ. Гансъ уступилъ имъ свое мѣсто и они принялись за меня.

Стемнѣло. Мнѣ не хотѣлось возвращаться въ пустую квартиру, такъ что я провелъ въ трактирѣ еще часокъ. Попивая пиво, я болталъ съ моими кегельными побѣдителями. Подсѣлъ къ намъ и Гансъ.

Они заупрямились, желая непременно заплатить за пиво.

Я становлюсь ужасающе идилическимъ.

Воображаю себѣ, какъ-бы посмѣялись мои знакомые, какъ я самъ посмѣюсь когда-нибудь надъ этимъ распиваніемъ пива съ сапожникомъ, кузнецомъ и трактирнымъ слугою.

Впрочемъ, это вовсе не смѣшно: вѣдь, я знаю заранѣе, что мнѣ скажетъ каждый изъ моихъ знакомыхъ, а тутъ я былъ въ совершенно неизвѣстной мнѣ области.

Отъ сапожника, шьющаго сапоги, отъ кузнеца, кующаго подковы, отъ слуги, прислуживающаго въ трактирѣ, я могу что-нибудь узнать, чему-нибудь научиться.

Отъ человѣка, который ничего не дѣлаетъ, я ничему не научусь.

Кромѣ того, мы, люди образованные, поклоняемся искусству настолько, насколько оно приближается къ стоящей выше его природѣ.

Сапожникъ, кузнецъ и трактирный слуга — развѣ не природа?

16 іюля.

Сегодня опять дождь и кегли, потомъ бесѣда и пиво.

Впрочемъ, я не могу на это пожаловаться: я не скучалъ въ трактирѣ.

За то я облѣнился относительно чтенія. Книжки меня утомляютъ.

*(Продолженіе будетъ).*



# ПОЛЮБИЛА.

Повѣсть.

## I.

Анна Матвѣевна ѣхала въ концѣ августа на крестьянской телѣжкѣ въ с. Вознесенское, гдѣ получила мѣсто учительницы. Погода стояла хорошая, теплая. Глубокое радостное чувство охватывало дѣвушку; исполнилось ея давнишнее горячее желанье! Да тутъ было не одно только желанье, а и необходимость.

Отецъ ея былъ священникомъ въ селѣ Ивановѣ, находившемся верстахъ въ двѣнадцати отъ мѣста, куда была назначена его дочь. Онъ былъ очень бѣденъ и имѣлъ большую семью, которая состояла изъ жены, женщины болѣзненной, и преждевременно состарившейся отъ заботъ, горя да частыхъ родовъ,—и изъ шести человѣкъ дѣтей. Анна Матвѣевна была самая старшая. Она кончила курсъ въ учительской семинаріи, года полтора ходила на педагогическіе курсы и вотъ, наконецъ, получила назначеніе въ учительницы. Ей только нынѣшнимъ лѣтомъ пошелъ девятнадцатый годъ, но на видъ она казалась еще моложе. Средняго роста, съ мягкими манерами, она производила пріятное впечатлѣніе: хотя лицо у нея было некрасиво—широкое, немного плоское, но цвѣтъ кожи былъ замѣчательно свѣжій и здоровый. Сѣрые опушенные длинными рѣсницами глаза, когда она задумывалась, казались темными, почти черными; бѣлокурые мягкіе, какъ ленъ, волосы она стригла въ кружокъ какъ у мальчика. Давно она мечтала быть учительницей, и вотъ ея желанье, наконецъ, исполнилось, черезъ часъ она будетъ на мѣстѣ. Все ее радовало въ этотъ ясный теплый августовскій день—

и поля съ рыжей щетиной выкошенныхъ хлѣбовъ, и начинавшія кое-гдѣ зеленѣть озими, и широкая, туманившаяся даль горизонта, и старикъ—крестьянинъ, который ее везъ изъ родного села, и даже мохнатая рыжая лошадь, уморительно дергавшая головой. Со всѣми ей хотѣлось подѣлиться этой радостью, и даже старику Семену, везшему ее, она рассказывала свои планы и соображенія.

— Ты подумай, дѣдушка, вѣдь какъ близко отъ родныхъ.

— Это-точно! Это вамъ Богъ помогаетъ!

— Именно, Богъ, помогаетъ, дѣдушка! Ты подумай, теперь-ужъ я не буду у отца на шеѣ сидѣть! сама буду зарабатывать деньги трудомъ. Вѣдь я теперь совсѣмъ богачка! Триста рублей! не шутка! Сколько хорошаго можно сдѣлать! Для меня, вѣдь, Сименушко, немного нужно. Какихъ-нибудь сто рублей. Полтора ста рублей буду отдавать въ семью. А остальные пятьдесятъ рублей можно отдавать на какое-нибудь хорошее дѣло....

Но тутъ она почувствовала, что старику трудно понять эту часть ея плановъ, и она стала мечтать молча объ устройствѣ библіотеки для крестьянъ, или чтеній съ волшебнымъ фонаремъ. А въ праздники она можетъ учить дѣвочекъ работать и вмѣстѣ съ ними перешивать изъ старья платья и рубашки бѣднымъ крестьянскимъ дѣтямъ.

## II.

Вотъ на пригоркѣ завиднѣлось, наконецъ, и село Вознесенское. Анна Матвѣевна бывала и раньше въ немъ, но теперь всматривалась во все съ особенной любовью: все теперь здѣсь казалось ей своимъ, роднымъ; село было бѣдное, маленькое, но чистое и уютное. Небольшая бѣлая деревянная церковь съ сверкавшимъ на солнцѣ крестомъ пріятно выдѣлялась среди сѣрыхъ домишекъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ церкви виднѣлась совсѣмъ развалившаяся часовенка, а за нею сельское кладбище, окруженное живою изгородью изъ акаціи.

Домъ священника маленькій, чистенькій, только что отстроенный, весело выглядывалъ изъ за зелени и блестѣлъ на солнцѣ своими четырьмя окошками. За нимъ шли дома дьякона, дьячка, ихъ постройки и огороды. На другомъ концѣ села была школа, въ которую теперь особенно всматривалась



дѣвушка, хотя школа почти ничѣмъ не отличалась отъ крестьянскихъ избъ: только была побольше да надъ ней темная вывѣска. У подошвы горы, на которой было расположено село, протекала рѣка; змѣйкой тянулась она далеко, далеко, то пропадая въ зелени ивняка и ольшанника, то снова показывая наружу свои прозрачныя, зеркальныя воды. А тамъ дальше, за рѣкой бесконечно тянулись зеленые луга съ пасущимися на нихъ стадами; поля озимаго и яроваго хлѣба, пестрой гречихи и голубого льна. Видѣлось нѣсколько помѣщичьихъ усадебъ, съ красными и зелеными крышами, купающихся въ зелени садовъ.

### III.

Переѣхавъ рѣчку въ бродъ и поднявшись въ гору, наши путники остановились у дома священника. Анна Матвѣевна, перенеся свои вещи въ сѣни съ помощью Семена, вошла въ маленькое зальце.

Отецъ Михаилъ былъ давно знакомъ съ ея родными. Это былъ человѣкъ высокаго роста, широкоплечій, съ впалой грудью. Не смотря на свой высокій ростъ и худобу, онъ держался всегда очень прямо, отчего его фигура имѣла гордую и величественную осанку. Ему было лѣтъ 50, но волосы и борода сохранили свой каштановой цвѣтъ и красивыми прядями падали на темносинюю люстриповую рясу. Говорилъ онъ чрезвычайно медленно, растягивая каждое слово, словно наслаждаясь звукомъ собственнаго голоса. Это былъ простой, добрый человѣкъ, любившій хорошо поѣсть и попить.

Въ ту минуту, какъ вошла учительница, онъ сидѣлъ у письменнаго стола, заваленнаго бумагами, и внимательно писалъ какой-то отчетъ.

— Ну вотъ и новая учительница!—весело вскричала Анна Матвѣевна, протягивая ему руку. Священникъ всталъ. Серьезное выраженіе, бывшее на лицѣ его, смѣнилось добродушной улыбкой.

— Новая? Нѣтъ, старая, давнишняя.—Онъ опять улыбнулся, погладилъ по привычкѣ свою широкую, окладистую бороду рукой и прибавилъ:—Ну поздравляю васъ. Дай вамъ Богъ всего хорошаго на этомъ честномъ, тяжеломъ пути. Много труда предстоитъ вамъ, много! Отецъ Михаилъ пригласилъ дѣвушку на диванъ и самъ присѣлъ рядомъ.

— Ну, труда я не боюсь, весело заговорила дѣвушка: я, напротивъ, давно желаю его.

— Школа-то у насъ маленькая, холодная, сырая, учениковъ всегда много, ну, вотъ трудновато вамъ будетъ, трудновато.

— Да неужели-жъ такъ трудно? Живуть-же другія.

— Конечно, живутъ, но и живы не всегда остаются: прихватятъ себѣ какую-нибудь болѣзнь да и умирають. Конечно, разныя бываютъ школы, разные и порядки. Ну, а въ этой-то умаетесь, сказалъ вздохнувъ отецъ Михаилъ. Да-съ, напередъ говорю, если вы не имѣете удовлетворительнаго здоровья да большаго запаса терпѣнья—не выдержите, Анна Матвѣвна, не выдержите, д—а—а—съ!

— Нѣтъ, отецъ Михаилъ, я давно себя готовила къ этой дѣятельности и ни на какую другую ее не промѣняю. Можетъ быть, сначала и трудно покажется, да вѣдь ко всему привыкають.

— Вы обѣдать, конечно, у насъ будете, Анна Матвѣвна, что-же вамъ самимъ хлопотать, беспокоиться. А матушка моя васъ отлично будетъ кормить, просто, но вкусно, ужъ за это ручаюсь. А осмотръ школы мы ужъ до завтра оставимъ.

Черезъ нѣсколько времени внесли самоваръ, явилась матушка, жена отца Михаила, полная, высокая женщина, довольно красивая, но съ тупымъ, какъ-бы застывшимъ выраженіемъ лица. Она слыла по всему округу дикаркой и странной, почти всегда молчала, никогда не показывалась въ обществѣ и выходила только къ очень близкимъ знакомымъ.

Она церемонно поздоровалась съ Анной Матвѣвной и, не сказавъ ни слова, стала заваривать чай.

Анна Матвѣвна разговаривалась. Долго и горячо говорила она о своихъ планахъ о будущихъ занятіяхъ, высказывала свои мечты и мысли. Она оживилась, глаза блестѣли. Даже молчаливая матушка слушала ее съ удовольствіемъ и противъ обыкновенія, вставила нѣсколько замѣчаній. Часы въ гостиной пробили одиннадцать.

— Ну-съ, пора, поздно, сказалъ отецъ Михаилъ, тяжело подымаясь съ дивана. Прощайте, Анна Матвѣвна, дай Богъ, чтобы все удалось, какъ вы желаете.

— А что, я хотѣла у васъ спросить, отецъ Михаилъ, сказала Анна Матвѣвна, подавая ему руку: обязана я представить въ этомъ году старшій классъ къ экзамену?

— Да, обязаны; но если вы найдете ихъ познанья не-удовлетворительными, вы можете заявить объ этомъ инспектору и просить отложить экзамены до будущаго года, сказалъ отецъ Михаилъ зѣвая. Еще разъ покойной ночи.—Матушка!— обратился онъ къ попадѣ, покажи Аннѣ Матвѣевнѣ ея комнату.

#### IV.

На другой день, напившись чаю, Анна Матвѣевна и отецъ Михаилъ отправились осматривать школу.

Школа, какъ и рассказывалъ священникъ, дѣйствительно представляла невеселый видъ. Она была небольшая, въ четыре окна. Стѣны были плохо проконопачены, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ конопатка даже и вовсе отвалилась. Полъ былъ дурно сколоченъ, весь въ щеляхъ. Школа состояла изъ двухъ комнатъ; одна изъ нихъ, совсѣмъ маленькая, предназначалась для помѣщенья учительницы, здѣсь только и могли умѣститься кровать, столъ и стулъ. Входъ въ другую, довольно большую комнату, которая предназначалась для занятій, велъ прямо съ крытаго балкончика. Въ этой комнатѣ бросалась въ глаза большая русская печь. Отъ самой двери, вдоль обѣихъ стѣнъ шли «парты», по четыре съ каждой стороны. По стѣнамъ было развѣшено нѣсколько картинъ изъ священнаго писанія и географическая карта, неизвѣстно зачѣмъ попавшая сюда. Въ переднемъ углу висѣлъ образъ.

«Да, тутъ, должно быть, холодно бываетъ зимою!»—подумала Анна Матвѣевна, осмотрѣвъ школу.

Священникъ, какъ-бы угадавъ ея мысли, сказалъ:

— Какъ видите, невеселое помѣщеніе, сыро, холодно, грязно! Ну, да какъ-нибудь потерпите эту зиму, а на будущій годъ мы вамъ новую выстроимъ. Вамъ-бы, конечно, было удобнѣе поселиться у меня, но вы, вѣдь, знаете мою матушку, она ни за что не рѣшится нарушить обычный порядокъ дома, да и притомъ тѣсновато у насъ. Да это бы все ничего, размѣстились-бы какъ-нибудь, да вотъ характеръ-то у нея, слышали небось....

Онъ улыбнулся добродушно.

— Нѣтъ, ничего, не беспокойтесь, какъ-нибудь устроюсь.



Выйдя изъ школы, Анна Матвѣевна обратилась къ священнику:

— Такъ вы ужь, пожалуйста, отецъ Михаилъ, дайте мнѣ своего работника помочь перенести вещи. Я хочу совсѣмъ устроиться. Да хорошо было-бы и плотника взять, такъ какъ потребуются нѣкоторыя поправки.

— Хорошо, это даже можно и сейчасъ сдѣлать, — сказалъ отецъ Михаилъ, поглаживая бороду. А пріемъ вы думаете когда назначить? — прибавилъ онъ.

— Мнѣ-бы хотѣлось начать поскорѣе, хотя-бы даже и завтра; я вѣдь нѣкоторыхъ крестьянъ предупредила, что пріѣду сегодня и чтобы они приводили своихъ дѣтей.

До самаго вечера Анна Матвѣевна съ помощью плотника, взятаго изъ ближней деревни, и работника отца Михаила приводила въ порядокъ школу. Наконецъ, все, что возможно, было сдѣлано. Столы и лавки были вытерты и разставлены по порядку; полъ вымытъ: дыры въ стѣнахъ и полу, гдѣ возможно, были забиты и законопачены. Правда, все это было сдѣлано на скорую руку. Сама Анна Матвѣевна принимала дѣятельное участіе въ этой уборкѣ. Свою комнату она также устроила. Къ стѣнѣ, подальше отъ окна изъ предосторожности, чтобы не дуло, поставила кровать, около нея стулъ и маленькій столикъ. На окна повѣсила бѣлыя занавѣски.

Наконецъ, все было устроено, плотникъ съ работникомъ ушли, и Анна Матвѣевна, не отдыхая, усѣлась за письмо.

«Ну, дорогой Петръ Ивановичъ, — писала она, — вотъ я и у пристани. Только сейчасъ перебралась и, не отдыхая, принялась писать вамъ: видите, какая я послушная! Ну, писать о себѣ пока нечего. Очень мнѣ ужь отчего-то весело; и все ужасно нравится, хотя отецъ Михаилъ каркаетъ и сулитъ всякія бѣды. Ну, да поживемъ-увидимъ! Ну, а вы какъ? Когда ѣдете въ Духовную Академію? Даже сердце немножко замираетъ, когда подумаю, сколько мы времени не увидимся! А, вдругъ, вы меня забудете? Нѣтъ, нѣтъ, вы — не такой! Это я такъ! Я вѣрю въ наше хорошее будущее. Мы еще молоды, пока поработаемъ: вы — въ Академіи, я здѣсь; вѣдь не очень ужь долго, а тамъ и о своемъ счастьи подумаемъ. Да и будете-же вы писать мнѣ и пріѣзжать будете и на праздники, и лѣтомъ, а за работой время незамѣтно пройдетъ! Милый, голубчикъ, не забывайте меня, пишите почаще. Ну, до свиданья, или, вѣрнѣе, до перваго

вашего письма! Вотъ и сгрустнулось что-то! Не надо этого, не надо! И вы не скучайте!

Ваша Анна.

P.S. Не забудьте-же вашего обѣщанія выслать мнѣ книжекъ. Какія деньги понадобятся на посылку и пересылку, я вышлю. Ну, еще разъ до свиданья! «Съ Богомъ, на дѣло»! — какъ сказали вы мнѣ на прощанье. Какъ у меня врѣзались въ память эти слова! И какое славное лицо у васъ было, когда вы ихъ сказали. Спасибо Вамъ за все, безъ васъ я многого не понимала-бы и не знала, и не было-бы мнѣ такъ хорошо!»

На конвертѣ она аккуратно вывела адресъ: Петру Ивановичу Сокольскому, студенту Духовной Академіи.

#### V.

На другой день Анна Матвѣвна, вмѣстѣ съ отцемъ Михиломъ, отправилась въ школу на пріемъ.

Тамъ уже собралось около двадцати мальчиковъ и дѣвочекъ и нѣсколько бабъ, которыя сами привели своихъ дѣтей, больше для того, чтобы посмотрѣть на новую учительницу.

Анна Матвѣвна записала имена и фамиліи учениковъ и ученицъ, сдѣлала имъ небольшое испытаніе и, по мѣрѣ ихъ знаній распредѣлила по отдѣленіямъ. Съ бабами и дѣтьми Анна Матвѣвна скоро освоилась, и у нихъ завязался оживленный разговоръ. Нѣкоторые изъ мальчиковъ посмѣли попросили у нея книжекъ «почитать». Когда всѣ разошлись и Анна Матвѣвна собралась уходить, въ школу вошла женщина изъ сторожки — Матрена. Она привела своего сына Василия, уже большого мальчика, лѣтъ четырнадцати. Василій очень понравился Аннѣ Матвѣвнѣ; это былъ бойкій, умный парнишка, онъ уже хорошо читалъ, писалъ и порядочно зналъ ариметику, такъ что его свободно можно было помѣстить въ третье отдѣленіе. Оказалось, что учиться онъ началъ уже давно и до всего дошелъ самъ.

Пріемъ занялъ у нея часа три времени. Усталая, но довольная вернулась она къ священнику.

Черезъ недѣлю у Анны Матвѣвны насчитывалось до 60-ти учениковъ и ученицъ, но она все еще продолжала пріемъ. Ей было жаль отказывать и она принимала всѣхъ

безъ разбора, маленькихъ и взрослыхъ, знающихъ и не знающихъ. Поступая сюда, она никакъ не воображала, что будетъ такой наплывъ желающихъ учиться. А жажда и любовь къ учению была огромная. Нѣкоторые приходили за десять и даже болѣе верстъ. Наконецъ, когда дошло до семидесяти-двухъ учениковъ, она рѣшила, что пріемъ пора кончить, хотя желающіе еще являлись, и ей очень жаль было имъ отказывать.

## VI.

Прошло четыре мѣсяца, какъ Анна Матвѣевна учительницей.

Наступила зима съ своими вѣтрами, метелями и холодами. Школу сколько ни топили, а въ ней все было холодно и сыро. Изъ пола, стѣнъ, оконъ дуло; въ углахъ промерзало. Помѣщенія было такъ мало по количеству учениковъ, что больше половины мостились, кто какъ могъ. На лавкахъ сидѣло по шести—семи учениковъ. Дѣти сидѣли въ шубахъ и валенкахъ. Сама Анна Матвѣевна тоже надѣвала теплое пальто и калоши. Когда собирались ребяташки, то въ комнатѣ дѣлался такой тяжелый воздухъ и духота отъ сапогъ и полушубковъ, что приходилось отворять дверь въ сѣни. Но несмотря на всѣ эти неудобства, мальчики охотно посѣщали школу и за все это время перестали ходить только два или три самыхъ лѣнливыхъ и неспособныхъ. Труда была масса. Приходилось работать по вечерамъ, съ огнемъ. Правду сказалъ отецъ Михаилъ, что идохнуть было некогда. Но кто самъ не испыталъ всего этого, тотъ никогда не въ состояніи понять, какъ великъ трудъ сельскаго учителя.

День она проводила слѣдующимъ образомъ: въ 8 часовъ вставала, наскоро пила чай и въ 9-ть, иногда и въ половинѣ девятаго шла заниматься съ дѣтьми. Такъ какъ школа была слишкомъ мала по числу учениковъ, да и лавокъ не доставало, то нѣкоторымъ приходилось сидѣть на полу или стоять. Занятія она распредѣлила такъ: въ то время, когда старшіе читали или дѣлали задачи, среднему отдѣленію она задавала что-нибудь списывать. Больше всего труда доставляли ей ученики младшаго отдѣленія. Большая часть изъ нихъ не знала даже азбуки. Въ особенности трудно было учить тѣхъ, которые учились раньше по старому методу. Въ началѣ,



когда она еще не освоилась съ своимъ дѣломъ, ей было чрезвычайно трудно заставить себя слушаться. Крикъ и шумъ въ классѣ былъ ужасный, нѣкоторые изъ самыхъ буйныхъ мальчиковъ взбирались на парты, кричали и чуть не подымали драки. Но черезъ двѣ — три недѣли, когда она немного привыкла и къ дѣтямъ, и къ своему дѣлу, порядокъ значительно улучшился, мальчики перестали такъ шумѣть, а главное, полюбили учительницу.

Въ половинѣ 12-го Анна Матвѣевна отпускала дѣтей объѣдать, а сама отправлялась къ отцу Михаилу. Ровно черезъ часъ, иногда немного позднѣе, опять начинались занятія. Въ три часа младшее и среднее отдѣленіе она отпускала домой. Старшіе-же уходили къ себѣ только по субботамъ и помѣщались въ сторожкѣ или у дьячка. Тѣ изъ нихъ, которые были послабѣе, оставались заниматься у нея и на вечеръ. Иногда ученіе продолжалось часовъ до девяти или до десяти. Ужъ куда здѣсь было думать о чтеніи или о шитьѣ рубашекъ и платьевъ для бѣдныхъ! Сшить что-нибудь для самой себя, и то не доставало времени, такъ что она должна была просить объ этомъ родныхъ. Только по праздникамъ удавалось ей прочесть что-нибудь изъ книгъ, высланныхъ Сокольскимъ, и написать ему. Въ будни-же чтеніе, въ особенности серьезное ей было даже не подъ силу. Не прочитавъ и десяти страницъ, она чувствовала, что глаза ея слипаются, буквы прыгаютъ и, не смотря на всѣ ея усилія, ея утомленный мозгъ рѣшительно отказывался повиноваться и не усваивалъ прочитаннаго.

Но въ особенности ей приходилось плохо, когда ученики расходились по домамъ, а она оставалась только съ немногими изъ вечернихъ учениковъ; тогда холодъ давалъ себя еще болѣе чувствовать; чтобы согрѣться, она раньше ложилась въ постель, закутывалась худенькимъ байковымъ одѣяломъ, накрывалась сверху еще шубой, но не могла согрѣться.

Почти единственной ея отрадой были письма отъ Сокольскаго. Онъ описывалъ ей сперва подробно свою новую жизнь въ огромномъ городѣ, своихъ товарищей, свои знакомства и развлечения, но мало-по-малу однообразіе его жизни отразилось и на письмахъ они стали короче и въ нихъ она почувствовала сердцемъ отношеніе къ себѣ нѣсколько свысока, хотя и проникнутое старой ласковостью и любовью. Наивный

и робкій семинаристъ все-же испытывалъ на себѣ вліяніе большого города и новыхъ знакомствъ: тонъ его писемъ былъ какой-то болѣе шутиливый и насмѣшливый, чѣмъ вначалѣ. Она понимала, что его охватываютъ и новые умственные интересы, и новыя науки, о которыхъ онъ не можетъ говорить съ ней, и это невольно отдаляетъ его отъ нея. Сердце ея слегка тосковало, но и тосковать было некогда. Работа не оставляла времени даже для этого.

Одну только большую переменѣну замѣтила она въ себѣ: она стала не такъ ровна, не такъ покойна, часто раздражалась почти безъ причины до криковъ, до слезъ, и въ такія минуты дѣти пугались и притихали, а она черезъ четверть часа, успокоившись, просила у нихъ прощенья. Да еще она замѣтила, что очень похудѣла и поблѣднѣла за это время: глаза немножко ввалились и были окружены темными кругами. Иногда, показывая, какъ писать, она замѣчала, что у нея сильно дрожатъ руки и почему-то очень пугалась этого. Порой на нее нападали сильные припадки безпричинной тоски, когда не хотѣлось никого видѣть и она даже не шла обѣдать къ отцу Михаилу.

Чаще другихъ крестьянокъ посѣщала ее сторожиха Матрена, мать Василия, горячо интересовавшаяся успѣхами сына, въ которомъ она видѣла будущаго кормильца своей большой семьи. И учительница очень полюбила эту суровую, трудолюбивую женщину.

Отецъ Михаилъ давно замѣтилъ, что учительница сильно худѣетъ и блѣднѣетъ и предложилъ ей перейти жить къ себѣ въ домъ, не смотря на нежеланіе жены. Но Анна Матвѣевна была горда и самолюбива и увѣряла, что тамъ ей будетъ менѣе удобно, такъ какъ далеко отъ школы.

Но все-бы это ничего. Что для нея холодъ, сырость, непосильный трудъ! Она съ ними справится. Здоровье-же свое она считала желѣзнымъ: вѣдь, — она еще ни разу не была здѣсь больна, въ томъ смыслѣ, какъ это обыкновенно понимается, терпѣнья-же и силы ей не занимать. Одно ее огорчало: черезчуръ слабые успѣхи учениковъ! Не то она воображала. Правда, тѣ, которые прежде едва умѣли читать и писать, теперь всему этому обучены, хотя и не очень хорошо. Но она ожидала большего и не могла привыкнуть къ этой мысли, хотя о. Михаилъ и утѣшалъ ее, увѣряя, что это, напротивъ, большой успѣхъ. Впрочемъ, о младшемъ отдѣленіи

она не горевала. Ее мучила и беспокоила старшая группа, которую необходимо будет вести въ маѣ на экзамены. Прощенія объ отсрочкѣ экзаменовъ она не хотѣла подать раньше, думая, что справится, а теперь уже было поздно, да и самолюбіе не позволяло.

Такъ шелъ день за днемъ, въ общемъ ничѣмъ не отличаясь одинъ отъ другого. Анна Матвѣевна по-прежнему занималась въ школѣ, по-прежнему мерзла и, только благодаря своей крѣпкой организаціи не схватила никакой болѣзни.

Въ школѣ тоже шло все по старому и не произошло никакихъ перемѣнъ, если не считать того, что снова выбыло нѣсколько мальчиковъ, на этотъ разъ — по болѣзни. Анна Матвѣевна съ нетерпѣніемъ ожидала наступающихъ праздниковъ, чтобы хотя на нѣсколько времени отдохнуть и поправиться.

---

Наконецъ, приблизилось и Рождество. Дѣти были отпущены по домамъ. Она сама тоже собиралась сегодня къ своимъ роднымъ и дожидалась сестры, которая должна была за ней пріѣхать. Анна Матвѣевна обошла въ послѣдній разъ школу, привела въ порядокъ книги и другія учебныя пособия, уложила и, взявъ книгу, сѣла около окна. Вдругъ ей послышался скрипъ полозьевъ по снѣгу; она подняла голову и посмотрѣла въ окно, стараясь рассмотреть черезъ промерзшее стекло, кто сидитъ въ саняхъ. «Нѣтъ, это не сестра, а какой-то мужчина, но только на нашей лошади»!

Вдругъ она вспыхнула и быстро отошла отъ окна. Въ фигурѣ сидѣвшаго на козлахъ мужчины она узнала Сокольскаго и побѣждала отворять двери.

— Петръ Ивановичъ! Давно-ли пріѣхали вы? весело закричала она, выбѣгая въ сѣни: и не написаль, что пріѣдетъ!? Хорошъ! А что-же сестра?

— Что, не ожидали? Я нарочно и не писалъ, чтобы сюрпризъ вамъ устроить. Ну, а вы какъ? — говорилъ онъ, беря ее за обѣ руки и всматриваясь въ лицо, которое вспыхнуло такимъ румянцемъ, такъ оживилось, что онъ и не замѣтилъ ея худобы и блѣдности.

— А сестра ваша немного нездорова, отвѣчалъ Сокольскій. — Ну, что-жь, напоите меня чаемъ или поѣдемъ сейчасъ? А недурно-бы погрѣться. Холодно вато нынче.



— Ужь такъ и быть, поставлю самоваръ для дорогого гостя. Только идите мнѣ помогать. А лошадь привязали?

— Привязалъ, будьте благонадежны. Ну-съ, идемъ ставить самоваръ! — весело говорилъ Сокольскій, раздѣвшись. Анна Матвѣевна увидѣла въ немъ теперь большую перемену: онъ былъ одѣтъ франтомъ, говорилъ развязно, и манеры у него были какія-то другія.

Петръ Ивановичъ Сокольскій учился раньше въ семинаріи и въ прошломъ году кончилъ курсъ. Способности у него были блестящія и, кромѣ того, онъ отличался усидчивостью и прилежаніемъ, такъ что шелъ все время первымъ. Онъ захотѣлъ продолжать дальше свое образованіе и поступилъ въ Духовную Академію. Родители его умерли, когда онъ былъ еще ребенкомъ, такъ что онъ ихъ совсѣмъ не помнилъ. Жилъ онъ у дяди бездѣтнаго, богатаго холостяка, который, какъ говорится, души не чаялъ въ своемъ племянникѣ и завѣщаніе написалъ на его имя. Онъ желалъ видѣть своего племянника священникомъ, но Петръ Ивановичъ чувствовалъ себя неспособнымъ, какъ онъ выражался, къ этому призванію и наотрѣзъ отказался. Впрочемъ, было нѣкоторое время, когда онъ и самъ подумывалъ поступить священникомъ въ село и жениться на Аннѣ Матвѣевнѣ, которая давно ему нравилась, но желанье поступить въ Академію, соединенное съ нѣкоторыми болѣе честолюбивыми планами, взяло верхъ.

Онъ былъ немного выше средняго роста, хорошо сложенъ; на видъ ему можно было дать 25—26 лѣтъ, хотя въ дѣйствительности онъ былъ гораздо моложе. Его блѣдное, нѣсколько похудѣвшее отъ усиленныхъ занятій лицо было обрамлено пробивающейся бородкой, изъ-подъ которой сверкали бѣлые зубы и большія, румяныя чувственные губы.

— Такъ что-же сестра? Вы говорите, она больна?—обратилась Анна Матвѣевна къ Сокольскому, возясь съ самоваромъ и чувствуя сильное смущеніе подъ его пристальными взорами. Ей казалось, что это какой-то совсѣмъ новый человекъ около нея, и ей было страшно чего-то и хорошо такъ, что дыханіе захватывало.

— Да, по всей вѣроятности, это легкая простуда, сказалъ Петръ Ивановичъ, все пристальнѣе всматриваясь въ нее какими-то особенными, смѣющимися глазами,—болитъ голова, легкій жаръ. Ну, да я думаю, это пустяки, пройдетъ. Да вы что о сестрѣ-то? Вы о себѣ скажите. И, во-первыхъ:

кто-же такъ встрѣчаетъ жениха?.. Вѣдь, это выходитъ вродѣ встрѣчи Чацкаго съ Софьей. Вѣдь, я тоже чтобы видѣть васъ, «верстѣ больше пятисотъ промчался: вѣтеръ, буря, и растеялся весь, и падалъ сколько разъ, и вотъ за подвиги награда».

Онъ вдругъ приблизился къ ней, обнялъ ее и сталъ горячо цѣловать...

---

— Ну, а что-же, Анна Матвѣевна, вы мнѣ не расскажете ничего о своихъ занятіяхъ,—спрашивалъ онъ учительницу, когда черезъ часъ они выѣзжали за околицу и дѣвушка сидѣла рядомъ съ нимъ, смущенная, опустивъ глаза, но съ какимъ-то особымъ, новымъ выраженіемъ счастья и преданности въ лицѣ. Какъ ваша новая дѣятельность? Трудно небось было справляться въ первое время?

— Какъ вамъ сказать,—заговорила она не сразу, точно собиравшись съ духомъ и все не подымая опущенныхъ глазъ,—если хотите и трудно, даже очень, но теперь я привыкла и чувствую, что этотъ трудъ по мнѣ.

А онъ весело и немножко свысока улыбался, наблюдая ея смущеніе и вспыхивавшій румянецъ.

— Только первое время было очень тяжело,—снова продолжала она,—мнѣ все казалось, что я не въ состояніи буду справиться съ этимъ дѣломъ. Бывало, идя на урокъ, я совершенно терялась, не знала, за что приняться и когда начала что-нибудь объяснять, то мнѣ все казалось, что меня не понимаютъ, и я еще болѣе робѣла, видя, что и дѣти понимаютъ мое состояніе. Но ко всему привыкають; черезъ мѣсяцъ я совершенно освоилась съ этимъ дѣломъ и полюбила его. Только вотъ экзамены меня немного смущають: мнѣ все кажется, что я не успѣю къ тому времени приготовить третье отдѣленіе, какъ-бы мнѣ хотѣлось, а мнѣ-бы хотѣлось, чтобы моя школа прошла хорошо...

И она задумалась.

## VII.

Домъ, въ которомъ жилъ отецъ Анны Матвѣевны, стоялъ у самой церкви. Онъ былъ довольно большой, но уже ветхій, съ балкончикомъ, занесеннымъ снѣгомъ и обвитымъ сухими стеблями какого-то вьющагося растенія. Изъ передней дверь

вела въ залъ, служившій въ то-же время и гостиной. Это-была довольно большая, но почти совсѣмъ пустая комната; на окнахъ, полузакрытыхъ розовыми ситцевыми занавѣсками, стояли горшки неизмѣнныхъ фуксій и гераній. На стѣнахъ было развѣшаны въ безпорядкѣ нѣсколько плохихъ гравюръ и 2 или 3 картины изъ священнаго писанія. Изъ залы вела дверь въ столовую. Эта была самая уютная, хотя и самая маленькая комната. Почти посреди нея стоялъ круглый столъ, на которомъ кипѣлъ огромный самоваръ, стояли чашки, горшокъ съ молокомъ и маленькая корзиночка съ домашнимъ печеньемъ. Въ углу помѣщался буфетъ съ посудой, около стѣны нѣсколько стульевъ и кушетка, обитая пестрымъ ситцемъ.

Здѣсь собралась вся семья. На мягкомъ стулѣ, возлѣ окна сидѣла сама матушка и вязала чулокъ.

Это была рыхлая женщина лѣтъ подъ 50-ть, съ болѣзненнымъ цвѣтомъ лица, голова ея была повязана косынкой, концы которой спускались на плечи. За самоваромъ сидѣла ея вторая дочь, Марья. Самъ - же батюшка читалъ газету, ходя взадъ и впередъ по комнатѣ. Это былъ плотный, высокій мужчина, на видъ еще не очень старый. Его жиденькіе, съ просѣдью волосы падали прядями на потертую люстриновую рясу, тщательно расчесанные усы и борода придавали ему внушительный видъ.

— Что это, прервала молчанье матушка, наша Анюта такъ долго не ѣдетъ? Не случилось-ли чего въ дорогѣ,охрани Господи!—И, обратившись къ своему меньшому сыну, который сидѣлъ рядомъ съ сестрой, она прибавила:—Митя, сбѣгай-ка въ сѣни, голубчикъ, посмотри,—не ѣдетъ-ли, а то самоваръ нужно будетъ подогрѣть, ужъ остылъ совсѣмъ.

Батюшка, недовольный тѣмъ, что прервали его чтеніе, поднялъ голову и, строго взглянувъ на жену, сказалъ: — Чего тамъ еще! Конецъ не близкій! Да и не сейчасъ-же поѣдутъ! Петръ Ивановичъ обогрѣться долженъ. Ишь, морозъ какой! Обожди, еще пріѣдутъ,—и онъ опять углубился въ газету.

— Маменька! Анна ѣдетъ, ужъ она сейчасъ къ крыльцу подѣдетъ!—закричалъ Митя, вбѣгая въ столовую.

Черезъ нѣсколько времени вся семья сидѣла за самоваромъ и пила чай.

И долго еще, далеко за полночь виднѣлся въ домѣ священника огонекъ; старики уже давно залегли спать, а молодежь все еще сидѣла, совершенно забывъ о снѣ, и долго



еще въ домѣ священника раздавались молодые, веселые голоса, шутки и смѣхъ.

Незамѣтно промелькнули эти три недѣли для Анны Матвѣевны. Петръ Ивановичъ, хотя и не былъ офиціально объявленъ ея женихомъ, но всѣ знали, что это дѣло рѣшенное, и потому никого не удивляло, что онъ почти всѣ дни и вечера былъ около дѣвушки, иногда оставался ночевать въ ихъ домѣ. — Молодежь выдумывала себѣ всякія развлеченія: ѣздили кататься, заѣзжали къ сосѣдямъ, и даже, — хотя и не говоря объ этомъ при батюшкѣ, — наряжались и гадали нѣсколько разъ. Даже всегда больная и нѣсколько раздражительная матушка помолодѣла и повеселѣла съ молодежью.

Только когда праздники стали подходить къ концу, всѣ замѣтили, что Аня какъ то особенно затосковала, какъ не тосковала никогда прежде, уѣзжая изъ дому. Иногда утромъ она выходила съ покраснѣвшими глазами, съ поблѣднѣвшимъ лицомъ и съ такимъ разстроеннымъ, убитымъ видомъ, что всѣ невольно обращали на нее вниманіе и приставали съ вопросами: не больна-ли она?

Какъ-то разъ, оставши отъ остальной молодой компаніи, гулявшей на селѣ, Анна Матвѣевна шопотомъ сказала жениху.

— Что вы со мной сдѣлали: я теперь сама не своя!

— Да что съ вами, родная моя? — испуганно спросилъ Петръ Ивановичъ.

— Я боюсь, понимаете-ли, я боюсь! Что я буду дѣлать, если... если что-нибудь случится со мной?

Молодой человѣкъ смутился и сталъ говорить ей какія-то утѣшенія, но они ее не успокоили.

— А если?... спросила она: — что мнѣ тогда дѣлать?

— Это будетъ ужасно! Вѣдь, тогда мнѣ придется бросить Академію, бросить все, о чемъ я мечталъ, и искать мѣсто, къ которому у меня не лежитъ сердце... Это ужасно! Этого быть не можетъ. Вы напрасно пугаете и меня и себя!

Въ голосѣ его чувствовалась сильная досада и раздраженіе. Дѣвушка еще больше поблѣднѣла и закусилла губу. Рѣзкая морщина легла между ея бровями, которыя сурово нахмурились. Она, казалось, рѣшилась на что-то. Вотъ на ея блѣдномъ лицѣ пятнами выступилъ румянецъ и она проговорила съ трудомъ сухимъ, холоднымъ тономъ:

— Конечно, конечно, все это — пустые страхи! И вы

можете быть совершенно покойны за меня! Боже мой, Боже, какъ я глупа! Конечно, все это — пустяки!

Она искусственно захохотала и заговорила о чемъ-то другомъ.

— Вы, кажется, сердитесь на меня? — приставалъ Сокольскій: — за что-же? Я не понимаю.

— И не думаю сердиться на васъ. А на себя сержусь, что потревожила васъ, но, клянусь вамъ, больше ужъ не потревожу. А теперь прощайте и, пожалуйста, если можно, уѣзжайте поскорѣй.

Послѣднія слова она едва выговорила отъ рыданій и почти бѣгомъ догнала опередившихъ. Сокольскій нѣсколько разъ хотѣлъ такъ устроить, чтобы она отстала и чтобы кончить разговоръ, но гордая дѣвушка не отвѣчала на его вопросы, а дома заперлась въ своей комнатѣ и вышла только съ нимъ проститься сухо и холодно.

### VIII.

Анна Матвѣевна воротилась въ школу и снова принялась за обычныя занятія. Теперь она совершенно замкнулась въ себя, въ свое дѣло. — Прежде хоть у родныхъ бывала, — ужъ въ праздникъ непременно найметъ у кого-нибудь лошадь и съѣздить ихъ навѣстить. А теперь — и у нихъ стала бывать рѣже и рѣже, отговариваясь недостаткомъ времени. Къ отцу Михаилу стала тоже рѣдко ходить; прежде, когда у него собирались по праздникамъ гости, онъ за ней всегда посылалъ, но теперь она наотрѣзъ отказалась.

Отецъ Михаилъ называлъ ее чудачкой, странной и въ душѣ посмѣивался надъ ней.

— Что, Анна Матвѣевна! — обращался онъ иногда къ ней съ добродушной усмѣшкой, которая теперь казалась ей почему-то ядовитой и скрывающей заднюю мысль, — помните вы ваши мечты и планы; что-жъ, увѣнчались они такимъ успѣхомъ, какъ вы тогда думали? Помните, вы тогда хотѣли чуть-ли не весь край нашъ перевернуть или что-то въ этомъ родѣ; и много, много, ужъ я и не припомню, да и не могу выразить того и тѣми-же словами, что вы тогда говорили мнѣ.

Анна Матвѣевна не находила отвѣта на эти насмѣшки, тѣмъ болѣе, что сознавала въ нихъ долю правды. Занятія

ея съ дѣтьми съ Рождества значительно подвинулись впередъ, въ особенности она была довольна младшимъ отдѣленіемъ. Въ этомъ отдѣленіи находилось нѣсколько мальчиковъ и дѣвочекъ такихъ способныхъ и понятливыхъ, что ихъ хоть сейчасъ-же можно было перевести въ среднюю группу, не смотря на ихъ неподходящій возрастъ. Съ старшими дѣло шло сравнительно туго; по всей вѣроятности, прежняя учительница совершенно не годилась для этой дѣятельности, такъ что съ ними ей пришлось порядочно поработать, въ особенности по ариметикѣ, гдѣ пришлось начинать чуть-ли не сначала.

Иногда, послѣ особенно неудачнаго диктанта или задачи, она впадала въ совершенное уныніе и долго не могла ничѣмъ разсѣяться и освободиться отъ постоянно гнетущей ея мысли объ экзаменахъ.

Иногда, во время ея занятій съ учениками, въ школу являлись бабы изъ сосѣдней деревни, зашедшія по какому-нибудь дѣлу въ село, а главное узнать — какъ учатся ихъ сыночекъ или дочка. Онѣ всегда останавливались у притолки, въ дверяхъ и только послѣ долгихъ просьбъ со стороны Анны Матвѣевны сѣсть на лавку, рѣшались и присаживались на самый ея кончикъ. Слушали онѣ всегда съ глубокимъ вниманіемъ, боясь проронить хоть одно слово изъ того, что говорила учительница или кто-нибудь изъ мальчиковъ. Часто Анна Матвѣевна нарочно вызывала кого-нибудь изъ дѣтей; тогда бабы положительно обращались въ зрѣніе и слухъ, видѣли и слышали только одного спрашиваемого; онѣ даже какъ-то все подавались впередъ, и на глазахъ у нихъ показывались слезы отъ умиленія. Анна Матвѣевна любила простой народъ и охотно разговаривала съ проходящими бабами, спрашивала о томъ, о семъ, поила чаемъ. Бабы относились къ ней очень дружелюбно, приносили въ подарокъ деревенскія угощенія въ видѣ яицъ, масла, сдобныхъ лепешокъ. Анна Матвѣевна, въ свою очередь, одаривала ихъ чаемъ, сахаромъ и баранками.

## IX.

Наступила весна. Подъ теплыми, живительными лучами солнца растаялъ снѣгъ и обнажилъ грязновато-бурую землю. По дорогамъ, журча и пѣнясь, бѣжали ручейки мутной воды;



рѣки вскрылись, прошелъ и ледъ. Голыя, лишенные одежды деревья стали покрываться почками и молодыми ярко зелеными листками и распространяли далеко вокругъ себя бодрящій свѣжій запахъ. Прилетѣли грачи, первые вѣстники весны; за ними потянулись и жаворонки и съ ихъ прилетомъ стало еще веселѣе. Цѣлые дни, съ утра до вечера, стали раздаваться ихъ веселыя, звонкія трели, а самихъ пѣвцовъ нельзя было даже увидѣть, такъ высоко, высоко, подъ самыя облака поднимались они и съ земли казались маленькими, едва замѣтными точками. Потянулись вереницы журавлей, гусей и утокъ. Выгнали скотъ, который радостнымъ мычаньемъ привѣтствовалъ наступившую весну. Закопшился въ поляхъ народъ, и снова выдвинулись въ дѣло плуги и сохи. Все пробудилось какъ-бы по слову какого-то могучаго добродѣтельнаго волшебника.

Только одна Анна Матвѣевна не могла отдаться общей радости: тяжелая, гнетущая дума была у нея на душѣ: хотя она убѣдилась, что ея прежнія опасенія напрасны, но ее мучилъ разрывъ съ Сокольскимъ. Какъ ей быть и поступить съ нимъ, она еще не знала, и это-то было всего хуже: точно тяжелый камень лежалъ у нея на сердцѣ, точно какая сѣрая пелена застилала отъ ея глазъ и сводъ яркаго неба и блескъ воскресающей природы. Правда, и она почувствовала себя легче при мысли, что она уже не будетъ мерзнуть въ своей школѣ, не будетъ надѣвать въ комнатѣ калошъ и пальто, радовалась, что можно теперь хоть выйти куда-нибудь, а не сидѣть точно прикованной къ одному мѣсту, была рада и за своихъ ребятишекъ, которымъ теперь будетъ несравненно удобнѣе ходить въ школу, чѣмъ зимою, но мысль о томъ, что «онъ» можетъ оставаться покойнымъ, терзала ее. Иногда она готова была подавить свою гордость и написать Сокольскому, но вдругъ вспоминала его холодный рѣзкій тонъ, и съ ужасомъ бросала эту мысль. Но у нея была еще какая-то смутная надежда, что онъ раскается и явится, и все можетъ кончиться благополучно, и она старалась не думать объ этомъ. Но у нея была другая гнетущая мысль: близкіе экзамены, которые должны были послѣдовать съ приходомъ весны, отравляли все и не давали ей вполне отдаваться всеобщему радостному настроенію, даже тогда, когда ей удавалось забыть главное горе.

«Пройдетъ еще какихъ-нибудь два мѣсяца, а тамъ и эк-

замены», думала она, и всегда при этой мысли ее охватывало чувство какого-то внутреннего холода, и сердце билось сильнѣе. Она все еще не рѣшила окончательно, сколькихъ мальчиковъ ей вести на экзамень, который долженъ былъ производиться въ концѣ мая въ школѣ, находящейся недалеко отъ села Вознесенскаго: тамъ ежегодно весной для экзамена съѣзжалось нѣсколько сосѣднихъ школъ.

Отецъ Михаилъ совѣтовалъ взять не больше шести — семи учениковъ, тѣмъ болѣе, что экзамены у нея были въ первый разъ. Но это число ей казалось слишкомъ малымъ и, наконецъ, послѣ долгихъ колебаній она рѣшила, что изберетъ для этого восемь человѣкъ: пять мальчиковъ и трехъ дѣвочекъ.

Занятія ея съ дѣтьми теперь совсѣмъ измѣнились; съ младшимъ и среднимъ отдѣленіемъ она занималась не болѣе трехъ часовъ, а все остальное время посвящала для занятій со старшими. Въ этомъ отдѣленіи у нея находилось шестнадцать человѣкъ.

— Мнѣ будетъ тяжело и больно, — говорила она иногда о. Михаилу, когда заходилъ разговоръ объ экзаменахъ, — если хоть одинъ не выдержитъ; я хочу, чтобы моя школа была изъ первыхъ и постараюсь, чтобы выдержали всѣ.

Иногда, ночью, на нее нападало совершенное отчаяніе, она упрекала себя и досадовала, зачѣмъ не подала прежде заявленія объ отсрочкѣ экзаменовъ до будущаго года: по всей вѣроятности, его-бы приняли, рассуждала она сама съ собою, она-бы объяснила все, всю невозможность приготовить къ нынѣшнему году, а теперь, по ея винѣ, ея школа можетъ дурно пройти. Вѣдь она тогда умереть отъ стыда и горя. А еще вчера она увѣряла о. Михаила, что постарается, чтобы ея школа была первой. Да развѣ возможно что-нибудь сдѣлать въ такое короткое время, воротить потерянные два года! Если-бы она сама вела эту школу сначала, то навѣрное все было-бы много лучше, думала она, а теперь по чужой винѣ она будетъ страдать и мучиться. Лучше-бы ей ничего не говорить о. Михаилу, а то вдругъ такая самоувѣренность! Да, мало-ли что можетъ помѣшать хорошему исходу экзаменовъ! Что если экзаменаторы попадутся строгіе? Вѣдь отъ нихъ тоже много зависить; будутъ задавать какіе-нибудь необыкновенные вопросы, вѣдь нѣкоторые любятъ ставить въ тупикъ дѣтей, думаютъ, что удивятъ кого-нибудь. А сами не понимаютъ

того, какою цѣною намъ достается этотъ трудъ». Она была въ прошломъ году на экзаменахъ, и все это своими глазами видѣла. Да мало-ли еще что! Дѣти могутъ оробѣть и не только не будутъ въ состояніи отвѣтить по своему незнанію, а и все то, что знали, отъ страха перезабудутъ. Ну что, если ея школа провалится и ее удалятъ! Куда она тогда дѣнется? Опять къ отцу на шею, но у него и безъ нея много. Что-же, что я буду тогда дѣлать?—спрашивала она себя. Такія невеселыя мысли мучили ее иногда до поздней ночи и только къ утру измученная нравственно и физически она засыпала.

## Х.

Въ эту субботу Анна Матвѣевна распустила дѣтей раньше обыкновеннаго. День былъ такой чудесный, солнце свѣтило такъ ярко и дѣти такъ нетерпѣливо поглядывали въ растворенныя окна, откуда доносился запахъ сирени и всякихъ весеннихъ цвѣтовъ, что ей стало жаль бѣдняжекъ и она окончила занятія нѣсколькими часами раньше.

Анна Матвѣевна сама тоже не могла выдержать и тотчасъ-же послѣ уроковъ отправилась гулять, нарвала большой букетъ ландышей и гіацинтовъ и поставила ихъ въ своей комнатѣ. Сначала она все ждала, что за ней пріѣдетъ кто-нибудь изъ родныхъ, но уже начало вечерѣть, а никого не было. По всей вѣроятности, лошади все были заняты, самой-же нанять ей не хотѣлось, жаль было денегъ; а запросили-бы въ рабочую пору, навѣрное, дорого.

Черезъ нѣсколько времени въ школу вошла Матрена и внесла подносъ, маленькій, блестящій какъ золото самоваръ и думая, что Анна Матвѣевна не видитъ,—окликнула ее.

— Что тебѣ?—отозвалась та.

— Чай кушать не изволите-ли, самоваръ готовъ. Да, я вотъ—что хочу тебя просить, Анна Матвѣевна,—начала снова Матрена:—отпусти ты на нынѣшній разъ моего парнишку къ дядѣ сходить, а ужъ если боишься ночевать одна, такъ и я могу придти. А то дядя давно наказывалъ.

— Ну, что-жъ, пускай идетъ, а я и одна переночевать могу, теперь не зима, не страшно.

— Это ты вѣрно, чего-жъ теперь бояться? Ну, зимою,



это дѣло особенное, и волкъ можетъ напугать, да и лихой человѣкъ ходитъ.

Анна Матвѣевна улыбкулась.

— Куда-же это ты?—сказала она Матренѣ, видя, что та собралась уходить. Чаю не хочешь-ли?

— Такъ ужъ и быть, давай чашечку, больше одной не стану,—сказала Матрена, работа не ждетъ.

Анна Матвѣевна налила ей чашку чаю и придвинула сахаръ и баранки.

Матрена, отыскавъ глазами образъ, перекрестилась нѣсколько разъ, потомъ подсѣла къ столу, осторожно умѣстившись на самый кончикъ стула и, откусивъ кусочекъ сахару, стала прихлебывать маленькими глотками чай. Выпивъ чашку, Матрена опрокинула ее кверху довышкомъ и, какъ-то участливо покачавъ головой, обратилась къ Аннѣ Матвѣевнѣ:

— А погляжу я на васъ, барышня, какъ вы извелись у насъ за одинъ годъ, и признать-то васъ теперь совсѣмъ нельзя. Приѣхали такія полныя, здоровыя, а теперь и щечки втянулись. Жалко смотрѣть со стороны!—и она опять покачала головой.

— Ну, вотъ кончатся экзамены,—сказала съ улыбкой Анна Матвѣевна,—тогда я опять поправляюсь.

— Да вѣдь и то надо сказать,—продолжала опять Матрена,—много вамъ съ нашимъ братомъ хлопотъ бываетъ; отъ одного крику, гаму голова разболится, особенно съ первоначалу: ты имъ станешь говорить, а они и слушать тебя не хотятъ; конечно, когда пообвыкнутъ, смиренѣе станутъ. Да про васъ нечего говорить,—начала опять Матрена послѣ нѣкотораго молчанія,—умѣете вы съ нашими ребятишками справляться, ужъ не чета прежней учительницѣ,—та и на колѣнки становила и другія наказанія придумывала, а все того порядка не было.

— Лаской и хорошимъ обращеніемъ ихъ скорѣе заставишь послушаться,—сказала Анна Матвѣевна.

— Да, это ты вѣрно говоришь, палка только обозлится человѣка,—замѣтила Матрена и потомъ прибавила:—Ну, однако, мнѣ и пора, покорнѣйше благодаримъ васъ, Анна Матвѣевна.

Анна Матвѣевна находилась сегодня въ одномъ изъ тѣхъ дней, когда ей ничего не хотѣлось дѣлать: ни читать, ни работать, ни даже думать. Напившись чаю, она прошла въ классъ и стала безцѣльно бродить взадъ и впередъ по ком-

натѣ. Въ школѣ было совершенно тихо и спокойно, только слышенъ былъ звукъ ея шаговъ по полу, да изъ другой комнаты раздавалось мѣрное, однообразное качаніе маятника. Пробыло 9 часовъ. Совершенно стемнѣло. Аннѣ Матвѣевнѣ становилось жутко и, чтобы избавиться отъ этого непонятнаго страха, который на нее производила темнота, она зажгла двѣ свѣчи, одну изъ нихъ поставила въ своей комнатѣ, а другую въ классѣ. Потомъ подошла къ окну и растворила его. Долго смотрѣла она, не двигаясь, не перемѣняя положенія, въ безконечную, глубокую синеву неба, на которомъ кое-гдѣ мерцало нѣсколько звѣздочекъ. Между вѣтвями деревьевъ выглядывала полная луна, чуть задержанная прозрачнымъ облачкомъ, обливая своимъ мягкимъ, кроткимъ свѣтомъ землю. Гдѣ-то вдали жалобно кричала сова. Въ домѣ священника виднѣлся свѣтъ, и черезъ опущенныя сторы мелькали темные силуэты.

«И тамъ живутъ, бываютъ счастливы»,—подумала Анна Матвѣевна, глядя на эти окна, «а я все одна, одна».

Она почувствовала себя такой несчастной и одинокой и ей стало вдругъ такъ жаль себя, что она чуть было не заплакала. «Да, да, я никому не нужна, меня никто не любить»,—говорила она сама себѣ. «Если-бы это было не такъ, развѣ-же всѣ они оставили-бы меня здѣсь одну? Неужели они думаютъ, что мнѣ здѣсь хорошо, одной, въ четырехъ стѣнахъ. Ахъ, какая тоска, Боже мой, какая тоска!» твердила она, сжимая обѣими руками виски, какъ-бы желая предохранить себя отъ физической боли. Она быстро захлопнула окно и уныло обвела глазами комнату, слабо освѣщенную нагорѣвшей свѣчей. Но и тутъ было не легче. Ей казалось, что всѣ предметы, каждый столъ, лавка, даже каждая книга въ шкафу говорить ей: «ты одна, одна, тебя никто не любитъ, ты никому ненужна».

Она не выдержала и заплакала.

Вдругъ ей показалось, что возлѣ нея кто-то двинулъ стуломъ. Она вздрогнула и какъ-то невольно обернулась. Но тревога ея оказалась напрасна: это былъ большой сѣрый котъ, любимецъ всего класса. Анна Матвѣевна подошла къ нему и нѣсколько разъ погладила его по спинѣ. Котъ радостно замыкалъ, изогнулъ спину и сталъ тереться и лизать ей руку. Она вдругъ почувствовала къ нему какую-то необыкновенную нѣжность, взяла къ себѣ на колѣни и стала цѣловать въ голову между ушами. «Ты одинъ только меня любишь слав-

ный, милый коташка,—говорила она, глядя его,—ты навѣрное не покинешь меня и не оставишь одну, какъ другіе. Ну, постой, за это я тебя хорошенько накормлю». Она налила въ черепокъ сливокъ изъ молочника и, только хотѣла поставить его на полъ, какъ вдругъ ей послышался слабый стукъ въ дверь. Она остановилась и нѣсколько минутъ прислушивалась. «Нѣтъ, это мнѣ, должно-быть, показалось, подумала она, кому-же теперь быть!»

Но стукъ повторился еще разъ. Анна Матвѣевна взяла свѣчку и вышла въ сѣни. Но отворить сразу дверь она не рѣшилась и тихо позвала:

— Кто тамъ?

Откликнулись.

Голосъ показался ей знакомымъ.

«Навѣрное, кто-нибудь изъ учениковъ», промелькнуло у нея въ головѣ и, не давая себѣ надъ этимъ долго задумываться, она поставила свѣчу на лавку и сняла засовъ.

Передъ нею стоялъ Сокольскій. Его блестящіе, полуоткрытые глаза смѣло, почти дерзко смотрѣли на нее; видно, онъ прочелъ въ ея взглядѣ безумную радость: едва замѣтная улыбка чуть-чуть изогнула его румяныя, полныя губы, и, быстро сдѣлавъ къ ней нѣсколько шаговъ, онъ протянулъ ей руки.

Она, не помня сама—что дѣлаетъ, бросилась къ нему.

Е. Я.

(Окончаніе будетъ).



## На родинѣ.

Въ сѣрыхъ тучкахъ лазоревый куполъ небесъ,  
И зеленыхъ полей необъятный просторъ,  
И кудрявой листвою опрокинутый лѣсъ  
Въ задремавшихъ водахъ неглубокихъ озеръ;  
И съ копнами сноповъ золотистыхъ гумно,  
И колодезь, и группа рябинъ у плетня: —  
Все до травки послѣдней знакомо давно,  
Все пахло привѣтомъ роднымъ на меня.

Словно послѣ болѣзни, усталый отъ мукъ  
Возвратился я къ матери милой подъ кровъ;  
Словно въ вражьемъ раскинутомъ лагерѣ вдругъ  
Я любимаго друга нашелъ среди враговъ;  
И съ улыбкой къ нему я на встрѣчу бѣгу,  
И спѣшу по лицу прочитать о быломъ,  
И гляжу, и очей оторвать не могу,  
И сказать не умѣю о счастья моемъ!...

\* \*  
\*

Бѣлыя тучки надъ нивами рѣютъ;  
Даль голубая раскрылась широко,  
Звѣзды, какъ искры, на озерѣ тлѣютъ,  
И не дрожить у залива осока...

Страшно сегодня мнѣ, нива родная:  
Свѣтлая юность безслѣдно проходить  
И, на прошедшее съ грустью взирая,  
Тщетно пустые итоги подводить...

Бѣлыя тучки надъ нивами рѣютъ,  
Звѣздами свѣтится небо ночное,  
Въ сердцахъ-жъ, какъ искры послѣднія, тлѣютъ —  
Страхъ передъ будущимъ, стыдъ за бывшее...

Ал. Будищевъ.

## МАРШЪ ИЗЪ АИДЫ.

(Рассказъ).

20 сентября.

На меня стали находить невыносимые припадки тоски и нервнаго раздраженія. Ужь и не знаю, какъ ихъ объяснить: сидячая-ли работа въ моей конторѣ, или это сказывается уходящая молодость, при полномъ сознаніи одиночества, безцѣльности и бесплодности жизни? Зачѣмъ я живу? Что я по себѣ оставляю? А жизнь уносится, и не замѣчаешь ея... И все одно и то-же, день за днемъ: бесполезная, но прибыльная работа, кое-какія знакомства, кое-какія развлечения: дамочки «извѣстнаго сорта», винтъ, газета, кое-какія книги, въ которыхъ все то-же и то-же! Боже, какъ все это надоѣло, опостылило! Когда-то вѣрилъ, что настанетъ что-то другое, свѣтлое, лучшее,—но годы мчатся, и все то-же, жизнь тянетъ впередъ, къ старости, какъ потокъ уносить щепку... И неужели все такъ будетъ до «конца»? Ну, а что-же другое можетъ быть, что? Нѣтъ, это—невозможно, это—невыносимо... Неужели не мы создаемъ и направляемъ жизнь, а она влечетъ насъ, какъ и куда ей угодно?.. Или это только я таковъ, дряблый, ничтожный человѣкъ-тряпка? Буду хоть записывать мои мысли, фиксировать ихъ на бумагѣ: быть можетъ, когда увижу свою жизнь въ зеркалѣ, у меня явятся силы измѣнить ее на новый ладъ, по старымъ, милымъ, завѣтнымъ планамъ. Боже, какъ они далеки! Нѣтъ, не вернуться къ нимъ! Какъ тоскливо тянется длинный осенній вечеръ! Что-то гнетущее, но неопредѣленное,—и по самой своей неуловимости и неопредѣленности,—больное и тяжелое сдавило мнѣ сердце. Я пытался заняться чтеніемъ, но книга валилась изъ моихъ рукъ, глаза разсѣянно бродили

по строчкамъ, мысль не хотѣла слиться съ содержаніемъ книги. Да и къ чему мнѣ все это? Тоска, ужасная тоска!..

Стрѣлка часовъ показываетъ половину десятаго: можно лечь спать, и сонъ самое подходящее занятіе, когда находишься въ такомъ непріятномъ душевномъ настроеніи.

Сказано—сдѣлано.

Нѣтъ, сколько я ни завертывался пледомъ, какъ ни комкалъ подушку, заснуть я не могъ.

Въ квартирѣ моей,—я живу одинокимъ холостякомъ,—все тихо; моя единственная прислуга,—кухарка Марья,—давно уже спитъ въ своей кухнѣ, отдѣляющейся отъ чистыхъ комнатъ глухою перегородкой; оттуда не доносится ко мнѣ ни малѣйшаго звука. Эта глубокая тишина тяготитъ меня невыносимо.

«Точно склепъ»,—озлобленно ворчу я, кутаясь пледомъ.

Но вотъ эту тишину нарушило дребезжанье подъѣхавшей пролетки: внизу подъ моей квартирой хлопнула дверь подъѣзда и въ корридорѣ послышались мужскіе шаги, а затѣмъ мелкою дробью разсыпался веселый женскій смѣхъ...

«Вотъ черти-то! И ночью даже покою не даютъ»,—думаю я.

Эти «черти» никогда не беспокоили меня; я даже не зналъ, кто они; но сегодня они вызвали во мнѣ озлобленіе врага, минутно вспыхнувшую ненависть, и чѣмъ-же? Да именно этимъ беззаботнымъ женскимъ смѣхомъ, донесшимся до меня, одинокаго. Я живо представилъ себѣ, какъ «онъ» ведетъ ее подъ-руку по темной лѣстницѣ подъѣзда, какъ «она» довѣрчиво опирается на его руку, прижимаясь къ ней, какъ прядь ея шелковистыхъ волосъ касается «его» рукава...

... О ненавистные люди, возвращающіеся позднимъ вечеромъ вдвоемъ!

21 сентября.

Вчера, окончивъ послѣднія строки, я не могъ оставаться дома дольше. Я вскочилъ, одѣлся торопливо, схватилъ съ вѣшалки пальто; заспанная Марья угрюмо свѣтила мнѣ, зѣвая во весь ротъ.

— Не жди меня, я вернусь поздно,—на ходу кинулъ я ей.

Черезъ часъ я уже былъ въ одной изъ шикарныхъ московскихъ гостинницъ и сидѣлъ за столомъ, уставленнымъ яствами и питіями; ѣсть мнѣ не хотѣлось, но я усердно чо-



кался съ моей vis-à-vis, бѣлокурой молодой дѣвушкой. Разсказывать-ли, гдѣ и какъ мы встрѣтились? Къ чему?

Мое скверное настроеніе не проходило. Сердце ныло, въ головѣ стоялъ туманъ, и я сердился, не знаю на кого, или нѣтъ, я сердился на самого себя, я самого себя находилъ и глухимъ и смѣшнымъ съ моей странной тоской...

Чтобы затушить это недовольство, я пилъ и подчивалъ мою гостью; она была недурненькая, хоть щеки ея и поблѣднѣли уже, и глаза окружились частой сѣтью мелкихъ морщинокъ; губы ея улыбались слегка, когда она говорила, а говорила она, тщательно выбирая выраженія и избѣгая вульгарныхъ оборотовъ рѣчи; щеки ея отчаянно вспыхивали, когда ей случалось проговориться какимъ-нибудь вульгарнымъ выраженіемъ. Но отъ этого обдумыванья и подбора словъ рѣчь ея выходила вялой, медленной, скучной.

Наконецъ, я не вытерпѣлъ и перебилъ одну изъ ея словно обточенныхъ или обтесанныхъ фразъ рѣзкимъ восклицаніемъ:

— Господи, какая вы степенница! Ну, къ чему вы такъ степенничаете, скажите?

— Я вовсе не думаю... Вамъ это кажется,—принужденно улынулась Вѣра на мою грубую выходку.

— Нѣтъ, вы изъ себя разыгрываете что-то такое...

— Я всегда такая... вы меня мало знаете, оттого вамъ и кажется, что я жеманюсь,—говорила Вѣра протяжно.

«Васъ знаю мало,—хотѣлъ было я воскликнуть,—но за то знавалъ много похожихъ на васъ, какъ двѣ капли воды...»

Но я не сказалъ этого. Мнѣ показалось, что по лицу Вѣрочки проскользнуло выраженіе страданія.

Конечно, мнѣ это только показалось, потому что вѣдь я еще ничего не сказалъ, а подумалъ...

Я не желалъ ее обижать; вѣдь за минуту передъ тѣмъ я называлъ ее моей милой, моей Вѣрочкой; я даже обязанъ ей благодарностью,—я пришелъ къ ней тоскующій, страдающій чѣмъ-то, чему не находилъ названія, и она дала мнѣ то, что она могла мнѣ дать. Господи, да за что-жъ я ее обижаю, думая по ея адресу однѣ обидныя вещи!..

Мнѣ стало стыдно и я протянулъ ей руку.

— Я не хотѣлъ посмѣяться надъ тѣмъ, что вы такая степенная да изящная. Это такъ сказалось—къ слову.

— Знаете, нетрудно попасть въ просакъ и выразиться

неудачно, когда приходится вотъ такъ, какъ мы съ вами, провести нѣсколько часовъ вмѣстѣ, совѣмъ не зная другъ друга.

Вѣрочка натянуто засмѣялась.

«Опять обидно ей,—думалъ я съ раскаяніемъ.—Зачѣмъ говорить о незнакомствѣ, когда...»

Я налилъ ей вина и подвинулъ къ ней рюмку.

— Знаете что?—сказалъ я ей такимъ задумчивымъ тономъ, какимъ давно не говаривалъ съ женщинами.

— Что?—откликнулась Вѣра, красиво опуская головку на худенькую руку, которую она локтемъ оперла на столъ.

— Поболтаемте откровенно другъ съ другомъ.

— А что-же мы дѣлаемъ?—улыбнулась она.

— Вы меня не поняли... Расскажемъ другъ другу нашу жизнь попросту, безъ прикрасъ, какъ она жила... повѣдаемъ откровенно наши невзгоды, наши разочарованія въ любви, что-ли,—вѣдь у васъ, какъ и у меня, были навѣрное увлеченія, можетъ быть, и обманы... почему не рассказать этого, благо пришлось...

Я путался въ словахъ, понималъ, что говорю несвязно, предлагаю что-то неидущее къ дѣлу, къ обоимъ намъ, къ обстановкѣ, въ которой мы были, но какая-то сила толкала меня продолжать въ этомъ духѣ...

Я убѣждалъ Вѣрочку рассказать, какъ она любила первый разъ, и опять неумышленно употребилъ это слово «первый разъ» и опять почувствовалъ стыдъ.

«Что это я колю ее, какъ нарочно»,—думалъ я.

Оркестріонъ игралъ маршъ изъ Аиды. Нѣжная, чарующая мелодія размягчила мою душу, я глядѣлъ на Вѣрочку съ жалостью и состраданіемъ.

«Бѣдная дѣвушка,—невольно думалось мнѣ,—я, въ сущности, не злой и даже очень добродушный человѣкъ, въ эту минуту проникнутый къ ней расположеніемъ, противъ воли почти, говорю ей обидныя вещи, отъ которыхъ мнѣ самому больно. Что-же говорятъ ей другіе, болѣе грубые и менѣе воспитанные, съ которыми сводить ее судьба?»

Музыка играла, кругомъ насъ болтали и смѣялись.

— Ну, расскажите, пожалуйста,—настаивалъ я.

— Да расскажите вы сначала,—предложила мнѣ Вѣра.

Я рассказалъ ей и, право, рассказалъ, не рисуясь, все то, что,—какъ въ ту минуту казалось мнѣ,—испортило мою жизнь.

И развѣ-же это было не такъ? Привязаться къ дѣвушкѣ, вѣрить въ ея любовь, видѣть эту дѣвушку въ будущемъ вѣрной подругой,—какова-бы жизнь не была, плохая или хорошая,—вѣрить, что пройдешь ее не одинъ, а объ руку съ любимымъ человѣкомъ,—чувствовать, думать все это,—и вдругъ—все это потерять! Да развѣ это не горько? Чувствовать себя холодно-оставленнымъ, брошеннымъ на произволъ судьбы, зачеркнутымъ въ жизни любимого человѣка? Не разорвется-ли отъ этого сердце, не будетъ-ли чувствоваться страшная злость на такую оскорбительную неудачу въ жизни, потому что, все-таки, чтобы ни говорили,—измѣна любимого человѣка величайшая неудача для каждаго!

Ну, конечно, не вѣшаться-же изъ-за этого, а очень, очень больно: нѣтъ, нѣтъ, да и защемить сердце. И притомъ,—этого я, положимъ, Вѣрочкѣ, не сказалъ,—забыться новой любовью къ женщинѣ ужъ никогда не можешь послѣ этого удара. Теперешняя любовь, къ какой я только способенъ, никогда меня вполнѣ не увлекаетъ; я затрудняюсь назвать еѣ чувствомъ, право; въ ней нѣтъ поэзіи. Все вспоминается двустипшіе:

Souvent femme varie

Bien fol qui s'y fie.

Вѣрочка слушала внимательно, перебирая пальчиками бѣлокурую прядку волосъ, выбившуюся изъ-за уха.

Маршъ изъ Аиды не смолкалъ во все время моего разсказа.

— Чудный маршъ!—нарушилъ я молчаніе, воцарившееся послѣ моего монолога.

Вѣрочка утвердительно кивнула головой.

— Глупо она поступила,—задумчиво проговорила она. Я понималъ, что она говорила объ измѣнившей мнѣ дѣвушкѣ.

— А вы потомъ не видались?

— За кого вы меня принимаете?—обиженно воскликнулъ я. Конечно нѣтъ....

— Начните-же, начните вашу исторію,—торопилъ я Вѣру. Мнѣ хотѣлось говорить, говорить безъ умолку, или слушать также безостановочно, только не останавливаться на полдорогѣ, не болтать банальныхъ вещей. Мое странное настроеніе капризно варьировалось, болѣзненное любопытство толкало меня распросить Вѣру, какъ она стала тѣмъ, чѣмъ я ее видѣлъ, что она испытала за это время. Мысленно я уже



ставилъ ее въ разныя положенія, знакомыя мнѣ, увы, по печальному и постыдному для меня опыту....

— Хорошо, — откликнулась Вѣра, — но прежде взгляните....

Она указывала на что-то глазами; я взглянулъ въ ту сторону: наискось отъ насъ сидѣлъ плотный, нѣсколько пожилой уже господинъ; его безукоризненный костюмъ, золотые очки, спокойная увѣренность, съ которою онъ облакачивался на столъ, показывали въ немъ человѣка, принадлежащаго къ порядочному обществу.

— Въ чемъ-же дѣло? — спросилъ я, — это вашъ знакомый? Вѣра засмѣялась.

— Нѣтъ, — не то: я его вижу въ первый разъ... А онъ очень странный: я замѣтила, что онъ уже въ пятый разъ велитъ ставить маршъ изъ Аиды.

И, въ самомъ дѣлѣ, господинъ подозвалъ лакея и тотъ опять пустилъ маршъ изъ Аиды, а господинъ задумчиво сидѣлъ одинъ за своимъ столомъ и пилъ портвейнъ. Какъ-то не думалось, что онъ ждетъ кого-нибудь, до того безучастно смотрѣло его нѣсколько одутловатое лицо.

— Какой странный, — шепнула Вѣрочка — и начала свой рассказъ, или исторію своей жизни, какъ она ее назвала. Она еще пятнадцатилѣтней дѣвочкой увлеклась молоденькимъ офицеромъ, который жилъ въ томъ-же домѣ, въ которомъ жила она съ родителями. Сначала взгляды, нѣжныя улыбки.... потомъ встрѣчи въ церкви.... онъ провожалъ ее и туда и назадъ.... поцѣлуи на лѣстницѣ.... и прочее, и прочее. Вниманіе красиваго юноши вскружило дѣвчкѣ голову и она убѣжала изъ родительскаго дома; прожила Вѣрочка съ нимъ, душа въ душу, два года. Въ одинъ прекрасный или непрекрасный день онъ ушелъ, оставивъ Вѣрочкѣ сумму, съ излишкомъ покрывавшую расходъ на квартиру, и добродушное письмо, въ которомъ совѣтовалъ ей вернуться къ отцу съ матерью.

Къ родителямъ Вѣрочка не вернулась, не хотѣла вернуться; сперва работала немного, кое-какъ перебивалась, — кутила, иногда и пила, о да, много пила.... — тутъ голосъ Вѣрочки дрогнулъ.... — вѣдь, иногда бываетъ такъ больно!... Подруга познакомила ее съ однимъ адвокатомъ, — очень милый мужчина, немножко холодный, немножко расчетливый, но онъ былъ добръ къ ней; кутить онъ умѣлъ, какъ никто, — мимоходомъ ввернула Вѣрочка. Она жила недурно въ это

время, да на горе встрѣтился съ ней опять тотъ офицеръ....

Она остановилась, и лицо ея вспыхнуло...

— Ну, ну, — ободрительно кивалъ я ей.

А оркестріонъ игралъ все тотъ-же маршъ изъ Аиды, — маршъ жалобно плакалъ въ шумной залѣ. Мужчина въ очкахъ не оставлялъ своего мѣста. Голова его по временамъ опускалась на грудь, и онъ точно спалъ надъ недопитымъ стаканомъ; но едва смолкали звуки марша, — бѣлая рука съ золотымъ перстнемъ на указательномъ пальцѣ манила слугу...

Я смотрѣлъ то на него, то на Вѣрочку.

— Ну, ну, — говорилъ я ей, и она продолжала.

Она вернулась къ офицеру... Повидимому, онъ опять увлекся ею, только.... только вспышка эта скоро миновала, — мѣсяца не прошло, какъ онъ попросилъ ее удалиться..... Объ адвокатѣ нечего было и думать, — она и не пыталась возобновлять.... Тутъ, вотъ тутъ-то, она стала прожигать жизнь... всячески.... прожигала ее такъ, что одинъ изъ ея пріятелей серьезно остановилъ ее, — это былъ студентъ — медикъ 4 курса. — Такъ дальше нельзя, Вѣрочка, сурово и брезгливо сказалъ онъ ей: — правое легкое того... пора бросить эту жизнь. — Ей, конечно, все равно: «того» легкое или не «того»... но просто опротивѣло...

Вѣрочка замялась....

Она недавно поселилась въ меблированныхъ комнатахъ, гдѣ я ее узналъ. Замѣчу въ скобкахъ, что дурная репутація этихъ меблированныхъ комнатъ очень сконфузила Вѣрочку въ этомъ мѣстѣ ея разказа. Сквозь легкое смущеніе она продолжала:

— .... Съ отцомъ поссорилась, у отца тяжелый, сварливый характеръ. Теперь занимаюсь швейной работой, отдѣлываю театральные костюмы.....

Вѣрочка смолкла....

Я не нашелъ ни одного дружескаго слова ей въ отвѣтъ. Это было сухо, черство, особенно послѣ того, какъ я, такъ сказать, вымогалъ у нея откровенность, а вѣдь она исповѣдалась мнѣ въ тяжелыхъ вещахъ.... И послѣ этой тяжелой исповѣди у меня не нашлось ни одного человѣческаго, кроткаго слова для бѣдной дѣвушки

Да, да, это было гадко съ моей стороны, но я подмѣтилъ, что, оканчивая свой разказъ тяжелымъ вздохомъ, Вѣрочка искоса бросила на меня пытливый взглядъ.

Этотъ взглядъ охладилъ мою жалость къ ней, и весь рассказъ ея показался мнѣ натянутымъ; да и сама Вѣрочка была черезъ-чуръ искусственна. Она сидѣла теперь передо мной молчаливая, грустная, опустивъ голову на худенькую ручку, а я молчалъ, постыдно, глупо молчалъ. Задушевнаго слова не находилось, а банальнаго я не хотѣлъ....

— Но послушайте, — вдругъ сказала она, нервнымъ движеніемъ вскинувъ голову: вѣдь это, наконецъ, ужасно, — этотъ маршъ опять!?

— Да, чудная музыка, но въ двадцатый, кажется, разъ.... ужасно, — сказалъ и я, оглядываясь на страннаго человѣка.

— Право, въ немъ ничего трагическаго или необыкновеннаго нѣтъ, — размышлялъ я вслухъ, глядя на него. Очень прилично, очень спокойно смотрѣло его лицо, только глаза, глянувшіе на меня поверхъ сдвинувшихся нечаянно очковъ, показались мнѣ глядѣвшими на что-то другое, а не на меня собственно.

— Не тоскуеть-ли этотъ господинъ, какъ вы тосковали давеча? — промолвила Вѣрочка, поднявъ на меня свои свѣтлые глаза.

Глаза эти, — я замѣтилъ это раньше, — глядѣли всегда холодно и жестко и были непріятны. Губы Вѣрочки умѣли улыбаться, то презрительно, то нѣжно, звонкій голосъ былъ гибокъ, говорила она выразительно, по временамъ впадая даже въ декламацию, что выходило очень мило, но глаза, глаза глядѣли предательски, и ихъ высматривающій и подглядывающій взоръ внушалъ недовѣріе тому, кто съ нимъ встрѣчался.

— Вы лѣчите свою тоску разговорами, а онъ музыкой, — проговорила Вѣрочка повидимому равнодушнымъ тономъ.

Мнѣ почудился въ этихъ словахъ упрекъ и упрекъ заслуженный. Я поступалъ безтактно и жестоко съ дѣвушкой, которая, быть можетъ, и лучше того, чѣмъ кажется. Если въ ея словахъ, дѣйствительно, заключался упрекъ по моему адресу, такъ онъ былъ-бы по плечу и глубокой натурѣ.

Я мысленно бранилъ себя, подавая ей одѣваться въ швейцарской. Я доставилъ себѣ облегченіе, хоть и маленькое, поболтавъ и понѣжничавъ съ нею, а ей сдѣлалъ больно, да и не разъ. Но почему вызываетъ она такъ мало сочувствія



и довѣрія,—спрашивалъ я себя. Прочти я ея исторію въ книжкѣ, — не то-бы чувствовалъ я, а почему?

«Гармоніи нѣтъ»,—рѣшилъ я, и громко произнесъ:

— Ничего дурного нѣтъ въ томъ, что мы съ вами поговорили по душѣ. Быть можетъ, мы на этомъ и не остановимся, а станемъ хорошими друзьями.

— Можетъ быть,—протянула Вѣрочка.—Вы добрый....

Я довезъ Вѣрочку до дома, гдѣ она жила, высадилъ ее, какъ *galant-homme* и низко поклонился ей, прощаясь.

— Я пришлю письмо, да?!—шепнулъ я.

— Да, пишите, если.....

22 октября.

Цѣлый мѣсяцъ не брался я за свой дневникъ, да и забылъ-бы о немъ, если-бы не встрѣча съ Вѣрочкой.

На другой день послѣ описаннаго вечера я совсѣмъ забылъ и о моемъ грустномъ настроеніи, и о Вѣрочкиной грустной исторіи. Утромъ я всталъ какъ обыкновенно, въ привычный часъ вышелъ изъ дому и отправился на службу. Воротаясь со службы, я пообѣдалъ съ аппетитомъ и, какъ всегда, предался послѣобѣденному сну. Дальше, — дальше потянулась обычная жизнь холостяка не первой молодости,—служба, карты, развлечения и все въ мѣру: я не принадлежу къ числу увлекающихся, крайнихъ людей.

Притомъ-же, чѣмъ могла для меня быть Вѣрочка? Она произвела на меня не очень выгодное впечатлѣніе, которое, впрочемъ, я скоро забылъ.

Но сегодня судьба свела меня опять съ Вѣрой, отчего-же и опять не записать эту встрѣчу?

Дѣло было такъ. Сегодня былъ чудесный осенній день. Я вышелъ на бульваръ. Только осенью бываетъ такая чудная погода мягкая, теплая но не до крайности, съ нѣжащимъ вѣтеркомъ и глубокимъ синимъ небомъ. Листья уже пожелтѣли на деревьяхъ и желтымъ ковромъ покрывали землю, ярко разгораясь подъ лучами солнца. Небо было чисто, воздухъ прозраченъ, и на душѣ у меня безпричинно весело. Пестрые костюмы, группы граціозныхъ дѣтей, которыя и встрѣчаются только на бульварахъ (какъ будто неграціозныя и сами знаютъ, что имъ соваться сюда не слѣдъ), дамскія шляпы розанчикомъ, мантильки грибкомъ, — все это мнѣ ужасно нравилось, все

вызывало улыбку удовольствія. Бываютъ-же такіе дни—только пріятныхъ ощущеній.

Въ такіе дни бываешь особенно разговорчивъ и общителенъ. Мнѣ очень хотѣлось подѣлиться съ кѣмъ-нибудь удовольствиемъ, которое я испытывалъ; безотчетно я вглядывался въ мелькавшія мимо лица, отыскивая знакомое лицо, смутно надѣясь встрѣтить кого-либо, съ кѣмъ можно-бы было, какъ говорится, «время раздѣлить». Очень милое выраженіе: «раздѣлить время», такъ какъ ничего другого мы не дѣлимъ охотно. Утомясь безплодными поисками знакомыхъ, я уже оставилъ надежды и шелъ, безцѣльно глаза по сторонамъ, какъ вдругъ замѣтилъ бѣлокурую головку, напомнившую мнѣ что-то.

— Ба! Вѣрочка,—невольно произнесъ я.

Она полу-обернулась, и холодный взглядъ голубыхъ глазъ скользнулъ по мнѣ скорѣе съ враждебнымъ, чѣмъ съ радостнымъ выраженіемъ; она пригнулась къ уху дѣвушки, съ которой шла подъ руку, и что-то шепнула ей, указывая на меня взглядомъ. Но обѣ онѣ прошли мимо, ускоривъ шагъ и отвернувшись, при чемъ щеки Вѣры слегка зарумянились, а ея подруга обожгла меня мимолетнымъ блестящимъ взглядомъ. Я послѣдовалъ за ними, нѣсколько колеблясь: мнѣ казалось, что Вѣрочка недружелюбно встрѣтитъ мое желаніе возобновить знакомство, мною самимъ такъ грубо прерванное, и я не рѣшался; но, съ другой стороны подруга, Вѣрочки была такъ пикантна, такъ мила, что познакомиться съ ней неотразимо хотѣлось. Я было уже двинулся, какъ вдругъ обѣ дѣвушки, круто повернувшись, очутились лицомъ къ лицу со мною.

— Это вы!—нѣсколько искусственно улыбаясь, сказала мнѣ Вѣрочка и протянула ручку, затянутую въ лайковую перчатку. Я схватилъ и пожалъ эту ручку съ непритворною радостью.

Подруга Вѣрочки смотрѣла на насъ съ такою вызывающею усмѣшкой румяныхъ губъ, глаза ея такъ лукаво смѣялись, что мое веселое расположеніе духа удвоилось, если не удесятерилось.

— Грустите?—спросила она у меня, когда Вѣрочка, съ своей медленной, искусственной граціозностью познакомила насъ. Сначала я не понималъ, но, услышавъ смѣхъ обѣихъ дѣвушекъ, сообразилъ, что вопросъ относился къ эпизоду зна-

комства моего съ Вѣрой. Но я не смутился, я ни о чемъ не думалъ, любуясь искрящимися глазками Грушеньки и нѣсколько рѣзкой живостью ея движеній; въ особенности нравился мнѣ ея смѣхъ, короткій и словно поддразнивающий. Она мила, замѣчательно мила!

Обѣими вмѣстѣ—можно было залюбоваться, хоть-бы и художнику: одна стройная, тоненькая блондинка съ задумчиво склонившейся головкой, другая — яркая, задорная смуглянка, весело и слегка насмѣшливо улыбающаяся, и все это въ золотыхъ лучахъ солнца, въ веселый, ясный день. Понятно, что моему сердцу ничего не оставалось больше, какъ радостно забиться навстрѣчу новому увлеченію.

Мы начали съ милаго московскаго обычая,—съ обѣда въ той самой гостинницѣ, гдѣ въ послѣдній разъ ужинали съ Вѣрой. Едва мы успѣли, заказавъ кушанья, Грушенька сказала шаловливо:

— А маршъ изъ Аиды?! Велите скорѣе маршъ изъ Аиды!

Въ теченіе обѣда, Вѣрочка нѣсколько разъ, но тщетно останавливала неудержимую веселость своей подруги; насмѣшливо поглядывая на насъ, Грушенька отпускала довольно свободныя остроты.

— Васъ я не шокирую, душенька?—спросила она меня послѣ того, какъ Вѣрочка со вздохомъ замѣтила:

— Ты, Грушенька, сегодня невозможна!

Я поспѣшилъ отвѣтить комплиментомъ.

— Ну да! — безцеремонно дополнила мой комплиментъ Грушенька, — мужчинамъ больше нравится моя «простота», — она съ удареніемъ произнесла это слова, — чѣмъ Вѣрочкина авантюжность.

Вѣра вспыхнула при этихъ словахъ и кинула на подругу презрительный взглядъ, но та только расхохоталась на мину обиженной. Она, не умолкая, шутила, подзадоривала Вѣру и, благодаря ея живости, разговоръ ни на минуту не прерывался.

Впрочемъ, я и Вѣра несли на себѣ только обязанность подавать реплики, потому что говорить мы могли только о томъ, о чемъ желала говорить Грушенька: выходило это невольно, помимо предвзятаго намѣренія съ ея стороны. Подъ конецъ обѣда, я до того увлекся рѣзвой шалуньей, что непременно хотѣлъ выпить съ ней брудершафтъ.

— Душенька, отчего-же нѣтъ?—насмѣшливо отозвалась



Грушенька, но выпьемъ втроемъ,—вѣдь вы Вѣрочкинъ другъ раньше, нежели мой, неправда-ли? Надѣюсь, вы не забыли, какъ вы рассказывали ей вашу біографію? Я одобряю, — это пресвѣдое препровожденіе времени!

Вѣрочка взглянула на подругу съ упрекомъ.

— Э, милочка,—отвѣчала на этотъ нѣмой упрекъ Грушенька—вѣдь это не секретъ, что мы съ тобой откровенны между собою.

И она звонко чмокнула въ ухо Вѣру, шепнувъ ей при этомъ что-то, затѣмъ быстро повернулась ко мнѣ.

— Я то-же расскажу вамъ эпизодъ, хотите?

Она начала:

— Это было давно,—лѣтъ пять тому, вѣдь у насъ лѣто-счисленіе на особый ладъ:—что по вашему короткій срокъ,—по нашему очень и очень длинный. — Ну-съ, такъ вотъ: я жила тогда съ матушкой на хлѣбахъ у моего старшаго брата, чиновника—холостяка. Дѣвушка я была веселая,—какъ и теперь—усмѣхнулась Грушенька, — страстно любила наряды, театръ и прочее, чѣмъ жизнь красится, да въ томъ бѣда, что средства-то были маленькія,—веселиться да рядиться не изъ чего было. Не стоитъ много говорить объ этомъ: обыкновенно очень. Помню лишь мучительную зависть, съ которой я смотрѣла на нарядныхъ барынь на Невскомъ, да на магазинныя выставки въ окнахъ. Ахъ, какія видѣла я тамъ чудныя вещи, брилліанты!—воскликнула Грушенька, слегка раздувая ноздри, что очень шло къ ней.

— Я вѣдь смѣлая,—продолжала Грушенька: долго томиться не люблю, да сколько-бы я не томила, вѣдь выхода изъ моего голоднаго положенія, этакого естественнаго, приличнаго выхода—не могло явиться.... Замужъ?—спросила она, вскинувъ на меня свои яркіе глаза, хоть я не произносилъ ни слова.— Но вѣдь я хотѣла веселиться, жить!

— Я начала дурачить мужчинъ, но какъ? О, это была остроумная выдумка! Помните только, друзья мои, что я была благородной семьи, очень порядочной, которая ни за что не позволила-бы мнѣ обезпечить себя какъ-нибудь помимо замужества, поняли? А я настолько знала жизнь, что изъ — за.... журавля въ небѣ, не разсталась-бы съ тѣми удобствами, которыя все-же давала мнѣ моя семья.

— Ну, я пошла на компромиссъ,—такъ я выговариваю?— съ улыбкой спросила меня Грушенька, и быстро продолжала. —

Я отпрашивалась у мамы к знакомымъ и, шикарно одѣвшись, шла на Невскій. Пройду разъ, другой, — понятно со мной заговариваетъ тотъ, другой, — вотъ-бы гдѣ полиціи слѣдить, — опять встала она. — На лицѣ изображаю скромность, — Грушенька представила намъ, какъ она изображала скромность, и мы покатались со смѣху; — скромно, скромно иду, а все высматриваю или простоту — провинціала или юношу — новичка. Должно быть, фizioномистка я была недурная, такъ какъ мнѣ моя штука удалась не одинъ разъ; — впрочемъ, не надо забѣгать впередъ, неравно интересъ у васъ потеряется къ разсказу, — лукаво улынулась Грушенька.

— Ну-съ, — быстро перешла Грушенька къ сути «штуки», — когда мы оказывались вдвоемъ въ шикарномъ cabinet'ѣ, я разсказывала жертвѣ моей мистификаціи чувствительную исторію, — какую? — Неинтересно вспоминать, — обыкновенно въ ней играли роль мои трагическія обстоятельства, — тиранъ мужъ, скупой и жадный, или что-нибудь въ этомъ родѣ, — и просила денегъ взаймы, — рублей 25 или 50, — небольшую сумму, разумѣется....

— И они давали? — спросила Вѣрочка.

— Разъ или два, — небрежно отозвалась Грушенька. Во всякомъ случаѣ, я исчезала отъ моего «обожателя», разыгравъ драматическую сцену, — истерику, напримѣръ; испуганный рыцарь бѣжалъ за стаканомъ воды, проклиная нервныхъ женщинъ, а я спасалась другимъ ходомъ отъ послѣдствій моей выходки. Больше всего я жалѣла всегда о томъ, что не могла видѣть фizioноміей моихъ жертвъ, когда онѣ, возвращаясь съ поисковъ за стаканомъ холодной воды, — не находили меня, — смѣялась Грушенька. — Воображаю ихъ мину!

— Неужели тебѣ безнаказанно сходили съ рукъ такія шутки? — недовѣрчиво спросила Вѣрочка.

— Мое школьничество было дурачки-смѣло, — смѣясь говорила Грушенька, — и, можетъ быть, поэтому дурачки счастливо. Удачи, въ смыслѣ займа, — бывали рѣдко, но ускользать, потѣшившись надъ легковѣрностью этихъ наивныхъ... — Грушенька остановилась на минуту, подыскивая эпитетъ, но, не придумавъ, махнула безпечно рукой... — Удавалось всегда. — Что скажете вы на это? — повернулась она ко мнѣ.

Я все время думалъ, что Грушенькинъ разсказъ былъ слишкомъ дерзокъ. Дѣлать — еще пусть; но и разсказывать, насмѣшливо хвастать, — и чѣмъ-же? Да и была тутъ очевид-

ная неправда: каждый такой cabinet имѣть всегда графинъ съ водой, такъ что бѣгать за нею не нужно.

Вѣрочка вмѣшалась опять.

— Грушенька сознается, что любить мистифицировать;—и мнѣ сдается, что весь ея рассказъ — выдумка для краснаго словца.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ты такъ думаешь?—насмѣшливо спросила Грушенька. Позволь спросить, что-же ты въ немъ находишь неправдоподобнаго?

— Да все, слегка вспыхнувъ, сказала Вѣрочка, и замялась. Начать хоть съ того, что какимъ образомъ ты могла-бы тратить занятія тобой деньги, чтобъ семья твоя не замѣтила появленія лишнихъ денегъ? Въ бѣдной семьѣ каждая копейка на виду и на счету...

— Глупости!—перебила Грушенька;—достать деньги труднѣе, чѣмъ истратить ихъ незамѣтно,—наряды покупала дешево,—ужь это всегда, засмѣялась она,—деньги уходили на театръ, конфекты, — родственникамъ негдѣ было узнать о томъ.—Ну, а вы, голубчикъ, что думаете?—повторила она, обращаясь опять ко мнѣ.

— Я согласенъ съ Вѣрочкой,—принужденно выговорилъ я,—что вы весь этотъ рассказъ выдумали нарочно, чтобы позабавиться надъ нашимъ легковѣріемъ.

— Вы и безъ того забавны,—отрѣзала Грушенька. Вѣрочка ради контанансу высказываетъ недовѣріе къ моему разсказу;—ея конекъ—приличность и выложенность на людяхъ,—ну,—я ее одобряю, къ ней это идетъ,—а вы то, душенька, вашимъ поддакиваньемъ Вѣрочкѣ только смѣшны. Бойтесь вы вслухъ порицать меня, и въ душѣ навѣрное думаете:—«Боже, ахъ, какой цинизмъ!».. А суть то, продолжала она, не дожидаясь отвѣта,—суть все-таки въ томъ, что вы не столько поражаетесь безправственностью, что-ли,—моего поведенія на Невскомъ, сколько тѣмъ, что я для перваго знакомства съ моей особой рассказываю вамъ о моихъ пассажахъ, даже не краснѣя...

«Чертенюкъ, подумалъ я, но какой увлекательно-дерзкій чертенюкъ.»

— Интересно,—раздался мелодическій голосокъ Вѣры,—что она никогда не говорила о такихъ своихъ пассажахъ раньше.

— А вотъ при немъ... да, нѣтъ! — прямо таки ему, —



вотъ и рассказала!—задорно вскричала Грушенька, встряхивая густыми каштановыми волосами, прихотливо крутившимися вокругъ ея головы. А зачѣмъ? Затѣмъ, Вѣрушенька моя нѣжная, чтобы сказать тебѣ, и опять-таки при немъ,—что мужчинамъ цинизмъ нуженъ, что цинизмъ любятъ они встрѣчать въ такихъ женщинахъ, какъ мы съ тобой. Цѣломудренную ворчливость предоставляютъ они женамъ вплоть до возраста тещи, а въ насъ, чудная голубка моя, ханжества они не цѣнятъ. Взгляни на него теперь, Вѣра, и знай, что завтра же онъ меня искать будетъ! — вызываяще закончила Грушенька свою пылкую тираду.

— Я совсѣмъ глупъ сегодня...—началь было я.

— Развѣ?—перебила Вѣрочка, — я что-то не замѣтила, чтобы вы говорили глупости.

— Еще-бы, вставила Грушенька. Ему некогда было, — но онъ все время думалъ сказать ихъ...

— У васъ острый языкъ,—и только, очертя голову, надо бросаться въ опасность—говорить съ вами,—сказалъ я:—и все-таки я кое о чемъ спрошу васъ... можно?

— Отчего-же, спрашивайте!

— Долго-ли вы школьничали такъ въ Петербургѣ?

— Довольно долго...—небрежно бросила Грушенька.

— До тѣхъ поръ, пока...

— Пока жила дома, разумѣется. Долго-ли, коротко-ли тянулась моя наивная канитель—неинтересно;—да и суть-то не въ этомъ совсѣмъ. Суть въ томъ, голубчикъ, что я—изъ породы хищниковъ, а гдѣ ужъ и какъ устроить себѣ жизнь такой хищникъ—въ гнѣздѣ или на улицѣ, или повыше на горкѣ, — это неважно,—промолвила Грушенька, поднимаясь изъ-за стола и давая знакъ Вѣрѣ уходить.

10 января.

Грушенька была права: я и дѣйствительно влюбился въ нее, какъ сумасшедшій или похоже на то; всѣ эти дни я выносилъ отъ нея то, чего никогда не снесъ-бы отъ другой женщины: только въ отношеніи къ ней я узналъ за собой такую черту характера, — безграничную, покорную выносливость. Грушенька могла подвергать меня какимъ угодно испытаніямъ,—я неизмѣнно возвращался къ ней послѣ самыхъ уродливыхъ вспышекъ гнѣва. Я убѣгалъ отъ ея циническихъ выходокъ лишь затѣмъ, чтобы вернуться къ ней снова, что-

бы вновь заглянуть въ эти блестящія глазки, чтобы услышать вновь этотъ милый, задорный смѣхъ, хотя-бы этотъ смѣхъ и раздавался надъ тѣмъ, что въ жизни считалъ я и святымъ и дорогимъ. Я возвращался къ ней послѣ того, какъ наканунѣ она съ циническимъ смѣхомъ кидала мнѣ на прощанье:

— Ну, идите-же скорѣе, а то столкнетесь съ «нимъ».

Я шелъ къ ней послѣ того, какъ ее, нарядную и разубранную, проводилъ куда-то, еще къ кому-то, который тоже былъ «онъ»,—я мирился со всею этою пошлостью, какъ мирился съ этой кучей подарковъ, которые шли отъ «нихъ» и которые Грушенька самодовольно показывала. И мои подарки были тамъ въ этомъ-же числѣ, потому что я тоже былъ «онъ» и не былъ бѣденъ.

Можетъ-ли дальше идти нравственное паденіе мужчины? Конечно нѣтъ! И подумать только, что мы, падая тысячи разъ подобнымъ образомъ, проповѣдуемъ строгую мораль, ту мораль, по которой нѣтъ прощенія женщинамъ павшимъ! Это—мы-то! Мы-то жалуемся, вопіемъ, если наша сестра или жена кокетничаетъ съ постороннимъ!? Но вѣдь женщина никогда не можетъ пасть такъ низко, какъ падаемъ мы, мужчины. Поставьте рядомъ столь осмѣянное женское кокетство и мужскую нравственную распущенность, которой я былъ примѣромъ. А вѣдь я не исключеніе, такъ живемъ все мы. Распущенность наша не въ томъ только заключается, что мы часто мѣняемъ предметы нашихъ привязанностей, а въ томъ еще, въ чемъ я признался сейчасъ, въ этой безразличности,—хуже даже,—въ этой слабости, постыдной низости, въ этой рабской приниженности предъ смѣло заявленнымъ цинизмомъ и порокомъ.

Да, я не находилъ въ себѣ силъ бороться съ притягательностью Грушеньки. Оставаясь наединѣ съ самимъ собою, я говорилъ, что мое увлеченіе глупо, смѣшно, наконецъ; но и мой страхъ быть смѣшнымъ не удерживалъ меня.

Если-бъ я еще не любилъ ея! Если-бъ только я могъ смотрѣть на нее, какъ, вѣроятно, смотрѣли «тѣ»: какъ на игрушку, которую не стоитъ брать надолго, а лишь на время. Но нѣтъ, я не могъ быть равнодушенъ вполне, какъ были тѣ. Я говорилъ себѣ: «пойду къ ней послѣдній разъ, посмотрю еще разъ, можно-ли что-нибудь сдѣлать, и уйду, чтобъ не возвращаться». Что сдѣлать, чему помочь, я хоро-

шенько не понималъ, но чувствовалъ, больно чувствовалъ, что «такъ нельзя, нельзя»...

Что «такъ нельзя» — я пытался заставить понять Грушеньку.

Но она насмѣшливо пожимала плечами.

— Отчего нельзя, голубчикъ? — спрашивала она, — отчего нельзя? И что именно — нельзя?

— Нельзя такъ жить, какъ ты живешь, — убѣждалъ я ее, — вѣдь это...

— Ты, милый мой, глупъ! — отрѣзывала Грушенька. — Почему мнѣ нельзя такъ жить, а другимъ можно? Многія живутъ такъ...

— Но чѣмъ кончаютъ?

— Смертью, — спокойно отвѣчала Грушенька. — Всѣ умремъ, одни раньше, другіе позже. Я умру раньше, за то поживу поярче, знаешь, какъ въ сказкѣ...

И она въ сотый разъ принималась рассказывать мнѣ сказку, какъ орелъ спрашивалъ ворона, отчего онъ, воронъ, живетъ триста лѣтъ, а онъ, орелъ, только тридцать; и какъ сказалъ ему воронъ: — поѣшь, орелъ, падали, такъ и будешь живъ триста лѣтъ; попробовалъ орелъ падали, да и взлетѣлъ въ поднебесье и крикнулъ оттуда ворону: лучше тридцать лѣтъ горячей кровью питаться, чѣмъ триста падалью...

Она считала себя орломъ! Она, несчастная, питавшаяся падалью!

— Да, твоя-то жизнь, твоя-то и окружена падалью, — объяснялъ я ей; — ты вотъ настоящей-то любви и не знала никогда; всѣ приходятъ къ тебѣ съ цинизмомъ да съ пошлостью.

— Ну, не всѣ, — добродушнымъ тономъ замѣчала на это Грушенька, — иногда и маршъ изъ Аиды услышишь...

Нѣтъ, я не могъ, не умѣлъ научить ее жить нравственнѣе, чѣмъ она жила. Общія нравственные правила мы, повидимому, твердо знаемъ: намъ столько ихъ твердили. Въ частномъ-же случаѣ, мы добро отъ зла отличить не можемъ, да и очень мало заботимся объ этомъ, а если и чуемъ сердцемъ зло, то не умѣемъ затронуть чужое сердце, убѣдить умъ! Да и какъ могъ я проповѣдовать Грушенькѣ, когда я самъ, Боже мой, какъ поступалъ я самъ? Въ молодые годы, — это время любви, поэзіи и искренности чувства, — я относился къ женщинѣ не какъ къ человѣку, сестрѣ, матери, а какъ



къ самкѣ, т. е. безразлично-безнравственно. Правда, въ ту пору рядомъ со мною, а то и головой выше меня ставали женщины, которыхъ я уважалъ, считалъ достойными любви, женщины красивыя и умныя. Но я смотрѣлъ на нихъ—не какъ на женщинъ, которыхъ можно любить; любилъ я другихъ, безнравственныхъ. Первые, равныя мнѣ по уму, по жадѣ истины, по одинаковости стремлений должны были для меня оставаться недосыгаемы, а почему? Да потому, что любовь такой женщины налагала на меня извѣстныя обязанности, пренебречь которыми-бы я не могъ. Играть ихъ жизнью и честью я не могъ. Это была даже своего рода честность. А подвергаться риску супружескихъ обязанностей, не сойдя еще со школьной скамейки или не обезпечивъ жизнь,—глупо, нелѣпо, непрактично. Тысячи людей разсуждаютъ такъ, и я разсуждалъ точно также. Ну, что-же я могъ нравственнаго извлечь изъ моихъ отношеній къ женщинѣ, такого нравственнаго, которое дало-бы мнѣ силу убѣдить Грушеньку? Нѣтъ, я не нашелъ въ себѣ ничего, кромѣ пустоты мысли и себялюбивости сердца, а этимъ Грушеньку покорить я не могъ.

Не говорить на эту тему я тоже не могъ и, понятно, надоѣдалъ ей. Одинъ только разъ къ моей проповѣди нравственности она отнеслась съ интересомъ, но я, какъ проповѣдникъ, разыгралъ въ этомъ случаѣ глупую роль.

Я, ради морали, вздумалъ прочесть ей вслухъ романъ Золя «Нана»; почему-то мнѣ казалось, что этотъ романъ долженъ подѣйствовать на Грушеньку отрезвляющимъ образомъ; при этомъ смутно припоминался мнѣ трагическій конецъ Нана, отталкивающая реальность картинъ распущенности нравовъ парижанъ. Теперь хорошо не помню частности, но помню, что цѣль у меня была моральная. Вотъ что произошло. Романъ заинтересовалъ Грушу съ первыхъ-же страницъ, и я долженъ былъ, не отдыхая, безъ перерыва читать его до конца, такъ какъ для вниманія Грушеньки не существовало усталости. Когда я, полузадохнувшись, просилъ пощады, Грушенька, красная отъ досады, топала ножкой, вскрикивая нетерпѣливо:

— Да вѣдь ты ужъ давно молчишь, неужели не отдохнулъ еще!

Если я немедленно удовлетворялъ ея нетерпѣливому желанію слушать дальше, она мило намазывала мнѣ тартинку масломъ или наливала стаканъ крѣпкаго чаю, какъ я любилъ.

Обстановку этого вечера или скорѣе дня я помню такъ живо, какъ будто это было вчера: самоваръ привѣтливо шумѣлъ на столѣ, комната Грушеньки глядѣла такъ уютно, и Грушенька была такой внимательной и милой ко мнѣ, какъ это случилось рѣдко. Первая часть романа вызвала у Грушеньки массу замѣчаній, клонившихся не къ чести автора; циническія выходки кокотокъ, собравшихся на обѣдъ Нана, которымъ та отпраздновала свой сценическій успѣхъ, возмутили Грушеньку до того, что она прервала чтеніе; съ блестящимъ раздраженіемъ взглядомъ доказывала она мнѣ, что никакая порядочная дѣвушка, — она такъ и сказала «порядочная» — не позволить себѣ такъ браниться изъ-за мужчинъ, какъ бранятся «эти барыни въ романѣ».

— Стыдно ему такъ клеветать! — вскрикивала Грушенька.

Дальше было уже не то; вторая часть романа увлекла ее. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше успѣхъ Нана, какъ оболстительницы развращеннаго Парижа, кружилъ голову Грушеньки. Не даромъ съ перваго-же знакомства Груша назвала себя хищникомъ; — хищническіе инстинкты говорили въ ней громко. Глаза ея горѣли, ноздри раздувались и она топала ногой, слушая, какими роскошными подарками осыпалъ Нана обезумѣвшій Парижъ, — она заставляла эти мѣста романа перечитывать и, казалось, видѣла своими блестящими глазами передъ собою всѣ эти чудныя вещи. Когда Нана разбила фарфоровую шкатулочку Филиппа, у Грушеньки вырвалось восклицаніе:

— Ахъ, неловкая образина!

А серебряная кровать Мюффа! Надо было видѣть Грушеньку въ эту минуту, — она задыхалась!

— Вотъ это жизнь, — воскликнула она. Тамъ умѣютъ жить!

Горячность Грушеньки не возмущала меня, хотя моральная цѣль, ради которой я сталъ читать Грушенькѣ Нана, должна-бы была заставить меня бросить чтеніе, какъ только выразилось ясно, что достигается противоположный результатъ. А я читалъ! Хуже того, — я совсѣмъ забылъ о морали. Я самъ увлекся этой эпопеей цинизма и пошлости и, забывая возмущаться, съ азартомъ вчитывался въ описанія грубыхъ оргій, животныхъ увлеченій; эти объятія, среди шума грязныхъ восклицаній, эти двусмысленности положеній щекотали мои нервы, и я читалъ, читалъ охрипшимъ отъ надсады го-

лосомъ. Последняя жизненная неудача Нана у обоихъ насъ вызвала вздохъ сожалѣнія.

Какая-же мораль могла изъ этого выйти!

Мы достойно закончили вечеръ, поѣхавъ въ Буффъ, въ которомъ, какъ нарочно, шла пикантная оперетка. Тамъ Грушенька замѣтила:

— Въ Москвѣ-бы поставить «Бѣлокурую Венеру», — то-то наши купчики разошлись-бы! — Почтище парижанъ!

Я замѣтилъ ей, что «Прекрасная Елена» очень напоминаетъ «Бѣлокурую Венеру».

— Но все не то! — комически вздохнула Грушенька.

10 февраля.

Все кончено! Право не знаю, какъ это случилось. Буду писать по порядку. Исправить Грушеньку я не имѣлъ ни честности, ни силы воли, но любить ее я продолжалъ. Конечно, я и... и ревновалъ. Нелѣпость такой ревности была очевидна, тѣмъ не менѣе бороться съ этимъ чувствомъ я не могъ.

Грушенька относилась къ моей ревности крайне равнодушно.

— Милочка, — спокойно отзывалась она на мои упреки, — напрасно ты волнуешься только, — измѣнить того, за что ты меня упрекаешь, — я не въ силахъ...

— Да, потому что ты...

— Этому, милый другъ, мѣшаетъ моя гордость.

— Гордость? у тебя? — удивился я.

На этотъ счетъ Грушенька имѣла престранное мнѣніе.

Въ первый разъ, когда я слышалъ отъ нея это мнѣніе, я долгое время не могъ очнуться, — такъ странно и дико звучало оно для меня.

— Видишь-ли, — говорила съ какою-то странною усмѣшкою Грушенька, — я плачу всѣмъ, кто меня цѣнитъ, и по моему плачу очень дорого; я думаю, что плачу больше, чѣмъ сама получаю, — значитъ я и не обязана ничѣмъ никому изъ васъ. И горжусь этимъ, слышишь, — горжусь! — Вотъ по этой-то моей гордости я и не хочу мѣнять своей жизни и не перемѣню.

И опять я не умѣлъ, ничего не умѣлъ возразить ей!

Одинъ разъ она воскликнула съ свойственной ей стремительностью:



— Повѣрь, что еслибъ я бросила всѣхъ ихъ, такъ бросила-бы и тебя, — ушла-бы скорѣе въ монастырь, чѣмъ полюбила кого-нибудь. Всѣ вы... одинаково гадки!..

Своего полного равнодушія ко мнѣ Грушенька ничѣмъ не маскировала; конечно, и ревностью меня не удостаивала. Я могъ, сколько угодно, подзадоривать ее волокитствомъ за ея подругами, за Вѣрой; — Грушенька улыбалась и отпускала каламбуры двусмысленнаго свойства. Но Вѣрочка... впрочемъ о Вѣрѣ послѣ.

Вообще Грушеньку мало трогали сцены ревности, которыя я ей дѣлалъ, такъ-же мало, какъ и моя любовь. О любви Грушенька не имѣла или не хотѣла имѣть никакого понятія. Да и стоила-ли моя любовь высшей оцѣнки.

— Любовь—это когда одинъ человѣкъ одолѣетъ другого и ежеминутно доказываетъ этому другому, что онъ его одолѣлъ,—говорила Грушенька.—Одолѣвать васъ скучно, господа,—она презрительно махнула рукой, любимый ея жестъ,—а себя одолѣть я никому не позволю... Если-бы это случилось со мной...

— Что-жь-бы вышло?..

— Либо его, либо себя убила-бы!

И глаза ея при этомъ метнули такую молнію, что не повѣрить было-бы трудно.

Разглагольствій моихъ на тему о любви Грушенька не любила слушать и, обыкновенно, прекращала ихъ такимъ образомъ разговора:

— Цѣну и себѣ, и тому, что я получаю отъ другихъ, я хорошо знаю, а цѣны твоей любви я не знаю... Если я замужъ выйду за тебя, то тому, что получу, цѣны впередъ узнать не могу; можетъ статься, я и цѣнить того не стану, да и не нужно оно мнѣ вовсе. Значить, — и разговаривать нечего.

Послѣ этого я замолкалъ: не могъ-же я жениться на ней,—вѣдь это было-бы уже слишкомъ! Но при первомъ-же случаѣ я опять начиналъ тѣ-же разговоры. Вѣдь ими я хотѣлъ направить Грушеньку на путь истины!

Изъ-за этого и покончились мои отношенія къ Грушенькѣ; но покончились они по желанію самой Грушеньки; говоря попросту, — она выгнала меня съ позоромъ, запретивъ появляться къ ней, подъ страхомъ пощечинъ, — къ стыду своему, я долженъ въ этомъ сознаться.

Единственный разъ я видѣлъ шаловливую Грушеньку въ такомъ гнѣвѣ: онъ былъ вызванъ ничѣмъ инымъ, какъ моимъ желаньемъ найти въ ней что-нибудь человѣческое, честное...

Что это нашло на Грушеньку въ этотъ день,—я не понимаю;—вѣдь за всѣ эти полгода—я только и старался найти въ ней хорошее и честное; вѣдь любя ее, я старался убѣдить себя, что есть въ ней нѣчто хорошее, что я инстинктивно чувствую, но опредѣлить не могу, я старался вызвать въ ней хорошія чувства, заглохшія въ той атмосферѣ, въ которой она жила... и вдругъ...

Лицо ея пылало, глаза горѣли злымъ огнемъ, съ губъ сбѣжала обычная улыбка...

— Ты съ чѣмъ пришелъ ко мнѣ въ первый разъ, съ чѣмъ,—скажи на милость?—выкрикивала она, наступая на меня, а я оробѣлъ не на шутку и пятился къ двери.

— Ты пришелъ ко мнѣ съ деньгами, ты покупалъ меня, помнишь-ли ты это?! Такъ знай, что я не всю себя продаю, да! Души не продаю,—вотъ что! Не залѣзай ты ко мнѣ въ душу, гость непрощенный, не таковскій ты, чтобъ я въ душу тебя пустила. По пословицѣ, съѣшь-ка ты со мной три пуда соли, да и стучись тогда въ душу!

И она со злостью захлопнула за мной двери, крикнувъ на прощанье, чтобъ я не смѣлъ и думать вернуться къ ней.

И я не вернулся.

12 февраля.

Все свободное время сегодня ходилъ по улицамъ. Былъ и около Грушенькиной квартиры нѣсколько разъ, но не зашелъ... Неужели я боялся пощечинъ?! Нѣтъ, нѣтъ. Я былъ-бы черезчуръ гадокъ. Наконецъ, я сталъ бродить, куда глаза глядятъ; шелъ, шелъ, наткнулся на какую-то старушку съ корзиною лимоновъ и яблокъ и чуть не разсыпалъ эти лимоны. Оглянулся:—скользко, мокро; на тротуарахъ жалкіе торговцы съ мокрыми лотками и корзинами, въ воздухѣ словно повисъ мелкій дождь, сыпавшій какъ сквозь сито. Бррр,—сыро и гадо!

«Конечно, я не вернусь къ ней,—со злостью думалъ я. Скверная, скверная душонка!»

Но я любилъ ее, эту циническую душонку, эту дерзкую Грушеньку, любилъ, не зная за что, даже больше: зная, что

любви она не стоитъ. Сердце мое, въ этотъ печальный, сѣрый день уходящей зимы, такъ щемило, такъ болѣло, что не разъ хватался я рукою за лѣвый бокъ. Просто физически больно.

«Не вернусь, конечно,—твердилъ я. Да она и не пустить, нечего пробовать! И не нужно, и не нужно! Давно слѣдовало бросить эту канитель, — и лучше, что она сама за это взялась.

«Все таки обидно и горько! И обидно... и жалко.»

Я самъ не могъ опредѣлить, чего мнѣ было жалъ: ее-ли Грушеньку-ли, или мое къ ней чувство, мою хоть уродливую, хоть смѣшную, но все-же любовь, все-же чувство. Какъ-бы то ни было, — я тосковалъ и, чтобъ развлечься, попалъ къ Вѣрочкѣ.

Я нашелъ ее въ грязномъ номерочкѣ одной большой гостиницы, гдѣ дѣвушки «безъ опредѣленныхъ занятій», актриски клубныхъ сценъ, хористки, потерявшія мѣсто, — весь этотъ необезпеченный женскій людъ находятъ себѣ кровъ.

Я нашелъ ее не одну, чему и былъ очень радъ; въ ея комнатѣ были двѣ женщины, очевидно сосѣдки ея по корридору; это показывалъ ихъ небрежный костюмъ и отсутствіе косметическихъ приспособленій, назначеніе которыхъ—скрывать морщины поблекшихъ фizioномій; онѣ, впрочемъ, ни мало меня не сконфузились, хотя я оглядывалъ ихъ съ безцеремоннымъ любопытствомъ.

Одна изъ этихъ двухъ женщинъ невольно остановила на себѣ мое вниманіе. По ея виду трудно было опредѣлить ея года: ей 25 и 40 лѣтъ; лицо ея смотрѣло больнымъ и изможденнымъ, но въ черныхъ глазахъ загорался по временамъ такой огонь, что невольно думалось о молодости; живая игра фizioноміи заставляла забывать о желтизнѣ кожи и морщинахъ, — черное платье, висѣвшее мѣшкомъ на ея щедушномъ тѣлѣ, было сильно заношено, и изъ-подъ короткой юбки я увидѣлъ порванный башмакъ; женщина поглядѣла на меня равнодушно, кивнувъ головой на мой поклонъ, и продолжала курить, какъ-бы не обращая вниманія на появленіе незнакомаго человѣка въ комнатѣ.

Съ Вѣрочкой она говорила покровительственнымъ тономъ, а второй собесѣдницы какъ будто и не замѣчала.

Эта другая, напротивъ, тотчасъ-же какъ я вошелъ въ комнату, окинула меня инквизиторскимъ взглядомъ съ головы до



ногъ; этотъ взглядъ, казалось, сразу взвѣсилъ меня всего и съ моимъ портмоне, и съ моимъ нравственнымъ капиталомъ. Ея дерзкій взглядъ какъ будто спрашивалъ Вѣру: чего ждать отъ этого?! Эта наглая фizioномія еврейскаго типа съ оттопыренными губами и какой-то жирной смуглостью производила отталкивающее впечатлѣніе. Рядомъ съ этими двумя лицами, — бѣленькая Вѣра значительно выигрывала и показалась мнѣ свѣжѣй и чище обыкновеннаго. Моему приходу она, кажется, искренно обрадовалась и радостно пожала мнѣ руку, спросивъ о здоровьѣ Грушеньки. Должно быть, выраженіе лица моего сдѣлалось глупо-натянутымъ отъ этого вопроса, потому что Вѣра немедленно-же сказала вопросительно: —

— Поссорились? — на что я промолчалъ.

«Глупа она!» — мысленно выбранился я.

Разговоръ завязался, — скучный до тошноты; странная женщина, о которой я говорилъ раньше, смотрѣла безучастно, дымя папирсомъ; Вѣрочкѣ очевидно хотѣлось, чтобы гости удалились, и она неохотно процѣживала слова сквозь зубы. Но женщина еврейскаго типа безцеремонно намекнула на то, «что время-бы закусить». Послѣ этого я долженъ былъ обратиться къ Вѣрочкѣ съ просьбой «распорядиться» насчетъ этой закуски и вина, тѣмъ болѣе, что въ обществѣ этихъ дѣвицъ ничего иного и не приходитъ въ голову. Когда Вѣрочка распорядилась, женщина съ утомленнымъ лицомъ, — оказалось, что ее звали Анной Петровной, — крикнула ей, ни мало не стѣсняясь моимъ присутствіемъ:

— Прикажи подать водки на мою долю, да колбасы съ запашкомъ, знаешь?

Когда закуска была подана, «колбаса съ запашкомъ» оказалась совершенно тухлою, но Анна Петровна все-же ее разрѣзала на ломтики, хотя и не собиралась ѣсть ее. Проглотивъ первую рюмку водки, она съ аппетитомъ потянула въ себя запахъ этой тухлой колбасы, поднеся одинъ ломтикъ почти къ самому носу, и затѣмъ швырнула его подъ столъ. Я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на этотъ оригинальный способъ закусывать водку. То-же повторяла Анна Петровна и съ послѣдующими рюмками: нарѣзанная тонкими ломтиками тухлая колбаса путешествовала подъ столъ съ неукоснительною точностью. Анна Петровна не ѣла ничего.

«Она—пьяница», подумалъ я, глядя на ея испитое лицо.

Съ появленіемъ водки и вина разговоръ оживился; посы-

пались шутки, остроты, напомнившія мнѣ Грушеньку; особенно отличалась Анна Петровна; но въ ея остроуміи было меньше пикантности и соли, за то болѣе силы и глубины; каламбуры были даже блестящи, и я замѣтилъ ей это; она отозвалась небрежно:

— Вѣдь я образованіе получила... да!

Я повторилъ одинъ изъ любимѣйшихъ и, правду сказать, самый циническій каламбуръ Грушеньки: еврейка и Вѣра расхотались; особенно аппетитно хохотала еврейка, причемъ забавно прыгали ея смуглыя, подернутыя лоскомъ щеки.

Анна Петровна не смѣялась; она выждала, когда смѣхъ улегся и тогда съ самымъ хладнокровнымъ видомъ, не моргнувъ глазомъ и не улыбнувшись, проговорила залпомъ десятокъ такихъ-же.

— Эти каламбуры,—сказала она потомъ,—такая-же обиходная вещь среди женщинъ нашего ранга, какъ цитаты изъ Щедрина и Бомарше въ порядочномъ обществѣ, и права собственности на нихъ также нѣтъ, добавила она, помолчавъ, и чуть-чуть усмѣхнулась.

— Васъ удивляетъ моя ученость?—сказала она, подмѣтивъ мое удивленіе,—однако-жъ такихъ, какъ я, не мало среди ихъ,—она кивнула головой на Вѣрочку и еврейку,—только моя пѣсенка ужъ спѣта,—и слава Богу!

— Образованныя кончаютъ даже хуже, чѣмъ онѣ, говорила она дальше,—трудно удержаться имъ что-ли, или такъ ужъ,—сердце не лежитъ къ благополучному окончанію карьеры — трудно понять: только, попавши на скользкій путь, катятся внизъ, не останавливаясь,—по наклонной плоскости. А эти,—безъ образованія, — случается и замужъ выйдутъ, и дѣтей имѣютъ, и воспитаютъ ихъ...

Она смолкла на минуту и понурила голову.

— Только какое ужъ это и воспитаніе, Господи!—вырвалось у нея порывисто и страстно. Если у развращенныхъ отцовъ, которые все-таки вдали стоятъ отъ своихъ дѣтей и поэтому не могутъ постоянно портить ихъ, и то—дѣти развращаются—такая ужъ проникающая атмосфера разврата, — то чего-же, чего-же ждать отъ развращенныхъ матерей?

Щеки Анны Петровны слегка покраснѣли, выпитое вино очевидно бросилось ей въ голову. Отодвинувшись отъ стола и закинувъ ногу на ногу, она посмотрѣла на меня долгимъ взглядомъ. Подъ взглядомъ этихъ лихорадочно-горѣвшихъ

глазъ, мнѣ стало неловко и какъ будто стыдно. Стараясь оправиться, я сказалъ ей шутливо:

— Вы слыхали такіе случаи объ образованныхъ. Разскажите...

У меня не повернулся языкъ попросить Анну Петровну разсказать ея исторію, хотя мысль эта и мелькнула было. Эта женщина, несмотря ни на ея жаргонъ, ни на ея поношенное платье и водку, которую пила такъ много на моихъ глазахъ, внушала къ себѣ какое-то невольное уваженіе.

Она закурила папиросу и начала:

— Да, я слышала одинъ такой случай: началось съ того, что красивая полковница влюбилась въ адвоката; онъ пріѣхалъ на защиту какого-то уголовного дѣла въ провинціальный городъ, гдѣ жила полковница съ мужемъ; адвокатъ былъ уменъ, занимателенъ, столичный воробей, а у полковницы мужъ былъ старъ... *...Das ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu!*.. Полковница укатила за франтикомъ въ столицу. Долго-ли, коротко-ли длилась исторія любви молоденькой полковницы и красиваго адвоката — не знаю, — знаю только, что осталась полковница одинока. Женщина она была гордая, вымаливать у измѣнника любви, а у мужа пощады — не хотѣла, ну, и осталась...

Анна Петровна усиленно затянулась папиросой и выпустила такой огромный клубъ дыма, что лица ея не стало видно.

— Голосокъ былъ изрядненькій, — ее и приняли въ хоръ русскихъ пѣвицъ въ Эльдorado. Говорили, что она долго въ этомъ хорѣ занимала привилегированное мѣсто неприступной женщины, да, долго, но кончила... да такъ-же, какъ всѣ! Только не изъ-за денегъ она отъ неприступности своей отказалась, и не ради денегъ!.. Одиночество — не свой братъ — дастъ себя знать; запроситъ сердце ласковаго слова — вѣдь и знаешь, что встрѣтишь куплю-продажу, а идешь! Эхъ, куда-бы ужъ ни шло — пропадать, да хоть каплю-бы радости, утѣшенья! Такъ, вѣдь, нѣтъ-же, нѣтъ и этой крошечной капли!.. Потому что тутъ-же, какъ пропадаешь, въ эту-же минуту и чувствуешь, что на твои ласки смотрятъ, какъ на купленные! И хотѣлъ-бы ты отдать ихъ за хорошее слово, да не скажутъ тебѣ его, а если и скажутъ, такъ чтобъ не обидѣть только, ради приличія скажутъ!.. Горько, обидно такъ пропадать!

При этомъ воплѣ, вырвавшемся съ мучительной болью,



у меня по тѣлу пробѣжала дрожь, и я съ испугомъ поглядѣлъ на облако дыма, окружавшее Анну Петровну. «Истерика, обморокъ!» мелькнули у меня опасливыя мысли,—но я ошибся: Анна Петровна сидѣла молча и курила; она, казалось, всматривалась въ свое прошедшее и забыла о нашемъ присутствіи, можетъ статья, забыла даже, что говорила вслухъ; и казалось ей, что она думаетъ, вспоминаетъ, а не говоритъ,—мнѣ невольно пришло въ голову такое соображеніе, когда я, наконецъ, могъ разсмотрѣть ея лицо: взглядъ ея встрѣтился съ моимъ такъ удивленно, какъ будто спрашивая: «а ты-то къ чему здѣсь?!» Мнѣ стало совсѣмъ неловко.

Еврейка ушла еще въ началѣ разсказа Анны Петровны; Вѣрочка молчала; лицо ея выражало скуку и нетерпѣливое ожиданіе ухода и послѣдней собесѣдницы. Анна Петровна мелькомъ взглянула на нее и тяжело поднялась со стула.

— Пора, дѣти мои, пора!—произнесла она насмѣшливымъ тономъ; блѣдныя губы искривились не то презрительной, не то больной улыбкой, и она вышла.

— Надо-бы проводить ее до комнаты, нерѣшительно сказала я Вѣрѣ.

— Ничего, пустое,—это она вѣдь только такъ!—Она можетъ и вдвое больше выпить,—и ничего!

Такое сухое отношеніе къ больному и страдающему человеку и недостатокъ сердечности больно поразили меня въ ту минуту: разстроенные-ли нервы мои были тому причиной или просто Анна Петровна сѣумѣла затронуть мои симпатіи своими страшными рѣчами, — только противна показалась мнѣ Вѣра этой своей фразой. Я холодно протянулъ ей руку, прощаясь.

— Уже!—воскликнула Вѣра съ удивленіемъ,—вы уходите? Ахъ, нѣтъ, ради Бога, оставайтесь на минуту... мнѣ нужно сказать вамъ... ну, пожалуйста, прощу васъ...

И она глядѣла умоляющимъ взглядомъ, нѣжно упрашивала меня, и я... остался...

20 января.

И опять почти годъ не брался я за эту тетрадь. О, сколько измѣнилось съ тѣхъ поръ въ моей жизни! Не важно то, что я пробылъ тогда у Вѣры лишній часъ, причемъ, въ сущности, не хотѣлъ этого, говорилъ этотъ лишній часъ о томъ, что меня не занимало вовсе, и—съ человекомъ, который не только мнѣ не нравился, но даже былъ противенъ въ ту

минуту,—а важно то, что съ этого часу у меня съ Вѣрой завязались отношенія, которые длятся уже цѣлый годъ. Обоврутсѣ-ли они когда-нибудь, Богъ знаетъ!..

Какъ это случилось, я и самъ не знаю; день за днемъ ея любовь опутала меня всего, а теперь я не могу движенія сдѣлать, чтобъ не почувствовать этой ея любви. Замѣьте, что я ничего не говорю о своей любви,—я-то не любилъ ея никогда, ни на капельку не любилъ.

Вѣра приходила ко мнѣ, робкая, застѣнчивая, совершенная Сафо Альфонса Додэ! Если я принималъ ее сухо и холодно,—она, побывъ немного, уходила, и я видѣлъ, какъ она украдкой утирала при этомъ слезы, но ни малѣйшей требовательности, упрека... Она уходила, чтобы вернуться опять. Если я былъ занятъ, и только потому не могъ съ ней разговаривать, она усаживалась гдѣ-нибудь въ углу, чтобы меня не беспокоить, и я видѣлъ ее тамъ штопающей мое бѣлье или платье. Если не было матеріала, который нужно было штопать и чинить,—она убирала комнаты, перетирала цвѣты, мелкія вещи и все это безъ шума, безъ малѣйшаго беспокойства для меня, я видѣлъ только преданность, одну преданность, снующую по моей квартирѣ и, конечно, не могъ-же оставаться вполнѣ холоднымъ; мы, мужчины, очень падки на рабью преданность.

Шагъ за шагомъ завладѣла она моей квартирой и моей жизнью. Сначала я находилъ какой-нибудь наперстокъ, забытый за цвѣточнымъ горшкомъ, перчатки, нечаянно оставленные на креслѣ; затѣмъ... затѣмъ понемногу и другія женскія вещи, оставлявшіяся уже съ моего согласія: напр., визитное платье, новая шляпка, на случай, если я захочу повести ее въ театръ, и т. д., и т. д. Такъ что, когда Вѣра окончательно переѣхала ко мнѣ, я никакой существенной разницы не замѣтилъ, что въ тотъ моментъ, помню, нѣсколько даже удивило меня. О, я увѣренъ, что все это она дѣлала съ умысломъ! Она нарочно меня опутывала незамѣтно, постепенно, какъ паукъ муху!

Она теперь ставитъ себѣ въ заслугу тогдашній свой перѣздъ въ мою квартиру: вѣдь это было сдѣлано по ея «ужасной любви» ко мнѣ. Дѣло было такъ: я былъ боленъ, захватилъ какую-то простудную болѣзнь, конечно, неопасную, но Вѣра такъ беспокоилась, такъ мучилась невозможностью ходить за мной, что я позволилъ ей поселиться у меня, — на

время, разумѣется, а кончилось тѣмъ, что она совсѣмъ завладѣла и моимъ очагомъ и... мною.

По женской непослѣдовательности, — замѣтите, прошу васъ, эту непослѣдовательность, — Вѣра въ однихъ случаяхъ кричитъ и очень даже громко кричитъ, что если-бъ не мое тогдашнее безпомощное положеніе больного, она ни за что-бы, ну ни за что не согласилась-бы промѣнять свою независимую жизнь па тревожное положеніе моей гражданской жены и хозяйки моего дома.

Значить, я виноватъ во всемъ по ея словамъ.

— Я зарабатывала тогда до 30 рублей въ мѣсяцъ, (хорошо зарабатывала!!) а жила повеселѣе, чѣмъ живу теперь, — говорила она. Ты меня погубилъ, — вѣдь я теперь не могу вернуться къ прежнему: я потеряла знакомства. Ты, ты всему виной! —

Ну, не ужасно-ли это, этотъ страшный цинизмъ понятій!...

А въ другихъ случаяхъ, она со слезами въ голосѣ увѣряетъ, что до могилы не забудетъ, чѣмъ мнѣ обязана.

— Отъ какой ужасной пропасти спасъ ты меня! — восклицаетъ она: — если-бъ не ты, что было-бы со мною? Умирать буду — помнить буду!

При этихъ ея словахъ, — я всегда чувствую краску стыда на щекахъ, потому что въ эти минуты я рѣзче всего сознаю, что никогда ея не любилъ; мнѣ стыдно, что при такой любви, какая сказывается въ этихъ ея словахъ, — я-то не люблю ее!

Да, она меня любитъ!

Ея опутываніе меня, конечно, не плодъ расчета, а любви. Но мнѣ-то нелегче. Я слабый человѣкъ, умственно лѣнивый, апатичный, вообще принадлежу къ числу тѣхъ людей, которыхъ всю жизнь кто-нибудь или что-нибудь ведетъ на веревочкѣ! Но мнѣ присущи и хорошія стороны, хотя больше всего тѣ, которыя не требуютъ личной энергіи и инициативы; боясь насмѣшекъ, я не дѣлаю многого такого, что дѣлать считаю честнымъ и хорошимъ, но инстинктивно, все-таки я бѣгу всего дурного, рѣзкаго и нечестнаго. Вѣра — совсѣмъ другой человѣкъ. Она холодна ко всему доброму, что не представляетъ несомнѣнной личной выгоды, фальшива, безсердечна, почти жестока; она груба съ низшими, постыдно лстлива съ высшими. Всѣ эти качества для меня невыносимо-противны:



я ненавижу лесть, а Вѣра льстива съ людьми богатыми, льстива произвольно, безрасчетно и бессознательно; сверхъ того, она тупа и ограничена во всемъ томъ, что не касается обыденной жизни и потому скучна для меня, — я люблю полюбоваться картиной хорошаго мастера, люблю толково послушать музыку, поговорить о наукѣ и литературѣ. Если есть что развѣщающее жизнь русскаго человѣка, такъ это живопись, музыка и поэзія; отнимите у меня это, — что-же мнѣ останется? Ни капельки во мнѣ нѣтъ страсти «дѣльца» и я не могу удовлетвориться тѣмъ коммерческимъ дѣломъ, которому служу, ради средствъ къ жизни...

А вотъ этого-то Вѣрѣ и не понять; по ея мнѣнію, если есть деньги, то есть и все, что для жизни нужно; и, пожалуй, она права отчасти, но для меня это звучитъ нелѣпо, ужасно и дико, потому что я хорошо знаю, для чего нужны Вѣрѣ деньги; если провизіи для стола достаточно, платье все куплено, то слѣдуетъ деньги отдать на процентъ, — это Вѣрѣ извѣстно, а книга, концертъ, картина покупается только потому, что я господинъ и на то моя воля! Если бы не это... Но, можетъ быть, со временемъ и будетъ дѣлаться такъ, какъ думаетъ Вѣра... Вѣдь, я могу и до этого дойти, дыша ея атмосферой. Это она называетъ — «нести все въ домъ», а «ненужныя траты» — «изъ дому». — «Ненужныхъ тратъ» — по ея словамъ, я дѣлаю черезчуръ много, и когда придетъ «черный день» — мнѣ будетъ плохо; мнѣ-же думается, что для меня настала уже «черный день».....

Ну-съ, какъ человѣка, я Вѣру цѣню низко. Но въ былые дни, начало нашихъ отношеній, — я находилъ въ ней несомнѣнное достоинство женщины, которое оцѣнивалъ, какъ мужчина, — это — разнообразіе проявленій ея любви. То капризная и прихотливая, то кроткая и нѣжная, то изысканно циничная, — Вѣра часто наводила на мысль, что выше всего въ ней — умѣнье любить и любить мужчину, а не человѣка. Вотъ это-то ужасно! ужасно!

Только идеалисты хотятъ любить и любятъ умъ, душевные качества и красоту.

Но, признавая за Вѣрой это ея достоинство, — я былъ настолько безцеремоненъ, или, вѣрнѣе, постепенно дошелъ до такой безцеремонности, что указывалъ ей причины того въ ея прошлой жизни. Вѣра никогда на это не обижалась; наединѣ со мной она была такъ безпритязательна, что я могъ гово-

рить съ ней о чемъ угодно, удовлетворять свое любопытство относительно прошлаго Вѣры настолько, насколько мнѣ хотѣлось..... Это служило для нея только средствомъ разнообразить наслажденіе любовью, и я... я самъ себя презиралъ послѣ.... я потерялъ, наконецъ, возможность отличать ласкательное отъ унижительнаго. Но Вѣрѣ было безразлично; самыя циническія выходки она принимала съ добродушнымъ смѣхомъ.

Но снисходительная ко мнѣ до отвратительной чрезмѣрности наединѣ, Вѣра не такова въ обществѣ или, какъ она выражается, на людяхъ. Тамъ она принимаетъ на себя искусственно-граціозный видъ, говоритъ изысканными выраженіями, неукоснительно слѣдуетъ правиламъ приличія и того же требуетъ отъ меня. Неизвѣстно, откуда у нея взялись понятія о свѣтскихъ приличіяхъ, но я знаю то, что общаго между понятіями о приличіяхъ Вѣры, и приличіями свѣта — только ложь и фальшь; больше никакого сходства я не вижу, но, тѣмъ не менѣе, подчиняюсь требованіямъ Вѣры, ибо за малѣйшее отступленіе отъ нихъ, я долженъ бояться слезъ и истерики, — это на людяхъ-то! Сопоставленія этихъ отвратительныхъ сценъ и болѣзненной чувствительности при гостяхъ, и затѣмъ другихъ сценъ приниженности и рабства вдвоемъ — я не могу выносить и, поэтому, не довожу до нихъ.

Но изъ этого произошли неожиданныя послѣдствія, довольно удивительныя для меня: я, самъ не замѣчая того, сталъ называться мужемъ Вѣры, и произошло это самымъ естественнымъ, приличнымъ образомъ. Сначала въ мое отсутствіе, она, говоря обо мнѣ, употребляла выраженіе «мой мужъ», — затѣмъ, это дѣлалось и при мнѣ, а я молчалъ, хотя, оставаясь съ Вѣрой наединѣ, жестоко выговаривалъ ей за это. Она-же, разливаясь въ слезахъ, говорила, что она «не можетъ, не можетъ иначе, что иначе она «компрометируется». Это она-то компрометируется!!

Но я и самъ содѣйствовалъ тому, что насъ считали мужемъ и женою; при появленіи новаго лица у меня въ гостяхъ, — я неизмѣнно представлялъ его Вѣрѣ, — это правило свѣтскаго кодекса она точно помнила. Я говорилъ:

— Вѣра, вотъ мой знакомый NN! —

Что-же оставалось думать этому N, какъ не то, что Вѣра, дѣйствительно, моя жена? А когда, затѣмъ, завязывался, такъ

называемый, свѣтскій разговоръ, и Вѣра, ведя его съ NN, показывала себя такою, какова она въ дѣйствительности, то есть, — глупой тупицей, необразованной и безтактной, — я внутренно мучился и проклиналъ ее. По исчезновеніи NN сцены, между нами начинается сцена. Я, внѣ себя отъ злости, доказываю ей, что она меня компрометируетъ, что я долженъ за нее краснѣть и т. п. Вѣра плачетъ и жалуется на судьбу, на своихъ родителей, на меня, восклицая:

— Вѣдь душа-то у меня человѣчья, — кабы родители позаботились обо мнѣ, развѣ не выучилась-бы! Не собачья душа у меня, и если-бъ не бѣдность проклятая, ты думаешь — не сѣмѣла-бы я сдѣлаться такою-же ученою, какъ вы всѣ. А отъ ошибокъ-то моихъ мнѣ больнѣе, больнѣе, чѣмъ тебѣ...

И при этомъ она колотить себя въ грудь такъ сильно, что мнѣ приходится ее унимать.

Или она возражаетъ мнѣ слѣдующее:

— Эти образованные люди умѣютъ только чужой вѣкъ заѣдать, а научить бѣднаго человѣка имъ, несчастнымъ «паршивцамъ», и некогда и лѣнь! — Какое слово: паршивецъ! И этотъ «несчастный паршивецъ», — это я, разумѣется! Но, право, я ничему не могъ ее выучить: читать и писать она умѣла, но дальше? Ни она, ни я — мы не могли найти того, чему-бы слѣдовало учить ее дальше.

Нѣтъ, нѣтъ! Никакими занятіями по книжкѣ нельзя было вложить въ Вѣру міровоззрѣнія, частности котораго и мнѣ, и ей самой хотѣлось въ ней видѣть. Она хотѣла имѣть видъ образованной особы, а я, я тоже дорожилъ-бы наружнымъ видомъ, а не внутреннимъ содержаніемъ. Да вѣдь не настолькоъ же я глупъ, чтобъ не понять, что внутреннее содержаніе культурнаго человѣка не помѣстится въ узкую душу Вѣры!

27 февраля.

Понятія о добрѣ, чести, красотѣ могутъ-ли быть ей доступны? Она вотъ не признаетъ, что кухарка Оекла такой-же человѣкъ, какъ она, Вѣра, — не признаетъ потому, что Оекла не каждый день умывается, а чистыхъ рукавичковъ и вовсе не носитъ, — а Вѣра, напротивъ, умывается по десяти разъ на день и рукавички носитъ! Какъ можетъ Вѣра понять, что вопросъ ея чести не въ томъ, что она «заработывала» тридцать рублей въ мѣсяцъ своимъ ужаснымъ «трудомъ»,



(«Θекла вонъ только четыре получаетъ!»), а чтобъ трудъ былъ честенъ, полезенъ, не заставлялъ краснѣть? А если этого она не понимаетъ, то къ чему послужить ей, если она запомнить, что Рафаэль написалъ Мадонну и эта Мадонна — чудная картина, — и что Моцартъ, и что Бетховенъ были великими музыкантами? Конечно, ни къ чему! Да и «глупости эти» нужны только для разговоровъ съ «паршивцами». Дайте такимъ людямъ, какъ моя Вѣра, чудную картину, и если они не растопятъ ею печку, то только въ томъ случаѣ, если вы скажете, что за нее заплачены тысячи столь обожаемыхъ ими рублей. Художника-же, всю жизнь посвятившаго созданію великаго произведенія искусства, — они назовутъ просто шалопаемъ и дармоѣдомъ. О, какъ я её ненавижу!

Я говорю это не затѣмъ, чтобъ оправдаться въ безсиліи сдѣлать Вѣру лучше — я и понялъ-то ненужность моихъ трудовъ надъ ея душой только послѣ длиннаго ряда попытокъ.

Если-бъ я не былъ преисполненъ самомнѣнія, если-бъ я менѣе вѣрилъ въ развитіе по книжкамъ, — я увидѣлъ-бы бесплодность своихъ трудовъ и раньше; я могъ-бы догадаться объ узкости и ограниченности Вѣриной души, — пу хоть по отношеніямъ ея къ подругамъ, — родителей ея я такъ-таки никогда и не видалъ. Помню, какъ я встрѣтилъ на улицѣ Анну Петровну, блѣдную и иззябшую въ ея поношенномъ пальто, и, думая доставить удовольствіе Вѣрѣ, — привелъ ее къ намъ.

Вѣра приняла ее съ такимъ нестерпимымъ чванствомъ, такъ кичилась передъ нею, что мнѣ стало стыдно. Когда Анна Петровна ушла, Вѣра громко закричала на меня:

— Я не хочу поддерживать знакомства съ пьяницами!

Грушеньку, — а эта удивительная дѣвушка сдержала таки свое слово и никогда не видала меня больше, — Вѣра просто ненавидитъ и презираетъ; нѣтъ такихъ обидныхъ названій, которыми-бы она не осыпала ее въ моемъ присутствіи, несмотря на то, что платилась за это жестоко, — я не могъ равнодушно слышать, какъ она бранила Грушеньку, — и даже... чего со мной прежде никогда не бывало, и я не повѣрилъ-бы, что это можетъ быть, — я ее разъ ударилъ! О, какъ я палъ!

И вотъ эта женщина, которую я и не люблю, и не уважаю, держитъ меня въ крѣпкихъ, увы, очень крѣпкихъ цѣпяхъ.....

30 марта.

Боже, до чего я дошелъ! Сегодня я... нѣтъ, мнѣ писать тяжело...

Я обратился даже къ полицейской власти, чтобъ избавиться отъ этой женщины и ея цѣпей!...

Вотъ какъ это было.

Я встрѣтилъ случайно какъ-то моего гимназическаго товарища, котораго потерялъ изъ виду очень скоро по окончаніи курса; можетъ быть, вслѣдствіе этого я и сохранилъ объ немъ самыя лучшія воспоминанія; встрѣча наша была самая радостная, и я звалъ его къ себѣ отобѣдать; пришелъ онъ ко мнѣ дня черезъ два послѣ встрѣчи, но уже не одинъ, а еще съ двумя однокашниками, и мы провели-бы премилый товарищескій вечеръ, если-бъ не «моя» Вѣра. Старые товарищи, всѣ безпардонные холостяки, не ожидали встрѣтить меня женатымъ и пріѣхали ко мнѣ съ извѣстнаго сорта «барынями». Правда, всѣ смутились, увидя Вѣру и сочтя ее вначалѣ дѣйствительно за мою жену, — хотѣли уже уходить. Но я удержалъ ихъ, увѣряя, что Вѣра «человѣкъ простой и бывалый», и все обойдется. Но мой «простой и бывалый человѣкъ» оказался совсѣмъ не простъ: Вѣра приняла на себя такой нестерпимо-чванный видъ, держала себя такъ нелѣпо, что я сгоралъ отъ негодованія!

Гости и особенно гостыи, догадавшись, что она за птица, перестали обращать на нее вниманіе и старались показать, что чувствуютъ себя отлично; но я все время мучился, конфузился и злился на Вѣрино комильфо, которое въ сущности было только наглостью по отношенію ко мнѣ, знавшему, что она не лучше тѣхъ барынь, которыхъ поражаетъ молніеносными взглядами. А главное: я читалъ въ глазахъ моихъ товарищей себѣ приговоръ — они, конечно, думали: «кто-бы ни была она, но ты жалокъ своимъ потеряннымъ видомъ и раздраженными манерами.»

Нашъ товарищескій обѣдъ былъ безнадежно испорченъ: духъ веселости и радушія, который скрашиваетъ эти бесѣды, былъ изгнанъ, а комильфотности взять было не откуда, — товарищи поэтому и разошлись.

Когда мы остались одни, я съ крайней запальчивостью набросился на Вѣру; я кричалъ, что она не имѣетъ никакого права напускать на себя видъ порядочной женщины, а тѣмъ менѣе думать, что у нея есть права моей жены.

Вѣра не уступала мнѣ въ грубости, — тогда я ударилъ ее, — это было во второй разъ между нами, — она кинулась отъ меня съ крикомъ:

— Спасите, спасите, — онъ убьетъ!!

Внѣ себя отъ гнѣва, я однимъ взмахомъ руки растворилъ окно на улицу и закричалъ дикимъ голосомъ, не помня себя:

— Городовой, городовой!

Первое движеніе было безотчетно: — я хотѣлъ эту негодную женщину, — «мою жену» — немедленно отправить въ клоповникъ — такъ звали мы камеры при полиціи; я въ шутку и не разъ грозилъ Вѣрѣ за скандалы отправить ее туда.

Но на этотъ разъ я безъ шутокъ обращался къ полицейской власти, чтобы при ея помощи внести порядокъ въ мой домъ; вѣроятно, мысль избавиться такимъ путемъ отъ этой милой «жены» смутно мелькнула въ моемъ разгоряченномъ мозгу, когда я вызывалъ къ городовому.

Я видѣлъ его фигуру, протѣснявшуюся между пѣшеходами къ моему подъѣзду; время отъ времени онъ приподнималъ голову, чтобы взглянуть на мое окно второго этажа, откуда я высовывался наружу.

Вечерняя свѣжесть охватила мою пылавшую голову и успокоила расходившіеся нервы; я чувствовалъ, какъ во мнѣ стихаетъ тотъ звѣрь, пробужденія котораго я всегда стыдился, — звѣрь, который меня равнялъ съ Вѣрой, — а Вѣра, — я ужъ зналъ, что она дѣлаетъ: она навѣрное лежитъ на полу и истерически рыдаетъ, повторяя:

— Убей, убей меня, но не мучь!

Всегда это длилось до тѣхъ поръ, пока звѣрь во мнѣ затихалъ и культурный человѣкъ возвращался къ Вѣрѣ и успокоивалъ ее.

Но теперь я не двигался, — только окликъ городского, наконецъ-то нашедшаго дверь моей квартиры, заставилъ меня оглянуться.

— Что случилось, ваше благородіе?

— Да вотъ, братецъ, женщина безобразничаетъ, уберика ты ее...

Я ужъ и руку въ карманъ сунулъ.

— Да гдѣ-жъ она, ваше благородіе?



Вѣры на полу не было. Мы тщетно искали ее по всѣмъ закоулкамъ, даже въ платяные шкафы заглядывали.

— Знать сама ушла, ваше благородіе, — ухмыляясь говорилъ городской.

И онъ ушелъ.

Черезъ полчаса, Вѣра у ногъ моихъ клялась никогда не быть такой.

— Это у меня душевная болѣзнь, — говорила она, плача.

И я опять и опять простилъ ей. Подлое великодушіе! Правда, я и себя виню: трудно рѣшить, кто изъ насъ былъ хуже во время этихъ сценъ, — я хорошо видѣлъ, что начинаю стоять Вѣры! Да, я втянулся въ эту безобразную жизнь и привыкъ къ ней такъ, что измѣнить въ ней что-либо стало для меня труднымъ. Въ спокойныя минуты моего существованія, — я хладнокровно разбиралъ нашу жизнь и соглашался съ мнѣніемъ Вѣры, что и прочіе образованные люди живутъ не лучше нашего; Вѣра уже считала себя принадлежащею «по мужу» къ числу образованныхъ людей.

И дѣйствительно, чего мнѣ недоставало?

Квартира моя выглядѣла чисто и уютно, бѣлье всегда тщательно вычищено, платье вычищено; едва я, возвращаясь со службы, дотрогивался до блестящаго звонка моей квартиры, какъ уже сама Вѣра отворяла мнѣ дверь, радостно вскрикивая:

— Я по шагамъ узнала, что это ты!

А въ залѣ меня ждалъ прекрасно сервированный столъ: блестящіе ножи и вилки, сверкающій хрусталь на бѣлоснѣжной скатерти; обѣдъ нерѣдко состоялъ изъ четырехъ блюдъ, къ чаю всегда подавалось вкусное домашнее печенье, и всѣмъ этимъ я пользовался съ отрадною мыслию, что оно стоитъ дешевле трактирнаго, а между тѣмъ здоровѣе.

«Жена моя» всегда была чисто и свѣжо одѣта, съ подвитыми на лбу волосиками и бѣлоснѣжнымъ воротничкомъ у шеи; ея костюмомъ и его свѣжестью я всегда любовался болѣе, чѣмъ наружностью моей Вѣры, — она не была хорошенькою въ томъ смыслѣ, какъ я это понималъ: свѣтлые и холодные глаза были мнѣ противны, а приподнятая верхняя губа, хоть и давала Вѣрѣ сходство съ княгиней Болконской, но ужасно напоминала крысу.

Зато у нея была прекрасная фигура, немножко изъ кор-

сетнаго магазина, но вѣдь нынче и всѣ женскія фигуры такого-же происхожденія.

И такъ, когда я былъ спокоенъ и не ссорился съ Вѣрой,—я находилъ жизнь нашу очень сносною.

Но дѣло въ томъ, что спокоенъ-то я былъ очень рѣдко; слишкомъ много было обстоятельствъ, которыя заставляли меня терять это олимпійское спокойствіе.

Я уже говорилъ, что Вѣра была зла: отъ ея характера страдала прислуга, которая у меня вслѣдствіе того не уживалась,—страдалъ также непосредственно и я,—вѣдь очень часто «звѣрь»,—такъ я называлъ мои буйныя наклонности,—спалъ во мнѣ, несмотря на вздорныя придирки Вѣры, а во время этого сна, Вѣра не ставила меня ни въ грошъ. «Звѣрь» только внушалъ ей страхъ, а я борьбу съ звѣремъ считалъ своимъ нравственнымъ долгомъ...

Мои страданія увеличивались еще оттого, что Вѣра безумно ревновала меня, и я долженъ былъ прощать Вѣрѣ эти мои страданія, потому что ея ревность вытекала изъ ея безмѣрной любви ко мнѣ... Не говорилъ-ли я, что любовь эта оковала меня такъ, что я пошевелинуться не могу, чтобъ этой любви не почувствовать, но почувствовать какъ нѣчто тягостное, позорящее и втоптывающее меня въ грязь.

И когда я изнемогалъ отъ этихъ страданій, стыдясь за мои гнѣвные вспышки, убѣгая отъ пошлыхъ упрековъ, отъ грязныхъ подозрѣній Вѣры,—Вѣра въ истерическихъ рыданьяхъ кричала:

— Это душевная болѣзнь моя... не заставляй меня ревновать, не мучь меня этимъ ужаснымъ чувствомъ, а то я умру отъ чахотки, въ которую ты меня вгоняешь,—ты будешь причиной моей смерти.

Но Вѣра до сихъ поръ не умираетъ отъ «душевной болѣзни»,—а я, я долженъ быть счастливъ тѣмъ, что меня такъ любить!

20 сентября.

Кромѣ злости и ревности Вѣры, есть нѣчто другое, отравлявшее мнѣ жизнь и нарушавшее ея тишину.

Это «нѣчто» было посерьезнѣе остального.

Это «нѣчто»,—были мои собственные мысли.

Есть люди, которые не имѣютъ надобности въ полной семейной жизни. Если нѣтъ ея вовсе, или она не совсѣмъ удачно сложилась,—они мало о томъ горюютъ, отдаваясь

общественной дѣятельности или, за ея отсутствіемъ, любимому труду. А мой трудъ... да, онъ мнѣ полезенъ, то-есть я работаю себѣ жизнь, но насколько онъ полезенъ другимъ, я боюсь объ этомъ думать.

У меня нѣтъ и друзей! Я раззнакомился съ тѣми многими людьми, которыхъ считалъ и считаю до сихъ поръ подходящими къ складу моего характера и образа мыслей; я долженъ былъ съ ними раззнакомиться, потому что бывать у нихъ одинъ я почти не могъ,—Вѣра всюду слѣдовала за мною, кромѣ службы; ревность и тутъ дѣлала свое дѣло,—покоряла меня желаніямъ Вѣры, подозрѣвавшей меня въ измѣнѣ рѣшительно въ каждую отлучку мою изъ дому.

Бывать-же у этихъ людей въ сопровожденіи Вѣры я рѣшительно не могъ, если не хотѣлъ разбудить въ себѣ звѣря. Я стыдился за нее, стыдился ея мнѣній, а она хотѣла ихъ имѣть и не хотѣла молчать, находясь у людей «нашего круга»; она считала себя «нашею»!

Чѣмъ рѣже видѣлся я съ тѣми, кого называлъ моими друзьями, тѣмъ меньше становилось простоты и задушевности въ нашихъ отношеніяхъ; я какъ будто терялъ соприкосновеніе съ этой пружиной, которая выталкивала изъ меня мысли, находившія въ нихъ сочувствіе, мысли, переполнявшія мой внутренній міръ и нуждавшіяся въ свободномъ развитіи сочувствующими имъ людьми; отнынѣ онѣ должны, безплодные и больные, замирать во мнѣ, оставляя по себѣ лишь неудовлетворенность и праздную муку...

Вначалѣ я винилъ въ этомъ друзей.

«Они измѣнились,—думалъ я и укоризненно качалъ головой.—Какъ жизнь портитъ людей»...

Но постепенно я приходилъ къ убѣжденію, что причиной охлажденія между мной и друзьями былъ я самъ...

Они таковы-же между собою, какими были и прежде, даже больше: старѣясь, они какъ будто нѣжнѣе становились между собою, и дружба ихъ дѣлалась трогательнѣе; они какъ будто чувствовали, что жизнь, въ своемъ вѣчномъ движеніи впередъ, уходитъ отъ нихъ, оставляя ихъ позади; старые бойцы, видя себя отставшими вмѣстѣ, угадывали одинъ въ другомъ утомленіе и безплодные сожалѣнія объ ушедшей жизни и любили и дорожили товарищами больше, чѣмъ прежде,—когда еще не теряли надеждъ на будущее. Въ этомъ



волненіи непрерывно движущейся жизни они держались другъ за друга и за былыя воспоминанія.

Они и на меня хотѣли смотрѣть такъ-же; едва я появлялся между ними — слышались дружескіе возгласы, мои руки чувствовали радостныя пожатія, — но едва начиналась бесѣда, какъ я становился молчаливъ, не находя что сказать или не находя интереса въ томъ, что они говорили.... Если я начиналъ говорить, мои слова звучали дикимъ диссонансомъ; я, какъ старый пѣвецъ, потерявшій голосъ, — напрасно пытался взять ту ноту, которая прежде вызывала громъ рукоплесканій.

Да, я сталъ имъ чуждъ, и что всего страшнѣе, — чуждъ я сталъ внутренно, потому что мой внутренній міръ засорился мыслями, отъ которыхъ прежде я отворачивался съ отвращеніемъ, а теперь этого сору во мнѣ много, такъ много... Люди называютъ этотъ соръ практичностью, или житейскою мудростью....

Ну, — вотъ эти-то мысли, страшныя мысли о томъ, какъ я опустился нравственно, какую огромную утрату понесъ я, закрывши для себя самъ, своею собственною волею свѣтлый міръ идеала, надеждъ на доброе и прекрасное, — эти то безнадежныя мысли и отравляютъ мое существованіе больше, чѣмъ злость Вѣры...

Разсказать опредѣлительнѣе мученія, которыя я переживаю, у меня не хватитъ словъ.....

30 августа.

Я временно въ Петербургѣ, я здѣсь одинъ, Вѣра со мной не поѣхала, — потому что я здѣсь на короткій срокъ, по дѣламъ конторы.

Выйдя сегодня изъ одного присутственнаго мѣста, гдѣ мнѣ на легальномъ основаніи отказали въ выдачѣ справки, нужной по моему дѣлу, — я шелъ по Невскому, страшно ругаясь и негодуя. Либеральный секретарь продержалъ меня лишній часъ лишь затѣмъ, чтобъ вѣжливо убѣдить, что законъ уполномочиваетъ его до срока скрывать втайнѣ то, что съ наступленіемъ срока станетъ мнѣ извѣстно; а я, выйдя отъ него, страшно злился не на то, что пріѣхалъ въ Петербургъ по пустому, а на то, что на его легальную любезность не счумѣлъ отвѣтить нелегальной остротой. Ругаясь и негодуя,

я вошелъ въ первую попавшуюся гостинницу развлечься ѣдой, больше ничего не оставалось дѣлать.

«Лишь-бы и здѣсь не подали какого-нибудь либеральнаго кушанья», — острить я про себя, поднимаясь по лѣстницѣ.

Однако, котлета, которую мнѣ подали, смотрѣла очень вкусно, и я было принялся за нее съ большимъ аппетитомъ, какъ вдругъ мое вниманіе было привлечено очень знакомыми звуками. Это былъ маршъ изъ Аиды.

Сначала я не понялъ, почему грустная музыка этого марша вызываетъ во мнѣ какое-то необычное, странное ощущеніе! Эти звуки насильно врываются въ мою память и оживляютъ въ ней давно-минувшее; я вижу предъ моими глазами сцену моего перваго знакомства съ моей «женой», моей Вѣрой. Но я съ неудовольствіемъ тороплюсь проскользнуть по этому воспоминанію и останавливаюсь на фигурѣ мнѣ чужой, фигурѣ господина, сидѣвшаго тогда за столомъ и пившаго вино во время нашихъ розсказней о любви. Я вижу его — съ его лысиной и золотымъ перстнемъ на пальцѣ и.... со мной происходитъ нѣчто необыкновенное.

Когда машина замолкла, я подзываю лакея, и точно повинуюсь чьему-то приказанію, произношу:

— Дайте, пожалуйста, бутылку портвейна и пустите..... еще разъ маршъ изъ Аиды.

Въ сущности нѣтъ ничего страннаго въ томъ, что я это приказываю, но я чувствую себя поступающимъ непривычнымъ для меня образомъ, даже пытаюсь улыбнуться надъ собой.... но вотъ раздаются знакомые звуки, — и воспоминанія увлекаютъ меня, выплывая изъ моей памяти съ ужасающей точностью и полнотой.....

Вотъ и Грушенька, милая, милая Грушенька! Ее-то я, навѣрное, любилъ, душу ея любилъ, а не.... Я любилъ ее за прямоту и отсутствіе змѣйнаго лукавства, хоть и понималъ это только тогда, когда безвозвратно потерялъ ее. Вотъ въ чемъ и была ея гордость, и чего не умѣла она объяснить мнѣ, когда я, грубый человѣкъ, лѣзъ въ ея душу. Грушенька была — человѣкъ, а не змѣя, обвивающаяся вокругъ мужчины, чтобы его задавить...

Но отчего мнѣ приходитъ въ голову такое сравненіе?.. Отчего?.. Музыка смолкла...

— Ахъ, пожалуйста, — маршъ изъ Аиды! —

Нѣтъ, она не была змѣею, а вотъ эта, — та, кото-

рая зоветъ себя теперь моей женою, которая меня любить «до смерти»... Эта задавила меня. Я не могу сдѣлать движенія, чтобъ не почувствовать, какъ я опутанъ, чтобъ не увидѣть мою мысль прикованною къ мыслямъ «этой» жены!

Что насъ свело, что насъ связало? Ахъ, какъ это трудно разсмотрѣть и понять! Я одно только знаю, одно больно чувствую: что я никогда ее не любилъ, никогда не видѣлъ въ ней товарища, друга. Наши отношенія никогда не звали я любовью; я привыкъ слышать, что она меня любитъ, но никогда не вдумывался въ то, что такое любовь Вѣры....

«Она мнѣ чуть не всѣмъ обязана, какъ-же ей не любить меня», — попытался я отклонить мелькнувшій, какъ страшный призракъ, вопросъ а вопросъ этотъ состоялъ вотъ въ чемъ: «да была-ли хоть чья-нибудь любовь въ нашихъ съ нею отношеніяхъ? Любила-ли она-то меня?»

— Ахъ, пожалуйста, маршъ изъ Аиды!

«Собака, думалъ я, — все таки и та можетъ привязаться къ человѣку. Бывали примѣры, собаки умирали на могилѣ господина. Собаки умирали въ разлукѣ.... Ну, а Вѣра черезчуръ практична для этого! И я вспомнилъ случай, — насмѣшливая память подсунула его мнѣ, — какъ-то, за оскорбленіе нахала, сказавшаго мнѣ на улицѣ дерзость, на которую я отвѣтилъ ударами зонтика, меня посадили на мѣсяцъ подъ арестъ.

Вѣра была покойна въ своей ревности; въ томъ мѣстѣ, гдѣ я былъ, я не могъ измѣнить ей, — и она даже пополнила за этотъ мѣсяцъ!

Я улыбнулся, вспомнивъ это. Нѣтъ, это — привязанность даже не собаки!

Но имѣю-ли я право упрекнуть ее за то, что даже и она не внесла въ наши отношенія любви, а лишь Іудины, предательскіе поцѣлуи? Имѣю-ли?

«Дай ты самъ ей любовь, а ты просишь ее впередъ, какъ процентщикъ — заклада!..»

Я опять ушелъ мыслью въ далекое минувшее и увидѣлъ дѣвушку, которую любилъ моей первою любовью. О, пусть она мнѣ измѣнила! Пусть, но и тогда и теперь я чувствую, что эта любовь была человѣческая, настоящая любовь равныхъ между собою, — тамъ не было благодѣяній, не было ни собачьей, ни рабьей привязанности.... Что до того, что эта любовь миновала? Уже одно то, что она была, что я лю-



биль и меня любили, одно это внесло гармонію въ мою жизнь, и память о такой любви скрашиваетъ жизнь.....

О, конечно, если-бъ эта любовь уцѣлѣла, не былъ-ли-бы я счастливъ!

— Ахъ, пожалуйста, маршъ изъ «Аиды»!

Нѣтъ, нѣтъ, не Вѣра испортила мою жизнь, а то преступное легкомысліе, съ какимъ я сдѣлалъ ее моей женой!

Отсутствіе любви и взаимнаго пониманія, презрѣніе съ одной стороны и змѣиное лукавство съ другой — вотъ, что создало жизнь, для меня невыносимую, жизнь, полную сора и пошлости. Жизнь эта скрючила меня, какъ разбитаго паралитика, а мнѣ нѣтъ и сорока лѣтъ!

Вѣдь я хорошо знаю, что цѣпи, насъ связывающія, сильное оружіе въ рукахъ Вѣры, этой глупой женщины, въ которой отсутствіе гордости и женскаго достоинства — составляютъ ту силу, противъ которой я нуль.

О глупцы, глупцы, воображающіе, что нѣтъ лишней бѣды отъ легкой связи, какъ мы это называемъ, — связи съ женщиной безъ сердца, безъ достоинства....

Взглянули-бы эти глупцы на меня, на мою жизнь!..

Я почувствовалъ слезы на моихъ глазахъ, судороги стиснули горло. О, не доставало еще этого такому тряпичному человѣку! Я взглянулъ вокругъ, взглянулъ въ зеркало, висѣвшее въ простѣнкѣ, — и увидѣлъ въ немъ немножко-осунувшееся, но все-же прилично-спокойное лицо. Слава Богу, слава Богу! Отдаю лакею деньги и иду къ выходу, пошатываясь, но это ничего, — я, кажется, выпилъ много вина, и моя невѣрная походка не можетъ вызвать ничьего недоумѣнія.

Ж. В. (Псевдонимъ).

## СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА И ЕГО ЛОГИКА.

Г. Тарда.

IV.

(Продолженіе).

И такъ, въ предыдущей главѣ мы нашли, что «красота есть предчувствіе будущей истины или будущей полезности, безконечной, полной и цѣльной и, кромѣ того, истины и полезности коллективной, если идетъ дѣло о красотѣ искусства».

Однако, нѣкоторые замѣчали и довольно проницательно, что красота, отыскиваемая въ искусствѣ, была прошедшей красотой; къ этому можно бы прибавить: прошедшей истиной, прошлымъ вѣрованіемъ. Можно-ли это опредѣленіе принести совершенно въ жертву предыдущему нашему опредѣленію? Нѣтъ, такъ какъ и то и другое опредѣленіе дополняютъ себя взаимно. Красота есть фантомъ (призракъ, мечта) полезнаго, и въ то-же время она есть предвареніе появленія этой полезности: она есть альфа и омега. Но искусство не только имѣетъ соціальную цѣль, но оно и цѣли своей достигаетъ только соціальными средствами, употребляя приемы, которые налагаются посредствомъ подражанія на фантазію даже самаго свободнаго художника, заставляя его употреблять типы или роды, освященные традиціей, являющіеся чадами традиціи или моды, — это подражаніе является въ двухъ формахъ <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> Живопись на орнаментахъ Египта, говоритъ Перро, подтверждаетъ взглядъ Семпера на происхождение украшеній (décor). «Этотъ писатель показалъ первый, что корзищикъ, ткачъ и горшечникъ, ра-

Красота стрѣльчатого свода, или свода съ ребрами для того, кто первый понялъ или призналъ это гениальное разрѣшеніе задачи, столь долгое время стоявшей передъ религіознымъ архитекторомъ, эта красота состояла въ предвидѣніи перспективы цѣлаго ряда вѣковъ, когда такіе своды должны будутъ употребляться.

Но позднѣе наступилъ моментъ, когда, даже безъ всякой пользы, напимѣръ, при постройкѣ крѣпкихъ замковъ, этотъ сводъ считали красивымъ по привычкѣ, благодаря традиціонному сужденію вкуса, наклонности котораго пережили тѣ соображенія, на которыхъ онъ былъ основанъ, и которыя забылись <sup>1)</sup>.

Однако, это сужденіе вовсе не измѣняло тогда своей природы и, какъ и вначалѣ, выражало или предполагало всегда довѣріе, — правда, обманчивое, — къ настоящей или будущей полезности этихъ архитектурныхъ расположеній. Когда публика замѣтила или думала, что замѣтила свою ошибку, ея рѣшеніе пало само собою, и красота стрѣльчатого свода замерла до тѣхъ поръ, пока снова ей не начали вѣрить или утверждать ее, послѣ чего она оживала опять и поражала всѣ взоры. Но въ каждую данную минуту въ обществѣ неизбѣжно должно существовать обширное число такихъ сужденій, готовыхъ сдѣлаться понятіями, а затѣмъ эстетическими чувствованіями, часто ошибочными предразсудками, съ которыми артистъ—творецъ всегда долженъ считаться; и это потому, что, если онъ сдѣлаетъ попытку напасть безъ обиняковъ на эти вѣрованія, рискуя разбиться о нихъ,—или

---

ботая надъ первыми предметами, на которыхъ они упражняли свою промышленность, производили одной лишь простой игрой техническихъ приѣмовъ, сочетанія линій и красокъ, тѣ рисунки, которые орнаментщикъ бралъ своимъ образцомъ съ тѣхъ поръ, какъ сталъ украшать стѣны, карнизы и плафоны зданій...» Точно также колонны были подражаніемъ столбамъ изъ дерева, а каменная кладка—бревенчатымъ постройкамъ; точно также новый артистъ по необходимости подражалъ примѣру своихъ предшественниковъ, въ силу потребности въ аналогіи, въ сущности совершенно логической.

<sup>1)</sup> Никогда, кажется, деспотизмъ сужденій окружающаго мнѣнія не дѣйствуетъ такъ повелительно на личность, какъ въ образованіи эстетическихъ сужденій, а, слѣдовательно, и удовольствій эстетическихъ. Всѣ наши восторги въ этомъ отношеніи внушены намъ безъ нашего вѣдома, какъ и всѣ наши отвращенія въ области морали. Авторъ.



даже, если онъ не озаботится согласить ихъ съ новыми сужденіями вкуса, которые онъ намѣренъ заставить признавать, не озаботится взять эти старыя вѣрованія элементами новой красоты, которую онъ несетъ міру,—то онъ окажется манкирующимъ своей соціальной миссіей, состоящей въ обогащеніи, а не въ уменьшеніи, въ усиленіи, а не въ ослабленіи связующихъ звеньевъ общественной вѣры, въ чемъ и лежитъ общая цѣль логики какъ соціальной, такъ и эстетической, и признакъ родства ихъ. Повторяю вновь, я хочу этимъ сказать, что традиціонные типы и роды суть необходимый,—логически необходимый,—языкъ искусства, это суть слова, отъ которыхъ оно не можетъ отказаться; и, какъ извѣстно, мысль даже самая новая должна только выиграть, употребляя, насколько это возможно, самыя старыя слова языка, звучація и ясныя среди всѣхъ <sup>1)</sup>). Оригинальность артиста не имѣетъ ни права, ни возможности выступить на свѣтъ иначе какъ черезъ посредство этихъ переходныхъ типовъ путемъ долгаго ряда подражаній, совершенно также, какъ индивидуальность живаго существа можетъ явиться только подъ оболочкой своего естественнаго типа, этого наслѣдства отъ долгаго ряда поколѣній. Не менѣе справедливо и то, что она усваиваетъ себѣ эти самыя ряды и дѣлаетъ ихъ своей опорой. Мнѣ кажется, можно сказать въ біологіи, что индивидуальная разновидность вида есть всегда новый видъ въ проэктѣ; въ самомъ дѣлѣ, достаточно усиленія органической тенденціи, выраженіемъ которой является эта разновидность, чтобы, благодаря законамъ соотношенія роста и единства развитія различныхъ органовъ, дѣло дошло до необходимости передѣлки для новаго равновѣсія,—будетъ-ли оно живуче или нѣтъ, дѣло не въ томъ. Это еще вопросъ; но по крайней мѣрѣ, извѣстно, что, подобно этому, всѣ артисты, чesкія варіаціи на старую тѣму имѣютъ новую тѣму въ проэктѣ и въ наброскѣ, часто уже формулированную въ умѣ автора съ гораздо большей полнотой, чѣмъ онъ позволилъ себѣ выразить. Таковъ былъ первый стрѣльчатый сводъ, послужившій для варьированія римскаго храма, или первый діа-

<sup>1)</sup> См. нѣсколько иное фізіолого - психологическое объясненіе этого факта въ моей работѣ: «Физиологическія объясненія нѣкоторыхъ элементовъ чувства красоты». С.-Пб. 1878 г. Л. О.

логъ двухъ лицъ, выступившій скромно въ хорѣ Вакха, до Эсхила, или первая риема, прибавленная въ качества фіоритуръ къ латинскому стиху... Неужели авторы этихъ повидимому легкихъ видоизмѣненій (модификацій) не предвидѣли вовсе того развитія которое содержалось тутъ въ зародышѣ? Во всякомъ случаѣ, они его намѣчали, даже если сами этого не видѣли. И въ мельчайшихъ нововведеннiяхъ, которыя позволяютъ себѣ даже самыя слабыя поэты, музыканты или живописцы въ своихъ произведенiяхъ, мы, изслѣдуя хорошенько, признаемъ болѣе или менѣе новый родъ, болѣе или менѣе новую школу, — хотя другое дѣло, — достойную-ли успѣха или нѣтъ. Даже нѣтъ актера, который, повторяя безъ всякаго измѣненiя словъ какую-либо роль, долгое время игравшуюся и повторявшуюся другими, не вкладывалъ-бы въ нея особаго очарованiя и души, которыя даютъ идею о совершенно иной роли, измѣненной и углубленной сообразно тому намѣренiю, которое онъ вложилъ въ нее. Если-бы я не боялся утомить вниманiе читателя смѣлыми гипотезами, я сравнилъ-бы этого актера играющаго вѣрно свою роль, съ живымъ нормальнымъ, обыкновеннымъ индивидуумомъ, монадой, которая представляетъ свой родъ съ наибольшей правильностью, но не уничтожаетъ, однако, своей собственной и неотъемлемой сущности. Это — волшебство искусства, а также и самой жизни, — на что глубоко указалъ Гюйо, доказывая, что жизнь и искусство — тождественны, — волшебство, состоящее въ способности показать передъ нами въ яркомъ освѣщенiи основу вещей, а во всемирномъ повторенiи явленiй — заставить сверкать передъ нашими глазами всемирное разнообразiе элементовъ.

Прибавимъ, что нравственная красота, какъ и красота артистическая, соотвѣтствуютъ другъ другу. Прекрасное дѣйствiе есть то, которое согласуясь съ нравами эпохи, т. е., совершаясь въ предѣлахъ того типа чести, который пользуется общественнымъ почтенiемъ, даетъ въ то-же время идею иного и лучшаго типа; лучшаго потому, что представляетъ примѣръ, слѣдуя которому социальное тѣло получило-бы большую гарантiю и коллективную силу, или, по крайней мѣрѣ, болѣе полное согласованiе между національнымъ поведенiемъ и національной мыслью. — Первый варваръ, который вмѣсто челоуѣческаго жертвоприношенiя, чтобы почтить боговъ, устроилъ приношенiе животныхъ, внесъ лишь видоизмѣненiе въ господ-

ствующій обычай; но въ этомъ онъ далъ уже предвѣреніе (антиципацию) и смутное желаніе морали еще гораздо болѣе чистой, запрещающей всѣ кровавыя жертвоприношенія. Жертвы некровавыя, это — месса, явившаяся началомъ безмѣрнаго прогресса.

Точно также, читая еврейскихъ пророковъ, чувствуешь что ихъ моральныя вдохновенія уже христіанскія, т. е. идутъ гораздо дальше ихъ-же моральныхъ предписаній, еще имѣющихъ характеръ Моисеева закона.

## У.

Но вернемся назадъ. Эта, совершенно логическая, какъ мы знаемъ, необходимость, въ силу которой артистъ согласуется съ привычками публики даже для того, чтобы реформировать ихъ, позволяетъ намъ бросить взглядъ на ту глубокую пропасть, считаемую часто непреодолимой,—которая, повидимому, раздѣляетъ двѣ великихъ области искусства. Съ одной стороны, мы имѣемъ искусства подражательныя (подъ этимъ понимается подражаніе природѣ), т. е. скульптуру, живопись, поэзію, а, съ другой стороны, музыку и архитектуру, которыя гордятся тѣмъ, что онѣ не подражательны. Истина, однако, состоитъ въ томъ, что, если два послѣднихъ искусства не подражаютъ предметамъ природы, и ограничиваются выраженіемъ или удовлетвореніемъ естественныхъ чувствъ и желаній,—что—не одно и то-же,—то даже и они принуждены подражать, воспроизводить мотивы, родъ, архитектурныя или музыкальныя формы, къ которымъ привычна ихъ публика, совершенно такъ-же, какъ живопись, ваяніе и поэзія вынуждены подражать, воспроизводить не предметы естественные, въ точномъ смыслѣ, а условныя типы (центавровъ, химеръ, ангеловъ, крылатыхъ быковъ, сфинксовъ, головы, окруженныя сіяніемъ, и т. п.); среди-же естественныхъ существъ или явленій, они должны подражать тому, что замѣчаетъ и любить публика, тому, что воспитаніе, обычай и мода указываютъ художнику для выбора: въ Египтѣ, это—левъ или тигръ, въ Ассиріи—лотусъ, акантовый листъ въ Греціи; въ одномъ мѣстѣ слонъ предпочитается больше лошади, въ другомъ голубь больше, чѣмъ орелъ, или жукъ больше, чѣмъ пчела. Вообразите себѣ поэта, который чер-



пасть свои образы или сюжеты своихъ поэмъ,—или живописца, который ищетъ модель и идеалъ своихъ картинъ въ фаунѣ и флорѣ неизвѣстныхъ его публикѣ, въ движеніяхъ сердца, чуждыхъ его слушателямъ, въ философскихъ или религіозныхъ вѣрованіяхъ, съ которыми никогда не согласится его публика! Типы, которые употребляютъ живописецъ, скульпторъ и литераторъ, суть, слѣдовательно, типы соціальныя, или дѣлающіеся соціальными, потому что безъ соціального дѣйствія подражанія въ публикѣ, они не были-бы, по крайней мѣрѣ, артистическими типами; и они не отличаются въ этомъ нисколько отъ типовъ, которые употребляетъ архитекторъ или музыкантъ. Единственная разница въ томъ, что то подражаніе, изъ котораго возникло первое творчество, имѣло, чаще всего, источникъ въ открытіи, напр., какого-нибудь перваго ученаго или перваго путешественника, замѣтившаго и заставившаго замѣтить какое-либо растеніе, животное, какое-нибудь явленіе; тогда какъ подражаніе, изъ котораго возникли приемы архитектора или музыканта, имѣютъ источникъ въ изобрѣтеніи какого-нибудь перваго архитектора, который придумалъ фронтонъ, дорическую колонну или сводъ,—перваго музыканта, который изобрѣлъ церковное пѣніе или правила гармоніи.

Но объясненію этого различія, я думаю, служить еще и особенность виѣшней природы, которая состоитъ въ томъ, что будучи очень богата сочетаніями цвѣтовъ и неправильныхъ линій,—причемъ сочетанія этого рода, какъ установившіяся, повторяемыя, способны сдѣлаться замѣтными и интересными, образовать зрительныя привычки человѣка или народа,—рядомъ съ этимъ природа чрезвычайно бѣдна, наоборотъ, сочетаніями геометрическихъ линій и звуковъ, хотя-бы даже малозамѣчательныхъ и непрочныхъ. Слѣдовательно, чтобы удовлетворить болѣе полно эстетическимъ потребностямъ зрѣнія и слуха, нужно было изобрѣтать эти правильныя формы, тогда какъ относительно первыхъ сочетаній почти всегда было достаточно только открыть ихъ или наблюдать—Въ самомъ дѣлѣ, природа раскрываетъ намъ не только всѣ, о какихъ только мы можемъ мечтать, оттѣнки и всѣ изгибы формъ, не поддающіеся геометрической формулировкѣ, но и почти всѣ вообразимыя сочетанія и усложненія этихъ элементовъ, въ безконечномъ видоизмѣненіи живыхъ существъ, животныхъ или растений, въ расположеніи почвы или въ

игръ тѣней и свѣта. Эти естественные типы,—замѣчаемые подъ тѣмъ угломъ зрѣнія и въ томъ направленіи, какое даютъ нашему взгляду и уму воспитаніе, привычки окружающей человѣческой среды,—становятся какъ-бы навязанными глазу, въ силу-ли ихъ интереса или ихъ постоянства; они, наконецъ, наполняютъ зрительную память и не даютъ воображенію, — если оно старается отъ нихъ отвлечься, — никакого иного выхода, кромѣ преувеличенія или чудовищныхъ сочетаній этихъ естественныхъ существъ.

Нужно-ли добавлять, до какой степени мало природа даетъ намъ элементовъ, уже комбинированныхъ ею, для звуковъ, въ точномъ смыслѣ слова (не шумовъ), т. е. которые есть на самомъ дѣлѣ—правильные ряды равныхъ вибрацій, а также для настоящихъ прямыхъ линий или геометрически-опредѣленныхъ кривыхъ? Тамъ и сямъ нѣсколько чистыхъ нотъ, но никогда ни мелодій, ни гармоній, хотя-бы и наивныхъ (*peu savants*); нѣсколько линий, приближающихся къ прямымъ (горизонтъ моря), нѣсколько круговъ почти правильныхъ (радуга), но ничего, чтобы походило на симметрическое и правильное сочетаніе, гармоническое и однообразно повторяемое, прямолинейныхъ и кругообразныхъ элементовъ. Понять, извлечь изъ глубины своей души эти благородные аккорды, реализовать ихъ въ портикахъ и колоннадахъ, въ пѣсенкахъ и симфоніяхъ, было трудолюбивой обязанностью архитекторовъ и музыкантовъ. Кромѣ того, если-бы лѣсныя птицы, напимѣръ, наполняли нашъ слухъ съ колыбели модуляціями и оркестровками, подобными по глубинѣ, богатству, гению,—божественно варіирующимся фигурамъ живыхъ существъ, то будьте увѣрены, сама музыка по необходимости была-бы подражательнымъ искусствомъ, и самъ Вагнеръ упизился-бы до копированія естественныхъ моделей, какъ Рафаэль или Тиціанъ. Наоборотъ, вообразите, на какой-нибудь планетѣ, лишенной предварительно растений и животныхъ, какого-нибудь артиста Адама, какого-нибудь Рубенса, который стремится удовлетворить своему призванію; не будетъ-ли онъ вынужденъ выдумывать всевозможные сорта арабесокъ и тратить свою творческую способность на мотивы украшеній, дѣлающихся тотчасъ-же также спеціальными созданіями, любимыми, повторяемыми бесконечно и имъ самимъ, и его учениками? Но таковъ теперь музыкантъ. Брошенный въ міръ бесплодный и неблагодарный для него,—также точно, какъ

и архитекторъ, — онъ надолго долженъ сдѣлать самого себя первой матеріей своего искусства.

Совокупность предшествующихъ соображеній объясняетъ фактъ, кажущійся страннымъ съ перваго взгляда, но который легко наблюдать. Почтеніе къ традиціямъ школы и къ формамъ, узаконеннымъ въ прошедшемъ искусствѣ, гораздо сильнѣе въ искусствахъ, считаемыхъ свободными, т. е., въ музыкѣ и архитектурѣ, чѣмъ въ искусствахъ, называемыхъ подражательными, именно потому, что эти послѣднія подчинены другого сорта рабству, — хотя въ сущности подобному, — а именно почтенію къ естественнымъ формамъ. И что касается въ отдѣльности этихъ послѣднихъ, нужно замѣтить также, что образуется нѣкоторый родъ колебанія между культомъ традиціонныхъ моделей и культомъ моделей физическихъ (естественныхъ?). Чѣмъ болѣе, напримѣръ, въ наше время живопись присуждается къ точному копированію дѣйствительности (это, по крайней мѣрѣ, указываетъ ей мода и текущая наука), тѣмъ больше она индивидуализируется и въ тоже время освобождается до извѣстной степени, отъ классическихъ правилъ и схемъ. Наоборотъ, чѣмъ больше она начинаетъ держаться традицій, тѣмъ меньше она заботится о согласованіи съ природой. Выборъ между двумя этими направленіями можетъ быть обусловленъ многими вліяніями. Такъ, въ нашу эпоху, развитіе наукъ о природѣ и все болѣе развивающійся и расширяющійся вкусъ къ нимъ въ публикѣ, вслѣдствіе все болѣе общей привычки или моды, — направлять вниманіе на природу, наблюдать вещи и естественныя существа лучше и въ гораздо большемъ числѣ, особенно такихъ, которыхъ до сихъ поръ не замѣчали, — вотъ что значительно должно было благопріятствовать реалистической, натуралистической тенденціи искусства и литературы и послужило къ прикрытію и оправданію относительнаго истощенія въ немъ вдохновенія. Что-же касается искусствъ, по самой сущности своей традиціонныхъ, особенно архитектуры, замѣчается фактъ, который я могу считать аналогичнымъ, а именно, въ эпохи эклектизма и изученія, архитекторъ имѣлъ подъ рукой столько типовъ искусства, (накопленное наслѣдственное имущество отъ своихъ предшественниковъ), что онъ уже не трудился даже и комбинировать, а просто довольствовался тѣмъ, что дѣлалъ выборъ по своему произволу. Здѣсь, соотвѣтственно натурализму, рабская точ-



ность временнымъ подробностямъ монументовъ Возрожденія, готической архитектурѣ, помпейской и др., гдѣ кичатся изученіемъ, копирующимъ ради копированія, и придаютъ себѣ также псевдо-научный видъ. Но этотъ фазисъ только временной, и въ этомъ отношеніи намъ можетъ служить указаніемъ прошедшее. Напр., въ диксіонерѣ Viollet-le-Duc'a можно видѣть карту, представляющую географическое расхожденіе по радіусамъ восьми различныхъ типовъ колоколенъ, распространенныхъ во Франціи съ XII по XVI столѣтіе <sup>1)</sup>; совершенно также, такъ говорятъ объ органическихъ видахъ, родственныхъ хотя и различныхъ, распространяющихся отъ центра ихъ возникновенія. Но, долгое время, каждый изъ этихъ типовъ имѣлъ свой внутренній матеріалъ (содержаніе), свободно обрабатывавшееся тѣми архитекторами, которые его употребляли, въ то время, какъ скульпторы XII и XIII в., съ своей стороны, украшали ради своей любви, одушевляли своей душой формы человеческого тѣла и животныхъ или растенія окружающей страны. Позднѣ явилась мода подражать,—какъ этимъ типамъ, такъ и этимъ формамъ до такой степени, что желали быть болѣе естественными, чѣмъ сама природа, болѣе средневѣковыми, чѣмъ сами средніе вѣка; и съ одной стороны дошли до кривляющихся изваяній самага безобразнаго реализма, что-то въ родѣ вывороченнаго идеализма, а съ другой—къ черезъ-чуръ тяжелымъ соборамъ, со всѣми чертами, свойственными готическому стилю, но въ излишнемъ размѣрѣ и скученнымъ на весьма маломъ пространствѣ <sup>2)</sup>).

---

<sup>1)</sup> Замѣтимъ мимоходомъ, что колоколеня, назначенная сначала, главнымъ образомъ, для защиты входа въ церковь отъ нормановъ и др. нападающихъ, служило только побочно для поддержанія и подвѣшиванія колоколовъ. Затѣмъ, постепенно это побочное назначеніе стало главнымъ.

<sup>2)</sup> Эволюція письма, вышедшаго изъ рисунка, совершенно обратна артистической эволюціи, приведшей въ наши дни къ реализму. Можно-бы сказать о письмѣ, какъ и объ архитектурѣ, что оно не есть искусство подражательное. Но точнѣе сказать, что оно не болѣе подражательное. Оно начало съ того, что было точнымъ изображеніемъ, затѣмъ сокращеннымъ и все болѣе и болѣе удалявшимся отъ природы, отъ предметовъ и дѣйствій, выражаемыхъ имъ. Но, по мѣрѣ того, какъ оно стало иероглифическимъ, оно освобождалось отъ подражанія предметамъ и дѣйствіямъ, и болѣе рабски отдавалось подражанію сокращен-

## VI.

Въ концѣ концовъ, по своимъ-ли приѣмамъ, или по своей цѣли, искусство есть предметъ, по существу своему, социальный, въ высшей степени способный къ верховному соглашенію желаній и управленію душами. Но насъ не можетъ удовлетворить столь случайный выводъ, а вопросъ такъ сложенъ, что мы просимъ позволенія разобрать его еще разъ, чтобы ближе изслѣдовать его и придти къ болѣе точнымъ идеямъ. По правдѣ сказать, все то, что сказано ранѣе, есть не болѣе, какъ простое вступленіе въ то, что будетъ далѣе.

Попробуемъ сперва лучше опредѣлить различіе между промышленностью и искусствомъ. Здѣсь, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, непрерывность переходовъ не мѣшаетъ ясности различій (замѣчаніе, которое, кажется, ускользало отъ большинства эволюціонистовъ, и забвеніе котораго отвращало отъ ихъ ученія не малое число точныхъ умовъ). Непрерывность оттѣнковъ (переходныхъ цвѣтовъ) не только не мѣшаетъ обособленности основныхъ цвѣтовъ, но и предполагаетъ ихъ. Точно также, хотя инженеръ всегда болѣе или менѣе и архитекторъ, а архитекторъ — болѣе или менѣе инженеръ, и хотя самая архитектура всегда есть искусство болѣе или менѣе промышленное, тѣмъ не менѣе справедливо, что у архитектора, также какъ у инженера, качество артиста и качество промышленника глубоко различаются. Но начнемъ съ различенія между желаніями потребленія и желаніями производства, безразлично — въ области-ли искусства или промышленности.

Разсмотримъ сперва желанія потребленія. Ни въ одномъ самомъ утонченномъ обществѣ нѣтъ какого-либо желанія публичности, которое не имѣло-бы отчасти своего источника въ естественныхъ <sup>1)</sup> побужденіяхъ, и нѣтъ ни одного желанія, тѣмъ болѣе, которое объяснялось-бы только естественными побуж-

---

нымъ и условнымъ чертамъ. Наконецъ, оно созрѣло для преобразованія въ фонетическое (звуковое) письмо.

<sup>1)</sup> Необходимо помнитъ, что Тардъ употребляетъ здѣсь слово естественныя или природныя побужденія въ отличіе отъ общественныхъ или социальныхъ, вызванныхъ, напр., примѣромъ другихъ, подражаніемъ и т. п.

Ред.

деніями. Съ этой точки зрѣнія, между промышленностью и искусствомъ есть только различіе въ степени,—правда, очень важное. Потребность чисто естественная, т. е., образуемая единственно инстинктомъ, унаслѣдованнымъ отъ предковъ, безъ всякаго вліянія соціального примѣра, такая, напр., потребность, какъ ѣсть,—все равно, какую пищу,—или пить,—все равно что, т. е. въ предѣлахъ, указываемыхъ инстинктивными побужденіями,—можетъ быть достаточна для того, чтобы пробудить изобрѣтательность первобытнаго дикаря, охотника или рыболова, производящихъ все то, что они потребляютъ, и потребляющихъ все, что производятъ. Но, пока человѣкъ трудится только для самого себя, пока природныя потребности, неопредѣлившіяся сами по себѣ, опредѣляются безразлично, смотря по внѣшнимъ условіямъ, до тѣхъ поръ промышленность еще не нарождается и не можетъ еще родиться. Она предполагаетъ обмѣнъ, а, слѣдовательно, болѣе или менѣе общее распространеніе нѣкоторыхъ общепризнанныхъ формъ, которыя обычай заставляетъ избирать по преимуществу среди другихъ, въ которыя могутъ облечься естественныя потребности. Значить, промышленность совершенно невозможна, если подражаніе, порожденное какими-либо открытіями или изобрѣтеніями, не привело къ нѣкоторому единообразію естественныя потребности, такъ что, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ потребность пищи сдѣлалась потребностью ѣсть хлѣбъ или свинину, въ другомъ — рисъ, оленя или кита. А большая промышленность можетъ начаться лишь съ того момента, когда это единообразіе, благодаря модѣ, прорывающей мѣстныя границы традиціи, относительно одежды, предметовъ роскоши и даже предметовъ питанія, распространится на обширную область. То-же и въ искусствѣ, предполагающемъ всегда публику и артиста: публику, желающую видѣть или слышать пластическія, музыкальныя или литературныя произведенія, созданныя по требованію ея временнаго вкуса, который сформировало и распространило подражательное почитаніе древнихъ мастеровъ; и съ другой стороны, артиста, болѣе проникнутаго этимъ общимъ вкусомъ, чѣмъ онъ самъ подозреваетъ,—и старающагося согласоваться съ нимъ до извѣстной степени, даже при явной наклонности его реформировать. Не только великое искусство требуетъ этихъ условій; но искусство самое индивидуальное



не умѣть отъ него освободиться. Импрессионистъ <sup>1)</sup>, претендующій на то, что онъ освободился отъ всякаго вліянія школы, не сдѣлался-бы импрессионистомъ, если-бы этотъ импрессионизмъ не былъ модой.

Все различіе съ этой точки зрѣнія между искусствомъ и промышленностью состоитъ въ томъ, что желанія потребленія, которымъ отвѣчаетъ произведеніе искусства, гораздо искусственнѣе, чѣмъ другія, и происходятъ отъ гораздо болѣе продолжительной соціальной выработки. Эта разница въ степени, причину которой мы найдемъ тотчасъ въ различіи природы,—также очевидна, какъ и важна. Страстное желаніе слушать оперу Вагнера или читать стихи парнасцевъ <sup>1)</sup>, очевидно, гораздо менѣе естественно, гораздо болѣе выработано, чѣмъ манія—курить сигаретты или носить черныя шляпы. Инстинктивный источникъ здѣсь—потребность покрывать голову или получать возбужденіе, а его частное направленіе, зависящее отъ открытія табака или отъ изобрѣтенія какихъ-либо бумажныхъ фабрикантовъ или шапочниковъ, является вторичнымъ; въ искусствѣ-же, вѣковое скопленіе художественныхъ образцовъ (шедевровъ) есть—все, а источникъ—явленіе второстепенное. Другими словами, здѣсь матерія, а тамъ форма, вотъ—главное дѣло. Но именно потому, что потребности потребленія или, лучше сказать, художественнаго созерцанія, являются еще больше, чѣмъ желанія промышленнаго потребленія, — чадами изобрѣтательнаго или открывающаго воображенія, они не могутъ быть удовлетворены вполне тѣмъ изобрѣтеніемъ, которое они-же возбудили. Желанія, которымъ служить промышленность, хотя и получаютъ форму (*façonés*) отъ каприза изобрѣтателя, бьютъ произвольнымъ ключомъ изъ самой природы и каждый день повторяютъ одно и то-же, какъ тѣ періодическія потребности, которыя они выражаютъ; но вкусы, которые стремится удовлетворить искусство, связаны длинной цѣпью прежнихъ гениальныхъ идей въ неопредѣленный инстинктъ, но не періодическій, который повторятся только въ видоизмѣненной формѣ. Воображеніе, которое ихъ породило, только одно и можетъ ихъ удовлетворить; и, обладая такими свойствами, они отчасти остаются

<sup>1)</sup> Новая школа живописи.

<sup>2)</sup> Школа поэтовъ въ теперешней Франціи.

Ред.

Ред.

ся неопредѣленными до тѣхъ поръ, пока не будутъ удовлетворены. Войдя въ картинную галерею, желаютъ увидѣть живопись, а не какую-либо опредѣленную картину, по крайней мѣрѣ, въ томъ случаѣ, когда пришли не для того, чтобы отыскать въ какой-либо уже видѣнной картинѣ какую-нибудь новую красоту, какъ слушаютъ съ этой-же цѣлью въ десятый разъ одну и ту-же музыкальную піесу. Наоборотъ, входя въ магазинъ, почти всегда точно знаютъ тотъ предметъ, который нуженъ, и когда покупаютъ въ десятый разъ тѣ-же сигары, напитки и т. п., то это дѣлается вовсе не затѣмъ, чтобы отыскать въ нихъ новые сорта полезности, а для того, чтобы получить отъ нихъ совершенно тѣ-же самыя услуги (найти въ нихъ тождественныя качества). Если, въ исключительномъ случаѣ, входятъ въ большой магазинъ, не зная ясно—чего хотятъ, и съ намѣреніемъ опредѣлить это при взглядѣ на выставленные товары,—въ такомъ случаѣ видъ какого-нибудь товара только пробуждаетъ то желаніе, уже образовавшееся ранѣе, которое ему соотвѣтствуетъ, —или также,—когда какая-нибудь матерія, покрой платья привлекаютъ насъ самой своей новизной, которой мы не представляли себѣ, пока не замѣтили ихъ, то кажется, не безъ основанія, что въ этомъ капризѣ есть что-то художественное. Такимъ образомъ, желаніе промышленнаго потребленія предшествуетъ своему предмету, а, опредѣляясь совершенно посредствомъ нѣкоторыхъ изобрѣтеній прошедшаго, оно требуетъ отъ своего предмета только повторнаго ихъ осуществленія; желаніе-же художественнаго потребленія (удовлетворенія) ожидаетъ отъ самаго предмета своей окончательной выработки и требуетъ въ новыхъ изобрѣтеніяхъ, которыя долженъ дать ему этотъ предметъ, видоизмѣненія старыхъ. Естественно въ самомъ дѣлѣ, что желаніе изобрѣтенное, какъ и его предметъ, имѣетъ предметомъ также самую потребность изобрѣтать, такъ какъ привычка къ изобрѣтенію можетъ только порождать и увеличивать вкусъ къ нему. Значитъ, не надо удивляться, что жажда новизны (инноваций) въ искусствѣ очень слабая, какъ мы видѣли, въ началѣ исторіи, укрѣплялась и распространялась безпрестанно, по мѣрѣ накопленія художественныхъ шедевровъ и новшескихъ идей гениевъ. Мы еще вернемся къ этому особому характеру чувствованій искусства, чтобы указать на его результаты; но предварительно покажемъ его причины и его фیزیологическое объясненіе.

Желанія потребленія въ производствѣ стремятся всегда то къ поглощенію, или покрытію тѣлесныхъ потерь, — извѣстныхъ пищевыхъ или возбуждающихъ веществъ, форма которыхъ въ остальномъ безразлична, но которыя назначены для усвоенія, или для поддержанія, путемъ усвоенія, элементовъ формы самаго потребителя; то для поглощенія, — или для покрытія тѣлесныхъ потерь, — извѣстныхъ силъ, теплоты, свѣта, электричества, которыя производятся или поддерживаются, посредствомъ устройства стѣнъ и кровли, печей или одежды; то, наконецъ, къ употребленію извѣстныхъ внѣшнихъ силъ, естественныхъ или искусственныхъ, паденія воды, лошади, вола, вѣтра, пара, въ виду производства передвиженій или опредѣленныхъ работъ, которыя, если-бы онѣ были исполнены при помощи однихъ органовъ индивида, стоили-бы ему большой затраты силы или веществъ тѣла, а слѣдовательно, все это сохраняетъ ихъ ему. Что касается желанія быть вооруженнымъ, которое, повидимому, не вошло въ предыдущія, я замѣчу, что оружіе, поскольку оно служитъ защитѣ, есть просто специальное одѣяніе, способное поддерживать въ неприкосновенности, безъ потери части или цѣлаго, суммы тѣлесной энергіи; насколько-же оно служитъ средствомъ нападенія, оно косвенно добывается тѣхъ-же цѣлей, посредствомъ смерти врага, или путемъ заставленія врага служить себѣ при обращеніи его въ рабство, или платить себѣ дань, т. е. трудиться для избѣжанія усталости въ побѣдителей; а усталость, есть потеря вещества или силъ. Но все то, что въ войнѣ имѣетъ въ виду величіе или рыцарство, можно сказать, совершается изъ любви къ искусству. Въ суммѣ, всѣ полезности или продукты, и всѣ услуги промышленности могутъ разсматриваться, какъ члены или отправленія дополнительные или факкультативныя, которыхъ недостаетъ человѣческому тѣлу, но которые человѣческій разумъ добавилъ ему или приставилъ возможно лучше, и которыя всѣ соотвѣтствуютъ общей потребности питанія, развитой и увеличенной самимъ даже результатомъ этого внѣшняго распространенія, расширенія организма.

Желанія-же художественнаго потребленія — совсѣмъ другія. Здѣсь ужъ важно не то, чтобы чувствовать себя выросшимъ или ставшимъ болѣе сильнымъ, или, по меньшей мѣрѣ, не ослабѣвшимъ и не убывшимъ тѣлесно; здѣсь дѣло идетъ о томъ, чтобы видѣть себя отраженнымъ внѣ себя, въ улуч-



шенномъ или усиленномъ видѣ, благодаря цвѣтамъ и формамъ, звукамъ или ритмамъ, которые одни важны въ созерцаемомъ произведеніи, или въ употребленномъ веществѣ, а израсходованныя физическія силы являются аксессуаромъ. Важно то, чтобы видѣть себя воспроизведеннымъ ideally, не буквально, но съ свободными и многочисленными видоизмѣненіями, способными оживить, разнообразить удовольствіе обладанія самимъ собою въ этомъ воображаемомъ отраженіи; важно видѣть себя воспроизводимымъ всякими способами, то скульптурой въ формѣ человѣческой, то въ радостномъ или привычномъ зрѣлищѣ человѣческой жизни исторической или жанровой живописью, то въ изображеніи судьбы человѣка реальной или возможной, въ литературѣ и поэзіи, то въ богатствѣ и глубинѣ человѣческихъ чувствованій, въ музыкѣ. Даже рисуя крестьянъ или животныхъ, художники, стараются вызвать воспоминанія и эмоціи своей публики, поставить вновь передъ ея взорами нѣчто, что было въ ней самой, и надѣются ей понравиться только благодаря этому воспроизведенію. Даже когда воздвигаютъ храмы и дворцы, художники отражаютъ человѣка не только симметрией архитектурныхъ формъ, очевидно внушенныхъ симметрией тѣлъ живыхъ и одушевленныхъ, часть которыхъ составляетъ человѣкъ, но еще и, въ особенности, тѣмъ простымъ характеромъ, логическимъ, отвлеченнымъ этихъ чистыхъ линій, въ которыхъ отражается то, что всего болѣе есть человѣческаго въ человѣкѣ, т. е. разумъ.

Такимъ образомъ, любоваться самимъ собою, но самимъ собою умноженнымъ, многоформеннымъ, идеализированнымъ и преображеннымъ, удивляться самому себѣ и любить себя—таково удовольствіе, даваемое искусствомъ, то въ художникѣ, то въ публикѣ. Произведеніе искусства не есть искусственный органъ, прибавленный къ человѣку; оно есть, извините за выраженіе, искусственная, воображаемая возлюбленная. Она не отвѣчаетъ потребности, она отвѣчаетъ любви. Искусство связано, такимъ образомъ, съ инстинктомъ воспроизведенія себѣ подобныхъ,—хотя вовсе не въ томъ смыслѣ, какъ многіе думаютъ; тогда какъ промышленность имѣетъ свои корни въ физиологическихъ отправленияхъ питанія. Это вовсе не значитъ, что искусство вдохновляется только любовью, несмотря на ихъ глубокое сродство, чувствуемое все лучше

и лучше, — но въ смыслѣ социальномъ оно играетъ ту-же роль, какъ и любовь.

Но, хотя питаніе, ростъ могутъ разсматриваться какъ внутреннее воспроизведеніе, а воспроизведеніе — какъ внѣшнее разростаніе индивидуума, несмотря на общее происхожденіе этихъ двухъ дѣятельностей, не менѣе справедливо, что, въ развитомъ видѣ, они противоположны другъ другу. Одна — есть самый эгоизмъ въ дѣйствіи, и не слѣдуетъ удивляться, видя что его социальное расширеніе, промышленность, навязываетъ цивилизаціи, въ которой она даетъ тонъ, характеръ въ высшей степени утилитарный. Другая — есть первый зародышъ симпатіи, расширеніемъ которой является искусство, а затѣмъ мораль. Во-вторыхъ, поскольку потребности питанія постоянны, правильны, періодичны, и реформируются сами собою непроизвольно, не имѣя нужды въ томъ, чтобы для вызыванія ихъ сталъ передъ глазами предметъ, способный удовлетворить имъ, — постольку-же потребность воспроизведенія неправильна и зависитъ отъ встрѣчъ, которыя ее возбуждаютъ. Эти неопредѣленные, измѣнчивыя желанія, порождаемыя открытіемъ своихъ особенныхъ объектовъ, называются любовью. Теперь и объясняется, почему искусство жаждетъ обновленія или безпрестанныхъ видоизмѣненій. Въ насъ ничто такъ не устойчиво, какъ потребности, въ собственномъ смыслѣ, и ничто такъ не растяжимо, наоборотъ, какъ способность любить: женщина, встрѣтившаяся намъ, достаточна для того, чтобы пробудить жажду сердца, къ какой, какъ мы думали, оно уже совсѣмъ потеряло способность, отъ которой исцѣлилось. Ну, вотъ, и особенность искусства состоитъ въ томъ, чтобы возбуждать въ насъ чувства, играющія въ жизни и логикѣ социальной совершенно ту-же роль, какую любовь играетъ въ жизни личности. Чувствованіе искусства (художественное чувство) есть коллективная любовь, и она радуется, становясь таковой. Когда человѣкъ влюбленъ въ женщину, любимую другими, онъ страдаетъ отъ такого раздѣла; но каждый зритель, восхищающійся картиной, всякій слушатель, аплодирующій поэмѣ, счастливъ тѣмъ, что видитъ свое восхищеніе раздѣленнымъ. Искусство есть социальная радость, какъ любовь есть радость индивидуальная.

Другая черта желанія художественнаго потребленія состоитъ въ томъ, что оно испытывается, чувствуется самимъ

производителемъ. Художникъ ищетъ удовлетворенія своему собственному вкусу, а не только вкусу своей публики. Въ то-же время, какъ онъ есть идеальный отецъ своего созданія, онъ есть мистическій супругъ или влюбленный этого созданія, какъ зритель и слушатель, который сливается съ этимъ созданіемъ посредствомъ чего-то въ родѣ духовнаго брака, при посредствѣ зрѣнія и слуха, а не посредствомъ рукъ и прикосновеній. Никогда и ничего подобнаго нѣтъ въ промышленности, гдѣ портной не шьетъ платье, чтобы самому носить его, а башмачникъ дѣлаетъ ботинки не затѣмъ, чтобы надѣвать ихъ на свою ногу. А это замѣчаніе приводитъ насъ къ необходимости заняться теперь нѣсколькими желаніями производства, какъ художественнаго, такъ и промышленнаго.

*(Оконч. въ слѣд. книжкѣ).*

## П О П Р А В К А.

Въ мартовской книжкѣ, вѣроятно, вслѣдствіе случайнаго пропуска въ наборѣ нѣсколькихъ словъ, были неправильно скорректированы пять послѣднихъ строкъ статьи Тарда: «Сущность искусства и его логика». Просимъ читателей замѣнить ихъ слѣдующими:

«Красота есть успокоивающая и укрѣпляющая истина. Говоря точнѣе, — она есть предчувствіе будущей истины или полезности, безконечной, полной и цѣльной, и, притомъ, истины или полезности коллективной, если дѣло идетъ о красотѣ искусства».

---



# ГАНКА.

(Pod prawem).

Повѣсть Маріи Конопницкой.

(Перевелъ съ польскаго съ разрѣшенія автора Ю. О. Як - скій).

## I.

Тюремный сторожъ выпустивъ ея изъ калинки на улицу,— снова захлопнулъ дверь и ключъ щелкнулъ въ замкѣ.

Она оглянулась на-право и на-лѣво и надвинула на лицо грубый шерстяной платокъ, прикрывавшій ея голову и плечи.

Улица была почти пуста. Только воробьи громко чирикали подъ карнизами тюремнаго зданія, издали доносился стукъ ломовыхъ телѣгъ, нагруженныхъ каменнымъ углемъ, да собака часового, прогуливавшаяся взадъ и впередъ у сторожевой будки, валялась въ пыли и громко позѣвывала, щелкая всей челюстью.

При звукѣ скрипнувшей калитки, солдатъ повернулся, взглянулъ на дѣвушку своими тусклыми глазами и снова принялся бродить взадъ и впередъ, напѣвая что-то себѣ подъ носъ и сплевывая черезъ зубы.

Старая еврейка, сидѣвшая противъ тюрьмы за прилавкомъ, на которомъ только и было, что миска съ кислыми огурцами, да мѣрка тыквенныхъ сѣмячекъ, считала свою дневную выручку, аккуратно вынимая изъ висѣвшаго у пояса кожанаго кошелька ржавые пятаки и раскладывая ихъ на грязномъ фартукѣ, причемъ глаза ея учащенно моргали, лишенными рѣсницъ вѣками.

Было жарко. Августовское солнце сильно припекало, предвѣщая проливной дождь. Дѣвушка медленно сошла по ступенькамъ, поворотила на-право и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ

вдоль желтыхъ стѣнъ тюремнаго зданія, остановилась, прислонившись къ стѣнѣ.

Ноги ея дрожали; воздухъ совсѣмъ одурманилъ ее. Послѣ тифа съ ней часто случались припадки сильнаго головокруженія, отъ которыхъ у нея звенѣло въ ушахъ, какъ отъ оглушительнаго удара, а въ глазахъ ходили черные круги.

Такъ простояла она съ минуту; какъ вдругъ съ шумомъ открылась форточка въ тюремной канцеляріи, и въ ней показалось цвѣтущее лицо смотрителя, съ большой окладистой бородой.

— Ганка! Ганка! Блажава!—прокричалъ онъ звучнымъ голосомъ.

Дѣвушка повернула голову, и отъ этого движенія платокъ свалился съ головы, обнаживъ ея жиденькіе темные волосы и тощее исхудалое лицо.

— Подойди-ка сюда поближе!—подозвалъ ее смотритель.

Она нагнулась, подняла съ земли только что оставленный у стѣны узелъ и молча подошла къ окну.

— Отправись сегодня въ дорогу и къ ночи ты должна ужъ быть въ селѣ Сенкоцинахъ, а то даже и въ Тарчинѣ, а завтра къ полудню быть тебѣ въ Груйпцѣ. Ночи теперь лунныя, можешь идти и ночью.

— Пойду, милость ваша,—отвѣтила дѣвушка.

— Да смотри ты мнѣ, не загулай гдѣ-нибудь въ пути, Боже тебя упаси! Прямо отправляйся въ магистратъ и пропишись въ «побытъ» <sup>1)</sup>. Отправляю тебя «на побытъ» въ Груецъ; тамъ вашего брата, «побытовыхъ», много, — ну и тебѣ тамъ будетъ веселѣй.

— Спасибо, вельможный панъ!

— Вотъ тебѣ и бумага въ магистратъ, смотри не затеряй, ее. Отдашь ее господину бургомистру или господину секретарю, все равно. Тамъ-же получишь росписку, такъ какъ бумаги твои туда уже отправлены. Не посылаю тебя вмѣстѣ съ партіей, такъ какъ ты вела себя какъ слѣдуетъ, и нога тамъ, что-ли, у тебя болитъ?.. Что, болитъ еще?

— Не особенно, милость ваша,—возразила дѣвушка.

Правда, нога у Ганки еще болѣла такъ, точно огнемъ ее

<sup>1)</sup> Мѣсто административной ссылки для преступниковъ, отсидѣвшихъ срокъ наказанія.

жгло, но она не знала, — слѣдуетъ-ли ей говорить объ этомъ или нѣтъ.

— Ну, когда такъ, — то съ Богомъ! — ласково прибавилъ панъ совѣтникъ и отошелъ прочь отъ окна.

Дѣвушка сѣла на землю, вынула изъ узла старенькій платочекъ, въ кончикъ котораго завязала бумагу въ магистратъ, и запрятала его глубоко за пазуху, открывъ при этомъ исхудалую, сухую грудь, прикрытую сѣрой посконной рубахой.

Затѣмъ, она поднялась, безпокойно взглянула на солнце, какъ-бы соображая, — сколько еще оставалось до вечера, и побрела впередъ сначала медленно, затѣмъ все прибавляя шагу, по мѣрѣ того, какъ ногамъ ея, отвыкшимъ отъ свободныхъ движеній, возвращалась прежняя гибкость и бодрость.

Одежда на ней была жалкая. Какая-то липочая, неопредѣленнаго цвѣта, съ обтрепаннымъ подоломъ, юбка висѣла на ея худыхъ бокахъ; передникъ былъ весь въ разноцвѣтныхъ заплаткахъ; исхудалыя руки ея терялись въ рукавахъ слишкомъ ужъ просторной и потасканной кофты; ноги были обуты въ опорки, одна нога повыше щиколки была завязана грубой холщевой тряпкой.

Улица, по которой брела Ганка, пересекала городъ отъ востока къ западу длинной перспективой небольшихъ домиковъ. Сюда глухо доносился шумъ оживленныхъ центровъ города. Изрѣдка только появлялся на улицѣ убогій торговецъ, въ длинномъ, рваномъ халатѣ, тащившій съ напряженіемъ телѣжку съ кое-какою зеленью и огородными овощами, а рядомъ съ нимъ шель его подручный мальчишка и, надрываясь, выкрикивалъ товаръ своего хозяина. Если-же, паче чаянія, появлялись здѣсь дрожки, то всѣмъ уже впередъ было извѣстно, что онѣ остановятся у воротъ острога. Зданіе это занимало видное мѣсто въ улицѣ. Желтыя, казенныя стѣны его бросали на улицу угрюмую тѣнь.

Уходившая поспѣшно дѣвушка, казалось, уносила изъ подъ этой тѣни что-то угрюмое на своей согбенной, прикрытой толстымъ платкомъ головѣ. Она шла, не отрывая глазъ отъ сѣрыхъ камней мостовой, съ которыми она сама, казалось, сливалась въ одинъ сѣрый цвѣтъ. Она шла на западъ подъ прямыми лучами солнца и, не смотря на страшно томительную жару, куталась въ толстый платокъ, точно желая укрыть подъ нимъ всю себя. Пробѣжавшій мимо мальчишка -- подмастерье



толкнулъ ее сильно кулакомъ въ бокъ, она даже не взглянула, какъ будто-бы не ее толкнули.

---

Она шла и раздумывала.

«Охъ, острогъ, острогъ, какъ онъ человѣка измѣняетъ! Когда ее брали, она хотѣла жизни себя лишить, голодомъ уморить, размозжить свою голову объ стѣну. Теперь въ ней что-то какъ будто измѣнилось, нѣтъ у нея ни тоски, ни радости, она какъ тотъ камень въ полѣ... Три года... цѣлехонькихъ три года... Точно кто-нибудь лишилъ ее защиты Божьей...

Охъ, дура она, дура! И зачѣмъ ей это было дѣлать?! Развѣ она не могла, какъ другія дѣвушки, служить честно? Жить межъ людьми по-божьему, безъ нужды и срама? А теперь вотъ въ какую рубаху она нарядилась! Родители-бы въ гробъ повернулись, если-бы узнали, по какимъ только судамъ, мѣстамъ, присутствіямъ ее не таскали...

Охъ, натерпѣлась она стыда всякаго, наглotalась она его, какъ полыни—зелья горькаго!.. Охъ, дура она, дура, дура»!..

И она вздыхала тяжкимъ вздохомъ и все шла, не оставиваясь, покачивая головой, какъ-бы сама скорбя надъ собой и глупостью своей. Легкая краска выступила на ея блѣдномъ, изнуренномъ лицѣ.

«... Петра... Гдѣ-то ея Петра теперь обрѣтается? Должно-быть онъ уже на рыжей Баскѣ женился, а то и совсѣмъ въ господа проскочилъ. Такъ или иначе, но для нея онъ уже совсѣмъ потерянь. Какъ тотъ вѣтеръ, который подуетъ и промчится, какъ та вода, которая течетъ и утекаетъ, — такъ и онъ для нея совсѣмъ пропалъ.

А парень былъ словно писанный. Точно чиновникъ какой ходилъ онъ въ «пальтѣ», въ ботинкахъ, съ узкими носками, руки въ карманы положить, папиросу закурить. Да развѣ ему и чиновникомъ не подѣ стать быть? Самъ говорить, что волостнымъ писаремъ былъ, съ господами за одинъ столъ садился, да такъ какъ-то по злобѣ людской, его прогнали. Когда началъ онъ ходить къ ней, то всѣ дѣвушки во дворѣ стали завидовать, что у нея такой женихъ. А онъ только улыбался, да усики подкручивалъ.

— Ужъ непременно женюсь на тебѣ, Аннушка, — говорить, — ужъ больно ты мнѣ понравилась, — говорить. А она ему: — не вѣрю я, чтобы вы, панъ Петра, да на мнѣ, на бѣдной

дѣвушкѣ женились.—А онъ то ей отвѣчаетъ:—что тамъ, бѣдная—не бѣдная, это еще неизвѣстно. Коли царь есть въ головѣ, то и деньги найдутся. Въ рукахъ хлѣбъ, а деньги у людей...

Охъ, и полюбила-же она его, полюбила! Смерть полюбила! И пожелай онъ не только ключа отъ барскихъ покоевъ, но жизни ея, и то -бы она тогда ему отдала. Такъ она его полюбила!

Прошло этакъ мѣсяца три. Тутъ господа ея въ театръ собираются ѣхать, и Петръ ея приходитъ къ ней. — Женюсь, говорить, на тебѣ, Аннушка, только ты мнѣ въ одномъ дѣлѣ пособи. А не пособишь, такъ и прощай, пойду къ Баськѣ. — А Баська служила черезъ дворъ. Сколько она его не просила, не молила, онъ все: — или ты мнѣ пособи, или Баська поможетъ. Дашь ключъ — женюсь, не дашь ключа — пойду къ Баськѣ.

И дала она ключъ. А дала ключъ,—ея Петръ—въ барскіе покои, а она спустилась по лѣстницѣ—и въ ворота. Не могла она усидѣть въ кухнѣ. Стала это она въ воротахъ и стоитъ и смотреть, не ѣдутъ-ли господа, а самое такъ и трясетъ лихорадка, такъ и трясетъ, зубъ на зубъ не попадаетъ. Вышла дворничиха, стала говорить съ ней что-то, а она, словно языкъ присохъ, слюней во рту не хватаетъ, слово вымолвить не можетъ, а въ груди точно молоткомъ сердце бьетъ, и въ жаръ, и въ холодъ бросаетъ, и все въ ней дрожитъ, и должна она была къ стѣнѣ прислониться, чтобы не свалиться съ ногъ.

Не долго она прождала. Смотрить, Петръ идетъ: на немъ шуба барская, голова вверхъ, шляпа на бекрень, въ зубахъ сигара, руки въ карманахъ—баринъ, да и баста. Только что-то у него торчитъ изъ подъ шубы съ лѣвой стороны. Были уже сумерки, но она сразу узнала, что это онъ шкатулку несетъ. Такъ и всплеснула она руками!—Петръ... Петръ...—говорить. А онъ точно воды въ ротъ набралъ. Идетъ себѣ важно, какъ будто и не замѣчаетъ ее. Ухватила она за рукавъ его, онъ только тряхнулъ. А тутъ—брякъ, вывалилась у него изъ рукава серебряная ложка. Анна нагнулась, чтобы поднять.—Бога ты побойся, Петръ,—говорить—такъ ты и серебро?—А онъ ей:—пошла прочь!—И пошелъ онъ дальше, только зубами скрипнулъ.

Она забыла и про квартиру, и про господъ, и какъ шальная погналась за нимъ. Бѣжить одну улицу, бѣжить другую, наконецъ, настигла его у послѣдняго фонаря, какъ разъ въ ту

минуту, когда онъ перекладывалъ на другую сторону шка-  
тулку. Въ головѣ у нея помутилось, дыханье сперло, въ ушахъ  
шумъ, въ горлѣ пересохло. Она хотѣла крикнуть: лови его,  
держи!—но языкъ во рту коломъ сталъ. Только какъ добѣжала  
она до него, прислонилась къ фонарному столбу, съ трудомъ  
перевела дыханіе и говоритъ:—Петръ, что-же это ты? Неужели  
ты меня оставишь?—А онъ ей:—Прочь ты, воровка!—и от-  
вернулся отъ нея. Ганка такъ и заложила руки.

— Такъ это я воровка?—говорить,

— Не тотъ воръ, кто воруетъ, а тотъ, кто вора пускаетъ.

— Бога ты побойся, Петръ! Что ты говоришь? Что это  
нашло на тебя? Ты-же, вѣдь, жениться обѣщаль, Петръ!—И  
ну его умолять, плакать. А онъ ей:—уйди ты отъ меня прочь,  
сука!—И какъ сталъ клясть ее, какъ хватить кулакомъ въ  
грудь,—такъ у нея въ глазахъ помутилось, и она безъ памяти  
свалилась на землю.

Какъ она поднялась, какъ добрела домой,—она и сама не  
знаетъ. Въ первую минуту она хотѣла было бѣжать, но тутъ  
ей показалось, что у того фонаря, гдѣ ее Петръ толкнулъ,  
весь міръ для нея кончается, и что некуда ей бѣжать больше.  
Она осталась дома. Пришли господа изъ театра, подняли шумъ,  
крикъ... шубы нѣтъ, серебра нѣтъ, денегъ нѣтъ. Испугъ, обыскъ...  
Наконецъ, нашли у нея въ карманѣ ту ложечку, которую об-  
ронилъ Петръ, а она подняла. И какъ нашли Эту ложечку,  
зашумѣли, заругали ее господа и отдали ее подъ судъ. Охъ,  
сколько она горя приняла, сколько слезъ пролила! А все-таки  
не выдала Петра. Такъ она крѣпко его полюбила! Три года  
отсидѣла въ тюрьмѣ, а онъ хоть-бы словомъ обмолвился, хоть-бы  
привѣтъ какой прислалъ черезъ людей. Точно ее и въ живыхъ  
не стало. Сколько ее мучили, пытали! Гдѣ деньги, куда дѣвала?  
А она какъ пень стоитъ передъ ними! Только когда вспомнить,  
какъ онъ толкнулъ, какъ крикнулъ на нее—«прочь, сука!»—  
такъ вотъ, кажется, всю ее кровь зальетъ, все нутро въ ней  
перевернется,—такъ вотъ и готова все высказать...

Но тутъ Петръ снова встанетъ передъ ней, какъ живой,  
руки складываетъ.—Аннушка,—говорить,—женюсь на тебѣ,—  
и другія такія хорошія словечки, точно изъ самаго сердца выби-  
раетъ. И такая беретъ ее жалость тогда, что она только въ  
землю смотреть и нечего не говорить... А тутъ ее въ при-  
сутствіе таскаютъ, на слѣдствіе, изъ тюрьмы въ тюрьму пере-



водить. Кажется, душу-бы у нея вывернули, если-бы только могли»...

Но вотъ она и отсидѣла свой срокъ.

— Охъ, Петра, Петра! Научилъ ты меня уму—разуму, на всю жизнь научилъ!

Она сильно сжала руки, такъ что въ суставахъ треснуло, и подняла къ садившемуся уже солнцу свои изнуренные, обведенные темными кругами глаза.

«Богъ ему судья! но онъ ее больно обидѣлъ... больно»...

И съ этой мыслью объ обидѣ, она еще глубже надвинула на глаза платокъ, еще больше прибавила шагу, не обращая вниманія на сильную боль въ ногахъ.

По мѣрѣ того, какъ она подвигалась впередъ, большіе каменные дома попадались рѣже, все чаще появлялись деревянные домики; кабачки становились все грязнѣе и грязнѣе. Попадались кучи грязныхъ, играющихъ ребятишекъ. Ганка смотрѣла на нихъ, и, проходя мимо, поворачивала голову и улыбалась, сама не зная чему. Это были ея первыя улыбки въ эти три ужасные года. Въ острогѣ смѣхъ слышится часто: нахальный, необузданный, идиотскій, онъ часто раздается и по камерамъ и по корридорамъ. Но улыбка на устахъ—явленіе тамъ очень рѣдкое. Забываютъ ее дѣти, спеленатые въ сѣрые острожные армяки, не застываетъ она даже на устахъ, отходящихъ въ другой міръ. Дѣти засыпаютъ и пробуждаются хмурыя, испуганныя, съ лицомъ распухшимъ; умирающіе отходятъ мстительные, грозные.

Ганка поглядывала на солнце и все прибавляла шагу.

Теперь уже по обѣ стороны улицы тянулись длинные заборы, выкрашенные бѣлою известью; вскорѣ и они исчезли. Открылись большія застроенныя площади и, хотя мостовая здѣсь уже кончилась, но кабачки, съѣстные лавочки, портерныя, повидимому, и тутъ отвоевали себѣ бойкое мѣсто. Только здѣсь они становились еще грязнѣе.

Когда Ганка проходила мимо одной изъ пивныхъ лавокъ, стеклянная дверь лавки съ шумомъ распахнулась до половины, и изнутри лавки выскочили двѣ раскраснѣвшіяся бабы, съ остревѣніемъ набросились другъ на дружку, схватившись за платки и крикомъ заглушая визгливую шарманку, на которой усердно игралъ передъ пивной чернявенькій еврейчикъ, заломивъ на бекрень фуражку и широко разставивъ ноги. Изъ открывшейся двери разнесся смѣхъ и говоръ пьяныхъ голосовъ, а на порогѣ

пивной столпилась кучка мужчинъ, съ интересомъ слѣдившихъ за этимъ состязаніемъ.

Ужъ отъ словъ стало доходить и до кулаковъ, а шарманщикъ добывалъ изъ своего инструмента самые пискливые тоны, когда изъ кабака выбѣжала молодая, красивая дѣвушка, почти дѣвочка и, высоко поднявъ юбки, принялась отплясывать трепака подъ звуки шарманки. Тяжелая, русая коса до половины расплелась и свалилась на плечо, голова моталась изъ стороны въ сторону, полу-растегнутый лифъ открывалъ ея гибкую шею. Глаза посоловѣли. Видно было, что она выпила потому что языкъ ея не договаривалъ какой-то сальной, уличной пѣсенки, подъ которую она отплясывала.

Кучка ребятъ столпилась около шарманки и плясавшей дѣвушки. Ганка остановилась за ними и съ удивленіемъ смотрѣла на дѣвушку. Она ее узнала. Это была Манька Черкасъ. Годъ тому назадъ ее выпустили изъ острога и отправили съ партіей въ Груецъ. Но вотъ дѣвушка замѣтила Ганку, остановилась, взглянула на нее немного сознательнѣе и побѣжала къ ней, пошатываясь.

Ганка отвернулась и хотѣла отойти прочь. Но охмѣлѣвшая дѣвушка уже повисла у нея на шеѣ и душила ее въ объятіяхъ.

— Ганка! Ей-же Богу, Ганка! Куда-же это тебя несеть? Давно тебя выпустили?.. Давай, дѣвка, поцѣлуемся! Вотъ такъ сошлись!..

Ганка отступила шагъ назадъ.

— Бога ты не боишься, Манька! Такъ ты уже не въ Груйцѣ?

— Дура я развѣ, чтобы въ Груйцѣ сидѣть!—воскликнула дѣвушка.—По моему, лучше собакамъ хвосты подвязывать, нежели въ этомъ Груйцѣ сидѣть!

— Такъ ты и не была тамъ?

— Какъ не была? Была. Вѣдь меня съ партіей угнали. Два дня была и третьяго половину. Потомъ мы всѣ собрались и ушли: Юзефа ушла, я, Квятосинская, Юлька Микусувна... Одни мужики остались. Только мой Антекъ съ нами удралъ.—Манька разразилась бѣшеннымъ хохотомъ.—Чистая потѣха! Если-бы ты видѣла съ какимъ парадомъ вели насъ! Я такъ думала, что еще «люминацію» намъ устроить. А тамъ еще конвойные не успѣли сапогъ снять, какъ насъ уже поминай какъ звали. Да что тамъ дѣлать!? А ты, Ганка, тоже въ «побыть»?

— Да, «въ побыть».

— А на долго тебя засудили?

— Охъ, засудили, засудили... На цѣлыхъ три года.

— Фю-ю-ю!—свистнула Манька.—Такъ ты тамъ бургомистрихой сдѣлаешься!—и Манька принялась смѣяться, хватаясь за бока. Глазѣвшіе на Маньку ребятишки, сами не зная чего, стали тоже смѣяться тонкими, пискливыми голосками. Манька повернулась къ нимъ.

— Тише, пупыри!—прикрикнула она на нихъ, топнувъ ногой. Дѣти стали дразнить ее, прыгая и кривляясь какъ обезьяны.

— Что-жъ ты?—спросила Ганка—опять у Паздерскихъ живешь?

— Я—да у Паздерскихъ?! Перекрестись лѣвой рукой, дѣвка! А что-бы мнѣ было дѣлать у Паздерскихъ? Старая выжига съ утра до ночи ругается, всю челядь разогнала, одни мальчишки остались, которые еще штаны въ зубахъ носятъ. Что-бы я тамъ дѣлала? Да если-бы я и захотѣла, такъ и то меня не станутъ держать безъ прописки.

— Такъ гдѣ-же ты живешь?

— А вотъ, видишь, въ кабачкѣ сажу, когда музыка играетъ!—захохотала снова неистово Манька и подбоченилась, какъ-бы желая снова пуститься въ плясъ.

Ганка грустно качала головой, глядя на нее.

— Ой, Манька, Манька! До дрожи пронимаетъ меня твой смѣхъ.

Манька только пожала плечами.

— Что-же ты, дура, хочешь, чтобы я плакала, что-ли?

— Не все-же ты здѣсь сидишь?—спросила снова Ганка.

— Гдѣ-же мнѣ сидѣть? У Бамблѣвой сажу. Та меня безъ прописки держитъ, вотъ и сажу. Сегодня я сбѣжала на минутку къ Антону,—такъ сюда прибѣжала за мной, ябеда этакая! Вотъ посмотри только, какую она драку завела съ другой такой-же изъ-за Юзефы.

Ганка только руками развела. Матовое ея лицо все залилось краской негодованія.

— Побойся ты Бога, Манька! У Бамблѣвой сидѣть? Вѣдь это грѣхъ тяжкій, срамъ...

— Что-же мнѣ дѣлать? Въ Вислу броситься, что-ли?—Манька покраснѣла, засмѣялась и вдругъ разразилась истерическимъ плачемъ.

Въ эту минуту одна изъ задорливыхъ бабъ подскочила къ



ней, схватила ее за плечо и крикнула хриплымъ голосомъ на Ганку:

— Не смѣть мнѣ дѣвку смущать! Что другихъ мутить-то!

Манька озлилась. Въ одно мгновенье слезы у ней высохли, глаза блеснули гнѣвомъ.

— Что это вы, Бамблѣова, вздумали меня хватать? Развѣ я слуга вамъ, что-ли? Понравится мнѣ, такъ пойду, а не понравится и вовсе не пойду! Понимаете вы это?

Бамблѣова, однако, не выпустила ея плеча.

— Прочь! Прочь! Нечего смущать ее! продолжала она кричать на Ганку. А ты домой, домой ступай!

— Пусти, Бамблѣова!—закричала дѣвушка.

— Бамблѣова, да Бамблѣова! А не будь ея, такъ ты-бы теперъ съ ворами сидѣла.

— Эва!—дерзко крикнула Манька.—А у васъ—то я съ лучшими сижу? Вотъ ужъ разсержусь, такъ все къ чорту брошу и пойду съ Ганкой въ Груецъ.

Баба внимательно стала прислушиваться.

— Такъ вы, барышня, «въ побыть»?

Ганка утвердительно кивнула головой и невольнымъ движеніемъ надвинула ниже платокъ.

— Да развѣ вы пойдете, барышня?—выпытывала дальше баба.

Ганка снова кивнула головой.

— Богъ съ тобою, Манька, прощай!—сказала Ганка и хотѣла уже отойти. Но Бамблѣова, оставивъ въ покоѣ Маньку, ухватила за Ганкинъ рукавъ.

— Такъ я вамъ, барышня, скажу,—говорила она, окидывая дѣвушку быстрымъ взглядомъ,—что вы непростительную глупость дѣлаете. Это не ваше ремесло. Ни одна порядочная дѣвушка тамъ долго не выдерживала, сюда-же убѣгала. Квятосинская тоже у меня живетъ и Микусувна у меня. А что-жь имъ дѣлать? Надо жить, моя барышня, надо жить.

— Будь здорова, Манька!—проговорила Ганка, не отвѣчая бабѣ и повернувшись къ ней спиной.

Но отъ Бамблѣовой не такъ легко было отдѣлаться; она заступила Ганкѣ дорогу.

— Послушайте, барышня, что я вамъ скажу,—сказала она, положивъ руку ей на грудь. Вы высохли, какъ щепка, какъ кость, которую собаки гложутъ. А я-бы для васъ рискнула:

вы, барышня, можете у меня остаться безъ прописки, я буду васъ кормить.

Она съ минутѣ пытливо глядѣла въ опущенные глаза Ганки, но видя, что та не отвѣчаетъ, крикнула, сильно хлопая въ ладоши: — Была, не была! Пусть мое пропадаетъ! Платье будетъ въ придачу.

Манька придвинулась ближе.

— Что-же, оставайся, Ганка?..

Ганка попыталась вырваться, но Бамблѣова крѣпко ее держала за платокъ.

— Эй, барышня, не чудите... Не гнѣвите Бога, когда вамъ такая хорошая оказія подвернулась. Не первая вы, барышня, и не послѣдняя. Не такія были, а пошли на легкій хлѣбъ... Что-же? голова съ плечъ не свалилась! Бога гнѣвить не слѣдуетъ. Вотъ надумайтесь-ка...

— Пустите! — крикнула Ганка, подавляя накипѣвшій гнѣвъ.

— Такъ, вы, барышня, не хотите?

— Нѣтъ!

— Ну, такъ проваливай къ чорту! — крикнула Бамблѣова. — Еще тебѣ не миновать моего двора. Смотрите, какая графиня! Въ острогѣ сидѣла, воровка этакая, а еще гордится, какъ Богъ знаетъ что... Манька! пойдешь ты домой, безпутница!

— Только, пожалуйста, не кричать! — окрысилась Манька. — Иди съ Богомъ, Ганка! — крикнула она вслѣдъ отходившей. — Да смотри, если сбѣжишь изъ Груйца, такъ прямо къ намъ... Помни!

И Манькой снова овладѣлъ безпутный разгулъ: она подбоченилась, затащила одну изъ своихъ безстыжихъ пѣсенъ и хохотала до упаду. Дѣти вторили ей крикливымъ хоромъ, шарманщикъ все шибче вертѣлъ ручку у своего тоскливаго инструмента; одинъ изъ бражничавшихъ въ кабацкѣ мужчинъ выбѣжалъ, подхватилъ дѣвушку и пустился съ нею въ бѣшенную пляску. Бамблѣова, съ сбившимся на сторону чепцомъ, хлопала имъ въ ладоши и сама подплясывала.

Ганка быстро удалялась. Сперва вслѣдъ за ней несея шумъ кабацкой пѣсни и пляски, потомъ отголоски его становились все дальше, слабѣе, наконецъ, все утихло.

Она уже вышла въ поле. Луна взошла и посеребрила широкое пространство. Мягкая листва зашумѣла на придорожныхъ деревьяхъ; кой-гдѣ мерцали золотистыя звѣздочки. Вдали мелькали привѣтливо огоньки, гдѣ-то испуганная птичка встрепе-

нула крыльями, гдѣ-то залаяла собака... Дѣвушка шла безъ отдыха и, хотя сильно устала, все прибавляла шагу, точно уходя отъ какой-то невидимой погони. Наконецъ, все замолкло, послѣдніе огни исчезли въ полумракѣ, а земля покрылась свѣжей росой.

Дѣвушка остановилась и подняла голову. Платокъ свалился съ нея, луна освѣтила ея исхудалое лицо. Такъ она простояла съ минуту, беззвучно шевеля губами. Потомъ она глубоко вздохнула, поникла головой, нагнула платокъ на лобъ и пошла уже медленнѣе. Вскорѣ силуэтъ ея слился съ расплывшимися по полю тѣнями.

## II.

.....

Присутствіе въ канцеляріи Г—скаго магистрата было уже въ полномъ ходу, когда Ганка Блажаевна остановилась у его порога.

Въ дверяхъ столпилось нѣсколько евреевъ, оживленно бесѣдовавшихъ на своемъ жаргонѣ. За евреями стоялъ мужикъ въ домоуѣльномъ зипунѣ, съ длиннымъ кнутовищемъ въ одной рукѣ, съ высокой шапкой въ другой; видѣ у него были озабоченный, онъ тяжело вздыхалъ. Еще дальше стояла подвыпившая баба съ рожистыми пятнами на лицѣ и толкала тщедушнаго подростка, который стоялъ впереди ея, готовый вотъ-вотъ заплакать. Въ глубинѣ-же, придавая официальный тонъ картинѣ, дремалъ у печки на лавкѣ стражникъ, раскачиваясь взадъ и впередъ, время отъ времени громко и отрывисто всхрапывая.

На самомъ видномъ мѣстѣ канцеляріи красовался въ золоченной рамѣ портретъ; подъ нимъ стоялъ длинный, покрытый зеленымъ сукномъ столъ, за которымъ сидѣлъ панъ бургомистръ. Онъ просматривалъ свѣжій нумеръ газеты, слегка барабана по столу пальцами своей бѣлой пухлой руки и тихо напѣвая какую-то избитую арію.

Посреди канцеляріи, лицомъ къ началству, стоялъ магистратскій курьеръ—Мачускій, высокій, сухопарый солдатъ, съ вытянутой шеей и сильно выкатившимися глазами. Видѣ у него былъ такой, что, казалось, по первому слову начальства онъ сейчасъ-же выскочить не только изъ туго застегнутаго мундира, но изъ собственной кожи. Его неимоверно длинная



руки были вытянуты по швамъ. Всей своей фигурой онъ напоминалъ слегка покачнувшійся телеграфный столбъ. Мачускій былъ большимъ педаантомъ по службѣ и особенно не долюбливалъ либеральныхъ настроеній пана совѣтника. Достаточно было взглянуть на его корявое лицо, чтобы сразу догадаться, что въ немъ уже все кипѣло отъ этой непристойной аріи, профанировавшей официальный характеръ присутственнаго мѣста, гдѣ все должно быть «по швамъ». Но увы! въ шестнадцать лѣтъ своего курьерскаго служенія старый служака имѣлъ полную возможность убѣдиться, что много дѣлъ тутъ происходитъ не «по швамъ». Онъ страдалъ отъ этого, какъ отъ личнаго оскорбленія. Идеаломъ его былъ начальникъ строгій, непреклонный, вѣчно молчаливый и ужъ непремѣнно застегнутый всегда, даже ночью, на всѣ пуговицы. Господинъ бургомистръ даже днемъ не застегивался на всѣ пуговицы, евреевъ хлопалъ по плечу, вступалъ въ бесѣду съ первымъ встрѣчнымъ и тужь-же непремѣнно подчивалъ табакомъ. Словомъ, былъ весьма далекъ отъ идеала своего подчиненнаго. Мачускій чувствовалъ, что это ему отравляетъ жизнь и потому черезъ каждые три мѣсяца дѣлалъ себѣ кровопусканіе, чтобы, какъ говорилъ онъ, желчь не залила его въ канцеляріи.

Уже слишкомъ четверть часа Ганка стояла у порога, когда, наконецъ, бургомистръ сложилъ газету, потеръ руки, поднялъ брови и зѣвнувъ, взглянувъ на столъ, заваленный бумагами. Онъ окинулъ взоромъ собравшихся и, остановивъ свой взглядъ на Ганкѣ, вдругъ спросилъ ее:

— Вамъ что?

— «Въ побыть» — поспѣшилъ доложить Мачускій.

— Та-а-къ—съ,—протянулъ панъ бургомистръ.—Это дѣло другого сорта.

Собственно говоря, ничего тутъ другого, новаго не было: всякую недѣлю приводили сюда партію высланныхъ; но, по видимому, бургомистръ хотѣлъ этимъ хоть сколько-нибудь скрасить однообразіе будничной жизни.

— Росписка есть?

Дѣвушка подошла къ столу, поцѣловала пухлую руку бургомистра и молчаливо подала ему бумагу.

— Гм! — промычалъ онъ, читая и посматривая то на бумагу, то на дѣвушку—гм!.. три года... гм!.. шутка сказать... гм!.. что они себѣ думаютъ въ этой Варшавѣ?..

Онъ задумался и сталъ щипать баки, обрамлявшія его подборода.

— Ну, ладно!—сказалъ онъ, минуту спустя.

Панъ бургомистръ былъ по натурѣ оптимистъ и обыкновенно любилъ все заканчивать хорошо.

На этотъ разъ, кажется, у него слова шли вразрѣзъ съ мыслями. Онъ задумался. Были и у него заботы. Въ городѣ скопилось столько «побытовыхъ», что образовалось нѣчто вродѣ воровской колоніи, съ которой не могла совладать его бургомистрская власть. Не проходило вечера безъ какого-нибудь скандала, всякую ночь случались кражи, а за городомъ грабежи. Земская стража, съ Федоренкомъ во главѣ, не въ силахъ была со всѣмъ этимъ справиться. Счастье еще, что вся эта босонгая команда сплошь и рядомъ убѣгаетъ въ Варшаву.

Онъ поглядѣлъ на Ганку изъ-подлобья, какъ бы соображая—уйдетъ-ли и она,—забарабанилъ по столу пальцами, раза два еще откашлялся и, наконецъ, повернувшись въ сторону сосѣдней комнаты, позвалъ:

— Господинъ Косицкій! господинъ Косицкій!

Въ дверяхъ сосѣдней комнаты показался молодой, тщедушный блондинъ, небольшого роста, съ толстымъ вздернутымъ носомъ и презрительно отдувшимися губами. На коротко остриженной, щетинистой головѣ его синѣлъ еще сигарный дымокъ, который онъ выпустилъ сейчасъ изо рта, а въ опущенномъ рукавѣ тѣла сигара.

Это былъ Александръ Станиславовичъ Косицкій, магистратскій секретарь.

— Что прикажете? — откликнулся онъ скрипучимъ, какъ намазанные колеса, голосомъ.

— Александръ Станиславовичъ,—быстро проговорилъ панъ бургомистръ — пересмотрите тамъ, пожалуйста, бумаги Блахажувны; онѣ гдѣ-то у васъ. И надо ей выдать росписку...

— «На побыть»? А!—проскрипѣлъ снова секретарь.

— «На побыть», вельможный панъ,—отвѣтила Ганка, подходя ближе, чтобы поцѣловать у секретаря руку. Но панъ секретарь спряталъ отъ нея руку. Онъ, какъ человѣкъ практичный, хорошо зналъ, что не слѣдуетъ принимать такихъ почестей въ присутствіи начальника, который былъ притомъ коллежскій совѣтникъ.

Панъ секретарь, однако, не возвращался къ своей конторкѣ, но произнесши послѣднее слово, такъ и остался съ откры-

тымъ ртомъ и не могъ оторвать глазъ отъ стоявшей передъ нимъ, почтительно склонившейся дѣвушки. Простоявъ такъ нѣкоторое время, панъ Косицкій пригласилъ глазами Ганку слѣдовать за нимъ, а самъ отретировался въ самую середину сигарнаго облака, повисшаго надъ его письменнымъ столомъ.

Тутъ онъ быстро схватилъ одну тетрадку бумагъ, отбросилъ ее, потомъ другую, третью, и во все время разыскиванія нужнаго ему дѣла, руки его какъ-то лихорадочно дрожали. Но вотъ онъ, наконецъ, нашелъ то, чего искалъ. Панъ секретарь тяжело облокотился о столъ, точно изнемогая отъ чего-то, прищурилъ глаза и нѣсколько разъ тяжело вздохнулъ.

Ганка внимательно смотрѣла ему въ глаза, желая прочесть въ нихъ, что слѣдуетъ ей дѣлать или говорить.

Секретарь придвинулся близко къ дѣвушкѣ, щури и открывая попеременно свои блестящіе глаза.

— Анна Блахажва?.. А?..

— Да, вельможный панъ,—отвѣтила Ганка.

— Ты думаешь идти въ услуженіе?.. А?..

— Почему мнѣ знать, вельможный панъ. Конечно, въ услуженіе.

— Хи... хи... хи...—тихо засмѣялся секретарь:—Кто тебя возьметъ прислугой? Кто тебя въ домъ пустить? Съ краснымъ-то паспортомъ?.. А?..

Ганка потупилась и молчала. Большой платокъ бросалъ густую тѣнь на ея смуглое лицо. Глаза ея были опущены. Зрачки пана секретаря пронизывали ее своимъ краснымъ блескомъ.

— Я, пожалуй, принялъ-бы... пустилъ... я..

Какія-то судороги пробѣжали по его лицу; онъ крѣпко сжалъ руки и не договорилъ. Ганка подняла голову и посмотрѣла на него изнуреннымъ тусклымъ взглядомъ. Она не могла хорошо понять, — такъ-ли онъ только ее пожалѣлъ или, на самомъ дѣлѣ, хочетъ взять ее прислугой.

Панъ секретарь захлебнулся словами и, быстро повернувшись, сѣлъ за столъ и принялся что-то писать. Потомъ онъ протянулъ руку.

— Вотъ тебѣ росписка! Можешь теперь отправляться въ городъ и искать службу. Да смотри, пропишись, какъ найдешь мѣсто. А прописку мнѣ принесешь. Поняла?.. А?..

— Поняла, вельможный панъ,—отвѣтила дѣвушка.



— Да смотри, не пытайся куда-нибудь уйти.—Ты должна здѣсь, въ городѣ жить. Понимаешь?.. А..

— Понимаю, вельможный панъ.

— Теперь ступай, да черезъ три дня явись сюда съ пропиской.

— Хорошо, вельможный панъ.

Она хотѣла поклониться ему въ ноги, но секретарь отскочилъ, какъ ужаленный. Дѣвушка удалилась.

Она была уже на срединѣ канцеляріи и направлялась къ выходу, когда ее замѣтилъ и остановилъ панъ бургомистръ, атакуемый поминутно кланяющимися и заискивающе улыбающимися еврейчиками. Одинъ изъ нихъ краснорѣчиво излагалъ какой-то гешефтъ, а остальные, для большей заманчивости гешефта, причмокивали губами, предъ лицомъ «вельможнаго президента». Неизвѣстно, понадобилось-ли пану бургомистру отступление въ его стратегическихъ планахъ или, дѣйствительно, эта жалкая, смуглая дѣвушка обратила его особенное вниманіе, только замѣтивъ ее, онъ громко позвалъ:

— Послушай!.. ты!.. Какъ тебя зовутъ?.. Погоди-ка еще!

Она съ испугомъ остановилась.

— Мачускій!—крикнулъ панъ бургомистръ, повернувшись къ дверямъ.

— Показать эту дѣвушку Федоренкѣ, чтобы онъ зналъ ее... Вотъ ея паспортъ... А ты смотри, не путайся, ищи службы...— обратился онъ къ Ганкѣ.

Онъ еще не кончилъ говорить, какъ вдругъ въ сѣняхъ послышался шумъ и въ широко раскрытую дверь ввалилась пани казначейша. Она была вся красная и пыхтѣла, словно машина.

— Доброго утра, панъ президентъ!—прокричала она у порога.—Президентъ не знаетъ что случилось?

Панъ бургомистръ быстро привскочилъ со стула, предложилъ ей пани казначейшѣ и также громко привѣтствовалъ ее:

— Доброго утра, доброго утра! Какъ ваше здоровье, милостивая пани?

Но видно дама не расположена была обмѣниваться привѣтствіями. Она бросилась на стулъ, воскликнувъ:

— Такъ вы ничего не знаете?.. Вамъ неизвѣстно, что эта Кубисякувна изъ Варшавы, «побытовая», что у меня была,— знаете, эта толстуха, сбѣжала въ эту ночь. И, вообразите себѣ, стащила у Филиппи юбку, а у Юзи чулки полосатые и двѣ простыни. И что подѣлаешь!? Ищи теперь вѣтра въ полѣ!

Панъ бургомистръ только руками развелъ.

— Не можетъ быть!

Дама озлилась.

— Какъ это не можетъ быть, когда есть! И если-бы это еще старая простыня, а то новая, говорю вамъ, изъ дюжины взята! Чтобъ ей!..

Панъ бургомистръ стоялъ, растерявшись, почесывая свою плѣшь. Онъ пробурчалъ что-то вродѣ того, что «чортъ ее принесъ!» Жидки тѣмъ временемъ быстро заговорили о чемъ-то на своемъ жаргонѣ, а одинъ изъ нихъ махнулъ рукой и тихо засмѣялся.

Быстрый глазъ пани казначейши сейчасъ замѣтилъ это.

— Что за смѣшки?—спросила она сердито,—такая потеря,—тутъ не до смѣху.

Лицо ея побагровѣло отъ негодованія.

— А можетъ быть, вы пожалуете къ моей женѣ?—прибавилъ бургомистръ, стараясь утишить ея гнѣвъ.

— Кстати, вы мнѣ напомнили, панъ бурмистръ: вѣдь это ваша супруга подговорила меня взять эту воровку. Что вамъ, говорить, обращать вниманіе на то—«побытовая» или «не побытовая», — каждую беречь надо, а то совсѣмъ избалуется, если никто не возьметъ въ прислуги... А вотъ и вышло!..

Она съ трудомъ переводила дыханіе.

Бургомистръ стоялъ передъ ней, какъ провинившійся школьникъ, сильно недовольный тѣмъ, что такъ некстати напомнилъ про жену.

Дама продолжала сердиться.

— А я вамъ, президентъ, говорю, что теперь въ городѣ никто не возьметъ въ прислуги «побытовой»! Будетъ ужъ, — научены! Вотъ и сейчасъ бѣгу на почту и къ доктору схожу, его тоже предупрежу, чтобы не принималъ этихъ воровокъ для стирки. И всѣхъ предупреждать стану. И жена ваша пусть будетъ осторожна... Дешевая прислуга всегда окажется очень дорогой, потому что она сама заплатитъ себѣ столько, сколько захочетъ...

— Вѣрно, вѣрно! — неясно бормоталъ, окончательно растерявшись, панъ бургомистръ.

— Ну, какъ-же будетъ съ этой Кубисякувной?—спросила дама.—Положимъ, юбка и чулки—еще пустое, но не могу-же я лишиться простыни изъ дюжины. Посовѣтуйте, президентъ,

что мнѣ дѣлать? Я охотно дамъ что-нибудь отъ себя Федоренкѣ, пусть только ищетъ, пусть развѣдаетъ...

— Съ удовольствіемъ, съ удовольствіемъ, сударыня!

— И Станевичъ пусть ищетъ...

— Будемъ искать. Всѣ будутъ искать!—говорилъ бургомистръ, довольный тѣмъ, что дама уже поднималась со стула. — Это моя прямая обязанность, милостивая государыня! — прибавилъ онъ, провожая ее къ дверямъ.

— Главное, чтобы разыскали эти простыни.

— Непремѣнно! Непремѣнно! Смѣю васъ увѣрить, сударыня...

— И жену вашу не забудьте предупредить!

Съ тяжелымъ чувствомъ прослушала Ганка весь этотъ разговоръ. Глаза ея были опущены внизъ. Она никакъ не могла оторвать взгляда отъ темнаго сучка, выдѣлявшагося на желтомъ полу канцеляріи. Ей казалось иногда, что какъ будто она сама виновата въ пропажѣ юбки и полосатыхъ чулокъ пани казначейши. Глаза ея тогда начинали боязливо бѣгать, устремляясь то на говорившую барыню, то на двери, въ которыя могли войти Федоренко и Станевичъ. Какъ только войдутъ — непременно ее схватятъ. Но потомъ къ ней возвращалось сознание, что вѣдь она-же не украла ни юбки, ни чулокъ, ни этихъ двухъ простынь изъ дюжины.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Она отлично знаетъ, что этого не украла. Пусть Федоренко и Станевичъ обыщутъ ее, какъ имъ угодно. Она постепенно успокаивалась, глаза ея переставали пугливо бѣгать и снова съ какою-то тупою тоскою останавливались на сучкѣ въ полу. А сучокъ, казалось, все увеличивался, разрослся и глядѣлъ на нее, словно какой-нибудь грозный, темный зрачокъ...

Ганка не успѣла еще сойти со ступеней канцеляріи, какъ какой-то мальчикъ который замѣтилъ, какъ Мочускій сдавалъ дѣвушку на руки Федоренкѣ, задорливо крикнулъ:

— Воровка варшавская! Воровка варшавская! Смотрите варшавскую воровку!..

Словно что-то обожгло Ганку. Правда, за эти нѣсколько лѣтъ осторожной жизни она не мало натерпѣлась стыда, но то было гдѣ-нибудь на судѣ, въ какомъ-нибудь присутствіи, въ



четырехъ стѣнахъ, но не на улицѣ... Тутъ она почувствовала, что ее точно кто ножемъ ударилъ въ сердце.

Къ находчивому мальчику присоединилось еще три, четыре пріятеля, у которыхъ въ эту минуту не нашлось лучшаго дѣла, какъ кривляться и орать во всю глотку на улицѣ:

— Варшавская воровка! Варшавская воровка!

— Тише, бездѣльники! — прикрикнулъ на нихъ Мачускій, повернувъ въ ихъ сторону голову.

И вслѣдъ затѣмъ, онъ заговорилъ съ флегматическимъ Федоренкой, который каждое слово произносилъ по-хохлацки, съ разстановкой, держа на приличномъ разстояніи отъ носа щепотку табаку, которымъ его сейчасъ поподчивалъ курьеръ.

Ганкѣ казалось, что это никогда не кончится.

Она зажмурила глаза и вся съежилась, какъ-бы защищаясь отъ ударовъ обуха. Ея смуглое лицо въ эту минуту казалось еще болѣе смуглымъ.

Тѣмъ временемъ часы пробили полдень, и изъ сосѣдняго училища хлынула на улицу толпа школьниковъ. Сообразивъ сразу, въ чемъ дѣло, мальчики съ крикомъ присоединились къ затѣянному другими хоромъ; дѣвочки-ученицы столпились по краямъ панели и, разинувъ рты, разглядывали Ганку. Онѣ дѣлали на ея счетъ различныя замѣчанія, смѣялись, толкались локтями, стараясь спихнуть другъ-друга съ панели.

Ганка стояла среди этого крика и шума, вся скорчившись подъ своимъ большимъ платкомъ. Все въ ней одервенѣло, окаменѣло, и по временамъ казалось ей, что она вросла въ землю. Она хотѣла тронуться съ мѣста, но ноги у ней отяжелѣли, какъ колоды. Да она и не могла еще уйти, потому что ожидала краснаго паспорта, который Федоренко разсматривалъ съ Мачускимъ, сличая его съ роспиской секретаря.

Наконецъ, стражникъ сложилъ паспортъ и вручилъ его дѣвушкѣ, сдѣлавъ рукой знакъ, что она можетъ уйти. Ганка повернулась и побрела въ первый попавшійся переулокъ. Крикъ дѣтей преслѣдовалъ ее еще нѣкоторое время, постепенно слабѣя, пока, наконецъ, совсѣмъ не замеръ въ тихомъ воздухѣ. Она все шла дальше и дальше, пока переулокъ не вывелъ ее въ открытое поле. Она остановилась и оглянулась съ удивленіемъ.

Куда идетъ она? Зачѣмъ? Къ кому? Она сама не знала. Въ ушахъ ея еще раздавался дѣтскій крикъ, голова была тяжела, какъ котель.

Черезъ минуту она, однако, пришла въ себя.

Ей слѣдовало остаться въ городѣ, черезъ три дня прописаться въ магистратѣ свой паспортъ и потомъ искать службы... Она сжала въ рукѣ свой красный паспортъ. — Кто возьметъ ее съ такой бумагой? Кто пустить ее въ домъ свой? Даже на стирку ее не возьмутъ, потому что она можетъ украсть юбку и чулки...

Тутъ ея мысли остановились. Вообще мышленіе для нея было тяжелымъ трудомъ. Еще съ минуту вертѣлись въ ея головѣ чулки и юбка. Потомъ, она выпрямилась подъ своимъ платкомъ и почувствовала, что она очень голодна.

Она сунула руку за пазуху. Тамъ въ старенькомъ платкѣ у нея было еще нѣсколько мѣдныхъ монетъ. Въ острогѣ она ничего не заработала, такъ какъ здоровье у нея было плохое, и она тамъ все хворала. Болѣзнь все съѣла:—и то, что шло въ «дѣлежъ», и то, что на «книжку». Когда ее отпускали, «вельможный» далъ ей четыре «золотыхъ». Господь да наградить его!

Она оглянулась. Кругомъ никого не было видно. Вынула пару мѣдяковъ, завязала въ узелокъ паспортъ и, не торопясь, пошла обратно въ городъ,

— Моя пани,—заговорила несмѣло Ганка, остановившись у одного изъ ларей, гдѣ она купила нѣсколько булокъ у толстой торговки,—моя пани, нѣтъ-ли у васъ на примѣтѣ какого. nibудь мѣста для меня?

— Отчего-бы нѣтъ, моя панна! Мѣсто всегда найдется. Что это, панна, больна была, что-ли? Можетъ быть, не здѣшняя?

— Не здѣшняя...

— А откуда будете, панна?

— А?.. Я изъ Варшавы.

Торговка высунула голову изъ своего ларя и стала пытливо вглядываться въ дѣвушку.

— Слишкомъ ужъ нищенски выглядить панна. А что вы знаете?

— Постряпать, выстирать сѹмѣю...

— У васъ тутъ, панна, есть сродственники, что-ли?

— Нѣтъ, никого тутъ у меня нѣтъ.

Сѣрые глаза торговки подозрительно взглянули на дѣвушку.

— А можетъ быть...—откуда намъ знать,—моя панна, береженого и Богъ бережетъ... Можетъ панна въ «побытъ»?

Ганка опустила голову.

— Э-е, моя панна! Коли такъ, такъ нечего и туманъ на людей напускать! Я и сама приняла-бы хорошую дѣвку, и работа-бы для нея нашлась:—дѣла не передѣлаешь, земли не перекопаешь, — но надо прежде совсѣмъ изъ ума выжить, чтобы взять «побытовую»... Во имя Отца и Сына!.. Вотъ такъ предложила! Что-же это вы, панна, себѣ думаете, что у меня въ избѣ четыре пустыхъ угла, что-ли,—чтобы я въ домъ свой да воровку пустила? Да у меня одной постели на четыре кровати хватить; подушки такія, что по три рубля каждая. У меня костюлы, у меня всякій порядокъ, всякой утвари сколько!— Нѣтъ, моя панна, не могу я въ домъ пускать всякою потаскушку. У меня должна быть дѣвушка, что называется, порядочная съ репутаціей. Такъ-то моя панна! Не въ добрый часъ панна выбралась. Здѣсь «побытовыхъ», — что собакъ, — не отгонишься, а кто ихъ возьметъ въ службу? Жидъ—и тотъ не возьметъ, даже задаромъ. Всякъ, моя панна, остороженъ, потому что отъ домашнего вора не убережешься.

Ганка молча повернулась. У нея и къ ѣдѣ охота пропала. Въ это время въ головѣ торговки блеснула новая мысль. Колесинская, мясничиха ищетъ прислугу... Пусть-бы она приняла вора, дура баба! Больно ужъ зазнается! Вздумала вдругъ важничать передъ всѣми, — прислугу захотѣла взять... Какъ разъ-бы подходящая для нея прислуга...

— Панна! а, панна!—кликнула она. Пусть панна подождетъ!

Ганка оглянулась и остановилась.

— Подойдите сюда поближе!

Дѣвушка подошла.

— Сейчасъ тутъ рядомъ во дворѣ — сообщила шопотомъ торговка—живетъ «факторша» Янова,—ужь вы тамъ, панна, сами разузнаете. Такъ мнѣ извѣстно, что она ищетъ дѣвушку для мясничихи, что насупротивъ живетъ. Пусть идетъ туда панна, можетъ быть и выгорить дѣло.

Ганка поцѣловала руку у торговки.

— Спасибо, моя пани!..

— За что тутъ спасибо! Не за-что. Ступай, панна съ Богомъ!

Янова, перемивавшая въ это время посуду, приняла Ганку довольно ласково. Вчера еще аптекарша заявила ей, что она готова взять даже «побытовую», лишь-бы дѣвка была тихая,



да работающая, а то ужъ ей больно надоѣли эти «тюрнирные». Недѣлю, двѣ прослужить, а тамъ и прощай... Съ учениками-бы только да съ провизоромъ по угламъ ласы точить, а отъ дѣла, какъ отъ огня бѣгутъ... Оно, правда, и мясничиха ищетъ прислугу, а все-таки это не то: какая она барыня! Иное дѣло служить у господъ, а иное у ремесленника...

Къ Ганкѣ снова вернулась надежда.

— Пани Янова, моя дорогая! Когда-бы намъ туда сходить?

— Зачѣмъ-же дѣло стало? Нечего мѣшкать! Вотъ только подвяжите себѣ мой передникъ, да снимите съ себя этотъ платокъ, чтобъ поприличнѣе выглядѣть. А я посуду помою, и сейчасъ пойдемъ.

Черезъ полчаса онѣ уже были въ аптекѣ.

— Я къ вашей милости,—сказала Янова, уминаясь и цѣлуя руку у пани аптекарши, очень высокой, очень желтой и очень худощавой особы.—Рекомендую пани новую кухарочку...

Пани аптекарша была близорука и потому прищурилась и вытянула тонкую шею. Начался фORMALьный допросъ.

— Откуда?.. У кого служила раньше!..

Янова приблизилась и шопотомъ стала передавать что-то на ухо пани аптекаршѣ съ фамиллярностью, обычной въ за-холустныхъ городкахъ.

Но въ ту-же минуту пани аптекарша отскочила какъ ужа-ленная, широко разводя руками.

— Не надо! не надо! не надо!.. — говорила она скоро, тряся руками и отступая къ двери, ведущей въ другую комнату.

Янова, однако, не думала уступать.

— Вѣдь ваша милость вчера говорили...

— Говорила! вѣрно, говорила! Но я вчера еще ничего не знала. А тутъ вотъ какая оказія въ эту ночь въ домѣ казначея случилась... Развѣ вы, Янова, не знаете, что Валерка Кубисякувна обокрала ихъ въ эту ночь и сбѣжала? Развѣ вы не слышали объ этомъ? Весь городъ только о томъ и говорить.

Янова только руками разводила и качала головой въ большомъ изумленіи.

— Скажите на милость,—что за воровка!

При словѣ «воровка» Ганка невольнымъ движеніемъ ухватилась было за платокъ, котораго на этотъ разъ однако не было у ней на головѣ. Ей стало снова казаться, что это она обокрала казначея, что вотъ сейчасъ все обнаружится, и ее

снова посадить въ острогъ. Въ замѣшательствѣ она потянула Янову за платокъ, торопясь уйти отсюда.

Однако, Янова рѣшила попытать еще разъ счастье.

— Стоитъ-ли обращать на это вниманіе, вельможная пани! — сказала она уступчиво. — Прошлаго не воротишь. Будто ужъ и здѣшнія не воруютъ! А, право, дѣвушка прелесть вамъ-бы попалась... Одна другой не ровня. Къ примѣру сказать, хоть эта Кубисякувна: дрянъ была всегда дѣвка. А эта вамъ и обѣдъ состряпаетъ, и постираетъ, и выгладитъ, а главное со двора не будетъ бѣгать, потому что она не имѣетъ никакихъ знакомствъ здѣсь...

— Ну ее къ чорту, моя милая! Да хоть-бы она мнѣ медъ дѣлала, такъ и то не хочу ее. Пусть она кому-нибудь другому достается, только-бы не мнѣ.

— Ну, что-жъ дѣлать, когда вельможная пани не хочетъ...

— Да нѣтъ, нѣтъ, моя милая! Да и вамъ совѣтую никуда ее не водить, а то сами въ бѣду влопаетесь.

— Ну, что-жъ, если такъ, то прошу прощенія, вельможная пани.

— Будьте здоровы.

---

— Вотъ какъ, моя панна, — обратилась Янова къ молчаливо спускавшейся по лѣстницѣ дѣвущкѣ, — сами видѣли: человекъ изъ кожи лѣзъ, чтобы сдѣлать что-нибудь для васъ, а все ни къ чему. И скажу вамъ, панна, что ежели васъ въ аптеку не приняли, такъ и нигдѣ не возьмутъ, потому тутъ служба всѣмъ извѣстная, ни одна порядочная дѣвушка сюда не пойдетъ, развѣ какая-нибудь... Ежели васъ эта сухопарая Ева не взяла, такъ это ужъ послѣднее дѣло! Я и не берусь васъ дальше куда-нибудь вести. Гмъ, гмъ!.. Не взяла... Вотъ такъ диво!.. А знаю доподлинно, что у нихъ нѣтъ прислуги...

Она качала головой въ крахмальномъ чепцѣ и всѣмъ своимъ толстымъ корпусомъ выражала большое удивленіе. Минуту спустя, Янова остановилась.

— Отдайте мнѣ, пожалуйста, мой передникъ, а за платкомъ придите ужъ сами. Только напрасно языкъ трепала, ажно въ горлѣ пересошло. Кабы кто другой порядочный, такъ хоть-бы по маленькой предложилъ пройтись.

Ганка поняла, въ чемъ дѣло, и опустила руку въ карманъ, гдѣ у нея было нѣсколько монетъ.

— Я съ удовольствіемъ...—сказала Ганка. Она все еще надѣялась, что Янова сведетъ ее къ мясничихъ.

— Ну, такъ нечего мѣшкать! Пойдемъ къ Шапсевой.

— Только я-бы хотѣла прежде платокъ.. Какъ-то неловко этакъ показаться межъ людей...

Она не высказала того, что ей стыдно показаться людямъ съ открытымъ лицомъ. Ей казалось, что непременно всякій, взглянувши на нее, сейчасъ подумаетъ: воровка.

Зашли по дорогѣ за платкомъ.

Въ кабацкѣ Шапсевой народу собралось много. Ганка остановилась въ нерѣшительности у порога, но Янова потянула ее за собой. Первая комната была полна посѣтителей. Одни сидѣли за желтымъ тесовымъ столомъ, навалившись на него всѣмъ тѣломъ, хмурые, молчаливые, покуривая махорку и сплевывая на сторону. Другіе обнимались и горько плакали; иные, развалившись на лавкахъ, смѣялись, пѣли, откалывали плоскія, шутки. Нѣсколько человѣкъ стояло посреди избы—одни еще довольно устойчиво, другіе, пошатываясь на ногахъ и расплескивая водку, а пьяные били кулаками по столу и громко ругались.

Грязная дѣвушка, прислуживавшая гостямъ, вертѣлась какъ муха въ кипяткѣ; поминутно ее куда-нибудь звали, толкали, рвали на всѣ стороны. Сама-же кабатчица Шапсева сидѣла за стойкой, вязала чулокъ и посматривала на гостей тѣмъ лѣнивымъ взглядомъ грѣющейся кошки, какой можно часто встрѣтить у старыхъ, толстыхъ евреекъ, бывшихъ когда-то красивыми.

Янова протолкалась къ самой шинкаркѣ и, потребовавъ себѣ рюмку анисовой, выпила ее за здоровье Ганки.

— Дай Богъ здравія!

— Дай Господь Богъ!

Дѣвушка приняла рюмку и выпила тоже. Янова закусила кускомъ сыра съ тминомъ и соленой еврейской баранкой, послѣ чего явилась необходимость прополоскать глотку пивомъ.

Во время этого подчиванья, выпившіе мужчины, то и дѣло, подходили и заглядывали подъ платокъ закрывавшейся дѣвушки. Иной, какъ-бы ненарокомъ, толкалъ ее локтемъ, пользуясь общей давкой въ кабакѣ. Въ особенности одинъ молодой и рослый парень подходилъ къ ней то справа, то слѣва, какъ-бы ища предлога заговорить съ ней. Ганка стала разсчиты-



ваться съ шинкаркой. Парень остановился передъ ней и, взглянувъ ей въ глаза, воскликнулъ:

— Кого я вижу? Ганка! Вотъ такъ встрѣча!

Ганка взглянула на него и тоже узнала.

Это былъ Юзекъ Цаликъ, который вмѣстѣ съ нею сидѣлъ въ прошломъ году въ острогѣ.

Она вся вспыхнула и, желая уйти поскорѣе изъ шинка, дернула Янову за передникъ.

Но у старухи послѣ пива и анисовой явилась страшная охота почесать языкъ. Она облокотилась на стойку, подперла рукой щеку и стала рассказывать Шапсевой, какъ въ прошломъ году брали ея парня въ рекруты. Не было никакой возможности оторвать ее въ эту минуту отъ разговора. Цаликъ тоже заслонилъ собою выходъ и, подбоченившись, смѣялся, покачивая головой.

— Ге, ге! Вотъ такъ сошлись! А давно-ли вы тутъ Аннушка?

Дѣвушка стиснула зубы и молчала.

— Что-же это вы, Аннушка, онѣмѣли, что-ли? Аль по прежнему такая-же горячка?

Цаликъ придвинулся къ дѣвушкѣ, которая снова дернула Янову. Старуха обернулась, но принявъ заигрываніе Цалика за обыкновенное ухаживаніе, сказала:

— Ходите, господинъ, подальше! Потому что эта барышня не здѣшняя и съ здѣшними кавалерами знакомства не водить.

— Ха, ха, ха! — громко засмѣялся Цаликъ. Знаемъ мы отлично, сударыня, съ кѣмъ водить знамство эта барышня.

— А я васъ прошу оставить эту барышню въ покоѣ, потому что я ее веду въ услуженіе.

Цаликъ обратился къ дѣвушкѣ.

— Въ умѣ-ли вы, Аннушка? Неужели вы служить станете?

— А куда-же мнѣ идти? — проговорила съ раздраженіемъ и тоской Ганка.

Цаликъ отвелъ ее въ сторону.

— Лучше ты, Аннушка, къ намъ приставай, — шепнулъ онъ ей. — Намъ тутъ много, со стражникомъ мы свои люди, и никто намъ ничего не сдѣлаетъ. Съ нами и Завѣрская, и Валера, и Курбелякова... Живетъ себѣ человекъ вольготно, никто тебѣ не указъ, куда вздумается, туда и пойдешь: то на мызу, то на ярмарку куда-нибудь. А съ жидками, говорю тебѣ, можно все сдѣлать... Вотъ уже девятый мѣсяцъ я такъ...

и ничего; живетъся какъ-то. Вотъ другіе, такъ тѣ въ Варшаву ушли. Въ Варшаву ихъ тянетъ. Ну, и пускай ихъ! А я, говорю вамъ, Аннушка, что и здѣсь недурно...

— Пора уже идти,—сказала Ганка.

— А гдѣ-же ты живешь, Аннушка? У этой старухи?

— У меня еще нѣтъ никакого пристанища...

— А мѣста не совѣтую, Аннушка, искать, потому сегодня про Валеру слухъ по всему базару прошелъ, и никто васъ не приметъ; а приходите лучше ко мнѣ, спросите въ Утратѣ <sup>1)</sup> Цалика, а тамъ какъ-нибудь сойдемся... Какъ вы думаете?

— Надо уже идти,—безсмысленно повторила еще разъ дѣвушка.

Цаликъ выпустилъ ея руку и покачалъ головой.

— Смотрите, пропадете вы, Аннушка, пропадете черезъ эту самую гордость вашу.

Ганка ничего не отвѣтила, только дернула еще сильнѣе старуху за рукавъ и сказала:

— Что-же, идете, аль нѣтъ, а то я одна уйду.

Янова посмотрѣла на нее осовѣлыми глазами.

— Куда панна собирается идти?

— Къ мясничихѣ пойду.

— Ну, такъ пусть панна сама идетъ, потому что я туда не пойду.

И снова отвернулась къ стойкѣ.

— Какъ забрали это ему лобъ, говорю вамъ, пани Шапсева, какъ увидѣла это я,—такая, говорю вамъ, такая меня взяла жалость, что я тутъ и заревѣла...

Дѣвушка вышла. Голова у ней невѣдомо отчего кружилась:—отъ рюмки-ли анисовой, отъ жары-ли или отъ рѣчей Цалика... На улицѣ уже было совѣмъ темно; вдали тускло мерпали четыре фонаря, горѣвшіе на городскомъ рынкѣ. Нечего было и думать идти къ мясничихѣ ночью. Она сходитъ завтра.

Ганка побрела серединой улицы и остановилась. «Завтра... А куда она сейчасъ пойдетъ? Гдѣ ночевать будетъ?..» Тутъ дверь кабака съ шумомъ распахнулась, и на порогѣ его показался Цаликъ. Онъ внимательно посмотрѣлъ вдоль улицы направо и налево. Дѣвушка бросилась подъ ворота и ждала, пока онъ пройдетъ. Только когда Цаликъ значительно уда-

<sup>1)</sup> Часть города.

лился, она вышла и побрела въ противоположную сторону, куда глаза глядятъ.

Вечеръ былъ тихій, теплый; влажная, бѣлесоватая мгла низко разстилалась надъ землею. Откуда-то доносился скрипъ колодезнаго ворота и смѣхъ у водоема. Около часа шла она такъ, останавливаясь, возвращаясь, какъ заблудившаяся овца, отбившаяся отъ стада. Въ низкихъ окнахъ деревянныхъ домиковъ виднѣлись люди, суетившіеся у своихъ очаговъ. Кой-гдѣ уже собирались ужинать; пахло свѣжимъ картофелемъ и растопленнымъ саломъ.

Какъ днемъ отъ людей, такъ теперь отъ этихъ дверей и оконъ Ганка отворачивала голову. Она знала, что ни одно изъ этихъ оконъ не откроется для нея, не отворится ни одна дверь, чтобъ впустить ее отдохнуть въ мирномъ уголкѣ. Нѣсколько черствыхъ булокъ не утолили ея голода, а тутъ и нога стала сильнѣй донимать ее. Ганка, однако, все шла впередъ, потому что ей негдѣ было останавливаться. Но вдругъ она почувствовала запахъ только что скошенной травы и очутилась на одномъ изъ подгородныхъ луговъ, на которомъ были раскиданы копны высохшаго сѣна. Подъ одной изъ такихъ копенъ она сѣла и прислонилась спиной.

«... Лишь только утро настанетъ, она сейчасъ-же пойдетъ къ мясничихѣ, — сама пойдетъ, будетъ просить, умолять и ужъ непременно найдетъ службу. Нѣтъ, никто не соблазнить ее на распутную жизнь... Руки себѣ натретъ до живого мяса, а дурной дорогой не пойдетъ... Пусть, что хочетъ, говоритъ Цаликъ и всѣ другіе, а она все-таки не пойдетъ, не пойдетъ по дурной дорогѣ... Таково ея твердое рѣшеніе. Господа Бога въ помощь призоветъ и святаго Антонія... Ахъ, Господи Іисусе Христе, и ты, святой Антоній!.. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа... Отче нашъ, иже еси...» Она глубже зарылась въ сѣно, прилегла и уснула.

Сонъ ея былъ тяжелый и мучительный.

Ей снилось, что отецъ ея, старикъ Кацперъ Блахажъ, сапожникъ изъ села Пабянецъ, шьетъ ей башмачки... такіе махонькіе башмачки. Онъ шьетъ ихъ, шьетъ, молоткомъ гвоздики вколачиваетъ, дратву на крестъ стягиваетъ, колышки строгаешь, и все это ей на дорогу, потому что она въ «побыть» идетъ... И такая еще она маленькая дѣвочка, такая маленькая, что ей



еще и десяти годков нѣтъ... Мать ей чистенькую рубаху надѣваетъ, косу заплетаетъ; старшая сестра для нея передникъ стираетъ, старшій братъ телѣжку ладить, и все это ей въ «по-быть»... Пришелъ ксендзъ—пробствъ, пѣсни съ органистомъ поетъ, святой водой возъ кропитъ, а тутъ какъ ударить въ колоколь... Она вздрогнула всѣмъ тѣломъ и открыла глаза.

Ночной вѣтеръ разогналъ туманъ куда-то въ сторону. Надъ ней виситъ темный голубой сводъ, а большая звѣзда горитъ на немъ, какъ золотая свѣчка. Луна уже склонилась къ за-паду, а весь лугъ вдали, казалось, какъ водой залитъ, — по-крытъ былъ серебристымъ туманомъ. Гдѣ-то по близости ко-ростель отзывается... Сырой холодъ до костей пронизываетъ...

Она съежилась, перевернулась на другой бокъ и снова уснула.

И снится ей снова, что кругомъ нея бурная вода бушуетъ и все выше и выше поднимается, а она стоитъ въ ней и го-лову подъ водой держитъ, и вотъ, вотъ захлебнется... И только она вынырнетъ, только выставитъ голову изъ подъ воды, какъ сверху откуда-то падаетъ камень и падаетъ ей прямо на го-лову. И она кровью обливается и снова ко дну идетъ.

Вода все бушуетъ и бушуетъ, холодъ пронизываетъ ей тѣло. Вотъ, вотъ она уже достигаетъ берега, хватается за камышъ, поднимаетъ изъ воды голову, вдыхаетъ полною грудью, смот-реть:—на берегу толпа народа, и каждый изъ нихъ держитъ камень въ рукѣ и ждетъ только, чтобы бросить въ нее. Она протягиваетъ руки и жалостно проситъ:—Добрые, милые люди вельможные панове! Не кидайте больше камней!.. Дайте мнѣ только до берега добраться, дайте изъ воды выбраться, пусть я только изъ этой глубины на свѣтъ Божій выйду!..—Камышъ шелеститъ у берега; позади ея пучина бушуетъ. Она хватается за водоросли, барахтается, наконецъ, достигаетъ берега... Какъ вдругъ—бухъ!..—Забушевало все кругомъ... Огромный камень попалъ въ ея голову, она свалилась назадъ и захлебнулась...

А народъ на берегу смѣется, хлопаетъ въ ладоши. И вода все шумитъ надъ нею, и камышъ скрипитъ у берега...

Она очнулась отъ сна. Сердце сильно стучало; въ горлѣ пересохло, точно отъ сильнаго крика. Она протерла глаза и сѣла.

Было уже утро. Небо зарумянилось на востокъ. Дикіе гуси, кормившіеся передъ отлетомъ не подалеку на жнивѣ, сорвались теперь съ громкимъ гоготаньемъ и, вытянувшись

длинной вереницей, колыхались въ тихомъ воздухѣ, какъ лента, съ одной стороны вызолоченная лучами восходящаго солнца, а съ другой синяя, отъ синихъ луговыхъ тумановъ.

Дѣвушка приподнялась и глядѣла на нихъ.

Лента удалялась все дальше, все выше, и отъ нея доносились голоса, точно звуки отдаленной музыки. Только изрѣдка рѣзкій голосъ гусака нарушалъ эту музыку и широко разносился въ утренней тишинѣ.

Зрачки у Ганки расширились. Она открыла уста, глубоко вздохнула; худая, тощая грудь ея высоко поднялась; волосы ея еще влажные отъ ночной росы, рассыпались по плечамъ и лицу, а изъ груди ея вырвался какой-то короткій, отрывистый звукъ, какъ-бы невольный крикъ подавленной жажды свободы.

Она вышла на дорогу, которая вела въ городъ. Городъ просыпался. На дворахъ блеяли козы, кой-гдѣ изъ трубъ вился тонкій дымокъ. Ганка шла медленно, не отрывая глазъ отъ земли. Въ головѣ ея то толпились видѣнные ею сны и летящiе гуси, то вдругъ гдѣ-то шумѣло, словно громада водъ...

. . . . .

*(Продолженiе будетъ).*

# УЧЕНІЕ ОБЪ ЭНЕРГІИ И ТЕОРІЯ СЧАСТЬЯ.

## ПРЕДИСЛОВІЕ РЕДАКЦІИ.

Еще О. Контъ высказалъ, что обобщенія низшихъ наукъ не могутъ объяснять всей цѣлости явленій изъ области высшихъ наукъ; всегда будетъ остатокъ, подлежащій вѣдѣнію только этой высшей науки. Такъ, законы физики не могутъ покрыть всѣхъ явленій химіи, а законы химіи не могутъ покрыть собою всѣхъ явленій біологіи; законы біологіи—всѣхъ явленій психологіи, общественной науки или исторіи. Но это не мѣшаетъ низшимъ наукамъ быть весьма важными подспорьями высшихъ наукъ. Физика является могучимъ подспорьемъ химіи, и обѣ вмѣстѣ являются важнѣйшими фундаментами біологіи.

Какъ читатели увидятъ далѣе, попытки примѣненія ученія объ энергіи къ человѣческому удовольствію и страданію дѣлались въ психологіи какъ нашей, такъ и западно-европейской. Особенность автора этой статьи состоитъ въ томъ, что онъ тѣсно связываетъ эту-же постановку съ этическими цѣлями.

Но, спроситъ читатель, что-же можетъ дать намъ примѣненіе къ области чувствованій ученія объ энергіи, если самое понятіе энергіи есть понятіе «неизвѣстнаго»? Въ самомъ дѣлѣ, наука опредѣляетъ энергію какъ способность производить работу, но что такое это «нѣчто», производящее работу,—наука сознательно оставляетъ безъ отвѣта. И она права. Она изучаетъ не сущности, а законы явленій, и въ данномъ случаѣ именно законы работы этого неизвѣстнаго «нѣчто», называемаго энергіей. Стало быть, читатели не должны ожидать отъ предлагаемаго очерка—опредѣленія сущности того «нѣчто», которое совершаетъ жизненную работу: это дѣло философіи и,



въ частности, метафизики—опредѣлить эту сущность. Предлагаемый этюдъ указываетъ лишь на работу этой сущности, на законы этой работы, въ связи съ нашимъ счастьемъ, насколько оно извѣстно каждому изъ опыта.

Читатели увидятъ, что примѣненіе авторомъ теоріи энергіи къ ученію о счастіи въ деталяхъ своихъ ново и оригинально, но, какъ мы уже сказали, въ основномъ принципѣ оно имѣло предшественниковъ. У насъ въ Россіи, это ученіе подробно примѣнилъ профессоръ Н. Я. Гротъ, въ своемъ обширномъ трактатѣ: «Психологія чувствованій». Его прекрасная формула для механическаго выраженія удовольствій и страданій является развитіемъ и систематической выработкой идей, высказанныхъ Дюмономъ, Горвицемъ, Вундтомъ и особенно Гербертомъ Спенсеромъ.

«Основаю для образованія различныхъ чувствованій,—говоритъ Гротъ,—должно считать отношеніе работы какой-нибудь ткани организма къ ея энергіи».

Горвицъ и Вунтъ различали работу тканей на положительную и отрицательную: положительная работа состоитъ въ расходованіи вещества (или энергіи) тканей, причемъ соединенія менѣ прочныя, менѣ устойчивыя переходятъ въ болѣе прочныя. Отрицательная-же, наоборотъ, состоитъ въ накопленіи вещества (энергіи), въ образованіи тѣхъ сложныхъ и неустойчивыхъ соединений, которыя затѣмъ понадобятся для положительной работы. Гербертъ Спенсеръ еще ранѣе, въ своихъ «Основаніяхъ психологіи» замѣтилъ, что бездѣйствіе большей части органовъ даетъ страданіе, какъ и чрезмѣрная ихъ дѣятельность. Страданіе отъ бездѣятельности зависитъ, очевидно, отъ излишняго накопленія энергіи (отрицательной работы) сравнительно съ положительной работой, и потому можетъ назваться отрицательнымъ страданіемъ, наоборотъ,—избытокъ положительной работы тканей (стало-быть, не пополняемой достаточнымъ приходомъ) влечетъ положительное страданіе. Отсюда, по Спенсеру, удовольствіе является результатомъ умѣренной работы; по Дюмону-же, удовольствіе мы имѣемъ тогда, когда сумма силъ, составляющихъ наше «я», оказывается увеличенной, а между тѣмъ это увеличеніе неспособно произвести разложеніе этихъ силъ; наоборотъ, страданіе является результатомъ уменьшенія количества силъ. Вы видите, что это опредѣленіе еще тѣснѣе, чѣмъ у Спенсера: здѣсь источникомъ удовольствія является только накопленіе, а источникомъ страда-

нія—недостатокъ энергіи; у Спенсера-же, источникомъ страданія является или недостатокъ накопленія или излишекъ накопленія (недостатокъ работы); и, наконецъ, у Грота все это принимаетъ стройную, систематическую форму: страданіе у него является, какъ и у Спенсера, продуктомъ двухъ причинъ: или недостаткомъ работы (излишкомъ накопленія) — отрицательное страданіе, или излишкомъ траты (недостаткомъ накопленія)—положительное страданіе, удовольствіе-же у него является тоже въ двухъ формахъ: удовольствіе отъ соотвѣтствія траты предшествующему накопленію (положительное удовольствіе) и удовольствіе отъ соотвѣтствія накопленія предшествующей тратѣ (отрицательное удовольствіе).

Если разобрать подробнѣе этотъ послѣдній источникъ удовольствія, то мы, пожалуй, и усумнимся въ его точности: развѣ, въ самомъ дѣлѣ, накопленіе энергіи даетъ удовольствіе лишь настолько, насколько оно пополняетъ предшествующую трату? Стало быть, если, напр., человекъ поѣлъ или отдохнулъ, но не настолько, чтобы вся предъидущая трата пополнилась, то онъ не чувствовалъ удовольствія въ то время, когда ѣлъ или отдыхалъ? Конечно, чувствовалъ. Другой вопросъ: что получится въ результатѣ этого недостатка возобновленія силъ? Въ концѣ концовъ, можетъ получиться болѣзнь, страданіе, смерть. Но вотъ тутъ мы и видимъ различіе между двумя понятіями: удовольствія и счастья. Человекъ могъ получить удовольствіе отъ неполнаго насыщенія, но, въ сущности, онъ въ это время былъ несчастенъ, потому что это удовольствіе должно было неизбежно замѣниться несчастьемъ, совершенно также, какъ если-бы онъ получилъ удовольствіе отъ какого-либо отравляющаго наркотика, или яда, медленно истощающаго организмъ, вродѣ алкоголя. Формула Грота имѣетъ въ виду, очевидно, не просто удовольствіе, а счастье.

Авторъ предлагаемаго этюда отдѣляетъ понятіе удовольствія отъ понятія счастья, но въ этомъ первомъ этюдѣ ограничивается пока подробнымъ разборомъ счастья, даваемого расходомъ энергіи (положительное удовольствіе, по Гроту), и страданія, причиняемаго излишкомъ накопленія надъ тратой (положительное страданіе). Однако, и эта разработка представитъ читателю не мало очень интересныхъ и поучительныхъ перспективъ, тѣсно связанныхъ съ вопросами этики.

Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что авторъ въ основу этики кладетъ, именно, это-же начало положительнаго удо-

вольствія и положительнаго страданія, отчасти подобно тому, какъ недавно умершій и выдающійся французскій философъ Гюйо пытается положить въ основу этики «расширеніе жизни».

Л. О.

### ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА.

Желая изслѣдовать явленія столь сложныя, какъ жизнь отдѣльно взятаго человѣка и цѣлаго общества людей, мы должны прежде всего прослѣдить, какую роль въ этихъ явленіяхъ играютъ наилучше намъ извѣстные факторы, свойства которыхъ стали уже предметомъ точныхъ изслѣдованій. Такимъ факторомъ, безъ всякаго сомнѣнія, представляется, такъ-называемая, въ механикѣ—энергія.

Всѣ движенія, совершаемыя человѣкомъ, сопровождаются преобразованіемъ энергіи и переходомъ ея изъ однихъ веществъ въ другія,—какъ и во всѣхъ явленіяхъ неорганическаго міра. Конечно, та часть психическихъ и социальныхъ явленій, которыя могли-бы объясниться закономъ сохраненія энергіи, весьма мала, сравнительно съ громаднымъ ихъ разнообразіемъ, тѣмъ не менѣе то, что удастся объяснить, на основаніи этого закона, будетъ объяснено окончательно, и не потребуетъ возврата къ разъ рѣшеннымъ вопросамъ. То-же, что не будетъ сведено на законъ сохраненія энергіи, и въ чемъ необходимо будетъ признать проявленіе другихъ факторовъ, представить уже сравнительно менѣе сложный предметъ для изслѣдованій. Этотъ приемъ послѣдовательнаго устраненія изъ сложныхъ явленій всего того, что объясняется извѣстными законами, съ цѣлью возможно больше облегчить рѣшеніе трудныхъ и сложныхъ вопросовъ, признается необходимымъ во всѣхъ точныхъ наукахъ, которыя имѣютъ дѣло съ неодушевленнымъ міромъ. Но еще настоятельнѣе онъ долженъ быть необходимъ при изслѣдованіи нравственной и социальной жизни человѣчества, представляющейя результатомъ и другихъ факторовъ кромѣ всѣхъ тѣхъ, которые являются въ жизни неодушевленнаго міра. Настоящій трудъ представляетъ попытку указать на то, какимъ образомъ можно выдѣлить изъ вопроса о счастіи, а быть можетъ, и изъ этики то, что выводится, какъ прямое сохраненіе энергіи.

---



## I.

Совершить работу называется въ механикѣ преодолѣть нѣкоторое сопротивленіе на извѣстномъ протяженіи. Величина работы, совершенной даннымъ тѣломъ, опредѣляется произведеніемъ пройденнаго тѣломъ пространства на величину сопротивленія, которое при этомъ преодолевалось тѣломъ, причемъ единицей этого произведенія принято считать пудофутъ. Энергіей тѣла называется его способность совершить нѣкую работу. Если тѣло способно совершить данную работу немедленно, какъ только оно встрѣтитъ сопротивленіе, то соотвѣтствующая часть его энергіи называется кинетической энергіей (пушечное ядро, встрѣтивъ при своемъ движеніи сопротивленіе, немедленно совершаетъ работу, состоящую въ уничтоженіи этого сопротивленія); если-же для того, чтобы совершить работу, тѣло должно выйти изъ состоянія покоя, или измѣнить направленіе своего движенія, или-же если для этого необходимы измѣненія въ условіяхъ, въ которыхъ тѣло находится, то часть его энергіи, соотвѣтствующая этой работѣ, называется потенціальной энергіей (тѣло привѣшенное на нити, порохъ передъ выстрѣломъ). Въ предѣлахъ нашего опыта и наблюденія, энергія не разрушима, она только переходитъ изъ кинетическаго состоянія въ потенціальное, и наоборотъ, и переходитъ отъ одного тѣла въ другое. Энергія однородна съ работой и, подобно работѣ, измѣряется пудофутомъ. Всѣ, безъ исключенія, животныя содержатъ въ себѣ нѣкоторое количество потенціальной энергіи и обладаютъ способностью расходовать эту энергію, совершая опредѣленное количество вѣншей или внутренней, по отношенію къ ихъ тѣлу, работы. Вѣроятно, энергія эта состоитъ изъ химической энергіи веществъ, входящихъ въ составъ тѣла животного, и освобождается при переходѣ нѣкоторыхъ менѣе прочныхъ соединений въ болѣе прочныя; хотя, вѣроятно, въ составъ энергіи животныхъ входятъ и другіе роды энергіи, кромѣ химической. Энергія эта накапливается питаніемъ организма и, быть можетъ, измѣненіями термическихъ, электрическихъ, магнитныхъ и другихъ свойствъ среды, окружающей организмъ. Животныя расходуютъ накапливающуюся въ ихъ тѣлѣ энергію, совершая невидимую для нашихъ глазъ работу, происходящую внутри ихъ тѣла, или видимую, при которой

все тѣло животнаго или его части измѣняютъ свое положеніе въ пространствѣ.

Какъ саркода, ползущая подѣ стекломъ микроскопа, такъ и волеѣ, терзающій свою жертву, расходуютъ свою потенциальную энергію, преодолевая сопротивленія окружающей среды и вѣса собственнаго тѣла.—Энергія расходуется животными не только при совершеніи ими перемѣщеній, но и при другихъ явленіяхъ, происходящихъ въ ихъ организмѣ, и даже при такихъ, которыя мы относимъ къ области нервныхъ явленій. Весьма вѣроятно, что преобразованиемъ и тратой энергіи сопровождается полученіе всякаго впечатлѣнія, всякое проявленіе воли, всякая работа мысли. Раздраженіе, получаемое какимъ-нибудь органомъ чувства отъ внѣшняго міра, состоитъ въ переходѣ энергіи извнѣ въ организмъ, или наоборотъ; этотъ толчекъ, быть можетъ минимальный по своимъ размѣрамъ, служитъ началомъ преобразования энергіи въ нервахъ, нервныхъ центрахъ и мускулахъ, причемъ количество освобождаемой энергіи можетъ быстро возрастать. Въ результатѣ можетъ получаться внѣшняя работа организма въ нѣсколько сотъ пудофутовъ, хотя первоначальный толчекъ по размѣрамъ былъ практически неизмѣримо малъ. Неоднократно случается, что вся энергія, освободившаяся въ тѣлѣ животнаго при полученіи впечатлѣнія, переходитъ въ состояніе потенциальной энергіи въ нервныхъ центрахъ его; нерѣдко животное, получившее впечатлѣніе, не совершаетъ никакихъ движеній до соотвѣтствующаго момента, когда оно сразу освобождаетъ всю массу скопившейся въ немъ энергіи. Самое поверхностное наблюденіе надъ жизнью животныхъ приводитъ къ заключенію, что расходваніе ими энергіи далеко не всегда направлено непосредственно къ поддержанію ихъ жизни; ими совершается много движеній, которыя вызываются, главнымъ образомъ, потребностью израсходовать накопившуюся въ ихъ тѣлѣ энергію. Питаніе организма неоднократно является случайнымъ результатомъ движеній, имъ совершаемыхъ, чему примѣромъ могутъ служить инфузоріи, глотающія что ни попаало и выбрасывающія негодныя для питанія вещи безъ измѣненія, или другія, движущіяся въ разныхъ направленіяхъ, пока случай не столкнетъ ихъ съ предметомъ годнымъ для питанія. Въ каждомъ организмѣ, при нормальныхъ условіяхъ его существованія, накапливается значительно болѣе энергіи, чѣмъ сколько-бы ея было необходимо для поддержанія его

жизни, т. е., для пріисканія себѣ пищи, для избѣжанія неблагоприятныхъ вліяній среды и преслѣдованія обыкновенныхъ его враговъ. Необходимость израсходовать этотъ избытокъ энергіи представляетъ одну изъ наиболѣе настоятельныхъ потребностей животныхъ; если животному помѣшать въ этомъ, то послѣдствія не замедлятъ обнаружиться въ видѣ ненормальныхъ ожиреній, гипертрофіи нѣкоторыхъ органовъ и неоднократно тотчасъ-же сказываются унылымъ видомъ животного. Свойство животныхъ—накапливать избытокъ энергіи—настолько общее, что при развитіи организмовъ должна была дѣйствовать какая-нибудь постоянная причина, способствовавшая выработкѣ этого свойства, иначе, это противорѣчило бы закону экономіи въ природѣ, на который неоднократно указывали естествоиспытатели. Весьма вѣроятно, что избытокъ энергіи былъ необходимъ для того, чтобы увеличить вѣроятность успѣха при борьбѣ животныхъ за существованіе. Отдѣльныя животныя или цѣлыя ихъ разновидности, обладающія большимъ количествомъ этого избытка, должны были совершать рядъ движеній и проявлять другимъ образомъ свою дѣятельность даже послѣ того, когда было достигнуто все, въ данный моментъ необходимое, для поддержанія ихъ существованія. Направленіе этой дѣятельности могло опредѣляться слабыми впечатлѣніями или внутренними возбужденіями, которыя, вслѣдствіе своей сравнительной слабости, не могли вліять на дѣйствія животного, пока болѣе настоятельныя его потребности не были удовлетворены; такимъ образомъ, избытокъ энергіи долженъ былъ вести къ упражненію органовъ, получающихъ эти слабыя впечатлѣнія. Кромѣ того, животное, совершая больше перемѣщеній въ средѣ, въ которой оно обитало, должно было приходить въ прикосновеніе съ большимъ числомъ предметовъ и попадать въ различные мѣста этой среды, отличающіяся другъ отъ друга то содержаніемъ растворенныхъ въ средѣ примѣсей, то термическими, магнитными и другими, быть можетъ еще неизвѣстными, свойствами среды. Болѣе разнообразныя условія, вліяющія вслѣдствіе этого на такую разновидность, должны были вызывать усиленный подборъ, благодаря чему, переживающія особи обладали лучшимъ приспособленіемъ къ условіямъ жизни, могли лучше пережить ихъ измѣненія и могли съ большимъ успѣхомъ выдерживать борьбу за существованіе, чѣмъ разновидности, не обладавшія такимъ-же количествомъ



избытка энергіи... Если принято считать стоящими на высшей степени развитія тѣхъ животныхъ, которыя обладаютъ болѣе развитыми органами чувствъ и большимъ разнообразіемъ въ приспособленіи членовъ,—которыхъ психическая жизнь должна быть, слѣдовательно, богаче, то можно считать закономъ то, что при разныхъ остальныхъ условіяхъ, чѣмъ большимъ избыткомъ энергіи обладала данная разновидность, сравнительно съ остальными, тѣмъ болѣе она была способна къ прогрессу. Какъ было сказано, стремленіе къ расходованію избытка энергіи составляетъ одну изъ наиболѣе насущныхъ потребностей животныхъ; его нельзя смѣшивать со стремленіемъ къ полученію наибольшаго числа пріятныхъ впечатлѣній и избѣжанію страданій или къ тому, что обыкновенно считаютъ счастливою жизнью, и это потому, что дѣятельность организма, не имѣющая объективной цѣли и побуждаемая только потребностью израсходовать избытокъ энергіи, могла, съ одинаковою вѣроятностью, приводить къ пріятнымъ какъ и къ непріятнымъ впечатлѣніямъ. Его можно назвать стремленіемъ къ наиболѣе полной и напряженной жизни. Лишеніе организмовъ возможности свободно расходовать избытокъ ихъ энергіи, съ объективной, по отношенію къ нимъ, точки зрѣнія, можно назвать несчастіемъ, такъ какъ животное при этомъ теряетъ возможность достигнуть большаго развитія; съ субъективной-же стороны, въ организмахъ, достигшихъ большаго развитія и обладающихъ большимъ избыткомъ энергіи, такое лишеніе вызываетъ чувство полнаго несчастія, по крайней мѣрѣ, насколько можно судить по наружнымъ признакамъ. Замѣтимъ, что координированныя движенія животныхъ, имѣющія цѣлью пріисканіе пищи, преобразование этой пищи, защиту отъ хищника и т. д., могли опредѣляться естественнымъ подборомъ ихъ движеній, вызванныхъ только потребностью израсходовать избытокъ энергіи.

Когда отдѣльныя особи данной разновидности пріобрѣтали привычку къ нѣкоторымъ координированнымъ движеніямъ, которыя за ними обезпечивали успѣхъ въ борьбѣ, то изъ остальныхъ особей той - же разновидности тѣ имѣли преимущество передъ другими, которыя обладали свойствомъ подражательности. Вслѣдствіе этого естественный подборъ долженъ былъ во многихъ случаяхъ развивать и усиливать наклонность къ подражанію, которая у нѣкоторыхъ видовъ животныхъ достигла большой силы (стадное чувство у травоядныхъ и птицъ) и

служила главнымъ и единственнымъ педагогическимъ средствомъ при воспитаніи дѣтенышей; на примѣръ, птицы учатъ летать своихъ птенцовъ, летая передъ ними. Вслѣдствіе этого подражательность, способствуя приобрѣтенію полезныхъ привычекъ, должна была стать однимъ изъ орудій прогресса <sup>1)</sup>).

## II.

Человѣкъ обладаетъ нервами и мускулами; въ его организмѣ, какъ и въ организмѣ животныхъ, скопляется потенціальная энергія, и онъ столь-же настоятельно чувствуетъ потребность расходовать ея избытокъ. Эта потребность чувствуется человѣкомъ, какъ и животными, независимо отъ тѣхъ удовольствій и наслажденій, которыя ему можетъ доставить дѣятельность. Каждый изъ насъ, если онъ сколько-нибудь обладаетъ наклонностью къ самонаблюденію, замѣтилъ, что послѣ отдыха, нами чувствуется потребность нѣкоторой дѣятельности, причемъ, первоначально, въ нашемъ сознаніи нѣтъ даже представленія о томъ, чего мы стараемся достигнуть этой дѣятельностью, или чего желаемъ избѣжать. Въ дѣтскомъ возрастѣ, главнымъ образомъ, проявляется наклонность къ мускульной дѣятельности и къ полученію впечатлѣній, причемъ выборъ между этими впечатлѣніями никогда не затрудняетъ ребенка; если-же онъ отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ отказывается, то единственно благодаря чувству страха. Вспомнимъ наши юные годы, вспомнимъ дѣтей, которыхъ намъ пришлось наблюдать, и придемъ къ заключенію, что ребенокъ испытываетъ одно изъ наиболѣе тяжелыхъ чувствъ, доступныхъ для него, чувство полнаго несчастья, если его лишить свободы въ то время, когда онъ послѣ отдыха захочетъ порѣзвиться, т. е., когда его лишить возможности израсходовать избытокъ своей энергіи. Молодой человѣкъ, которому приходится сидѣть на школьной скамьѣ въ то время, когда у него начинается проходить его школьный возрастъ, чувствуетъ себя совершенно несчастнымъ, не смотря на то, что онъ можетъ находиться въ самой луч-

---

<sup>1)</sup> Тардъ считаетъ подражательность сильнѣйшимъ орудіемъ прогресса въ современныхъ культурныхъ обществахъ и построилъ на подражаніи цѣлую соціологическую систему.

шей обстановкѣ. Это объясняется отсутствіемъ поприща, на которомъ онъ могъ - бы расходовать порождающіеся въ немъ новые запасы энергіи, при условіяхъ жизни, въ которыхъ онъ находится. Весьма часто человѣкъ въ такомъ положеніи не имѣетъ вѣрнаго представленія объ удовольствіяхъ, которыя можетъ доставить какая-нибудь опредѣленная дѣятельность, зная о нихъ только по наслышкѣ, и каждый неиспорченный молодой человѣкъ скажетъ, что онъ ищетъ не удовольствій, но дѣятельности и скажетъ правду. Предположимъ, что человѣкъ, послѣ выхода изъ школы, пожилъ уже практической жизнью, но еще холостъ, не всѣ роды его энергіи нашли себѣ исходъ въ соотвѣтствующей дѣятельности. Онъ будетъ тосковать, не смотря на самыя лучшія условія жизни; тоска его нерѣдко доходитъ до желанія покончить съ собою. Подобное состояніе только временно улучшается эротическими наслажденіями, которыя онъ можетъ себѣ доставить; современемъ и этотъ палліативъ перестаетъ помогать. Единственное радикальное средство противъ этого недуга есть обзаведеніе семьей; въ большинствѣ случаевъ люди это сознаютъ, они мечтаютъ о семейной жизни, какъ о счастьи, хотя въ то-же время могутъ не быть влюбленными и могли имѣть случай присмотрѣться къ неприятностямъ и тяжелымъ обязанностямъ, которыя влечетъ за собою семейная жизнь. Подобно этому, дѣвушка, достигшая полной зрѣлости, чувствуетъ неудовлетворенность жизнью, пока не станетъ матерью; она желаетъ замужества, хотя при этомъ можетъ вполне хорошо знать, что при родахъ ее ожидаютъ большія страданія, и что воспитаніе дѣтей потребуетъ отъ нея многихъ заботъ и лишеній. Для человѣка, привыкшаго къ умственному труду, этотъ трудъ составляетъ самую настоящую потребность независимо отъ его результатовъ; самолюбіе, желаніе разъяснить интересный вопросъ, начинаютъ дѣйствовать тогда уже, когда трудъ начать, и служить стимулами, опредѣляющими его направленіе, но не вызывающими его.

Человѣкъ, привыкшій къ умственному труду, но не лишенный возможности продолжать раньше начатыя работы, будетъ расходовать свои мыслительныя силы совершенно безцѣльно, онъ будетъ рѣшать задачи, не имѣющія никакого ни теоретическаго, ни практическаго значенія, далеко отстоящія отъ его специальности, лишь-бы израсходовать накопившійся въ немъ избытокъ энергіи.

Потребность эта нерѣдко остается до самыхъ позднихъ



лѣтъ въ человѣкѣ, до того времени, когда дѣятельность его не можетъ ему доставить ничего новаго или привлекательнаго; нерѣдко встрѣчаются старики, которымъ жизнь дала все, что могла дать, которые отъ нея ничего уже не ждутъ, и однако-же эти люди упорно работаютъ до самой своей кончины. Сдѣлаемъ одно замѣчаніе, которое впоследствии будетъ для насъ имѣть большое значеніе, относительно распредѣленія энергіи въ организмъ человѣка. Избытокъ энергіи не обладаетъ свойствомъ переходить изъ одной части организма въ другую; если-же это иногда и случается, то въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ. Этотъ законъ можетъ каждый повѣрить на себѣ, когда, уставъ за какимъ-нибудь дѣломъ и не имѣя охоты и даже силъ продолжать его, онъ возьмется за другое дѣло; чѣмъ оно будетъ болѣе отличаться отъ перваго, тѣмъ легче будетъ исполняться имъ. Изъ этого заключаемъ, что, не смотря на усталость, которую мы чувствовали, въ насъ былъ еще запасъ энергіи, если-же мы имъ не могли пользоваться, то это должно было происходить вслѣдствіе того, что энергія не могла изъ однихъ нашихъ органовъ перейти въ другіе. Нерѣдко силы всего организма могутъ истощиться до послѣдней возможности, между тѣмъ въ одной его части оказывается свободный къ расходованію запасъ энергіи; подобные факты наблюдаютъ нерѣдко при агоніи, когда умирающій обнаруживаетъ сравнительно большую ясность ума. Изложенныя только что наблюденія, которыя каждый пожившій человѣкъ имѣлъ возможность дѣлать надъ собою и другими, приводятъ къ заключенію, что невозможность свободно расходовать накапливающуюся въ человѣкѣ энергію порождаетъ недовольство жизнью, и, наоборотъ, если ему предоставлена эта возможность, то удовлетворено одно изъ главныхъ условій доступнаго для него счастья. Доказать это положеніе, при современномъ состояніи психофизики и соціологіи, въ общемъ видѣ и непосредственно не представляется возможнымъ. Приходится ссылаться на самонаблюденіе, но подобный родъ доказательства, не смотря на свои общіе недостатки, имѣетъ въ данномъ случаѣ еще и то неудобство, что сознаніе человѣка рѣдко говоритъ, есть-ли въ немъ избытокъ энергіи и какого рода. Мы постараемся, однако, это сдѣлать, по крайней мѣрѣ, для частныхъ случаевъ, причемъ намъ необходимо будетъ ввести одну гипотезу — именно, что число самоубійцъ въ данномъ обществѣ возрастаетъ съ количествомъ лицъ, недовольныхъ жизнью въ этомъ

обществѣ и, слѣдовательно, что это число можетъ служить указаніемъ степени, до которой достигъ пессимизмъ въ данномъ обществѣ.

Въ виду того, что число самоубійцъ мало (въ большинствѣ государствъ Европы оно менѣе 0,05% всего населенія), могло-бы показаться неосновательнымъ дѣлать заключенія о настроеніи общества, на основаніи числа столь рѣдкихъ фактовъ. — Но, если принять во вниманіе, что самоубійство можетъ состояться только при стеченіи многихъ исключительныхъ обстоятельствъ, то придемъ къ заключенію, что наше предположеніе имѣетъ большую степень вѣроятности. Въ самомъ дѣлѣ, для того, чтобы послѣдовалъ актъ самоубійства, необходимо, чтобы чувство недовольства жизнію достигло столь значительнаго напряженія, чтобы оно смогло побороть чувство самосохраненія: такая напряженность чувства никогда не можетъ продолжаться болѣе нѣсколькихъ минутъ заразъ и доступна только исключительнымъ людямъ.

Затѣмъ необходимо, чтобы какъ разъ въ тотъ моментъ, когда чувство это достигло надлежащаго напряженія, у человѣка находилось подъ рукою какое-нибудь орудіе смерти, не внушающее особаго страха или отвращенія, чтобы онъ не опасался послѣдствій совершаемаго поступка въ загробной жизни, чтобы въ его характерѣ была достаточная степень рѣшимости.

Нѣкоторыя изъ сказанныхъ условій встрѣчаются въ людяхъ довольно рѣдко, и мы безъ преувеличенія можемъ считать вѣроятность того, что данный человѣкъ удовлетворяетъ отдѣльно первому и каждому изъ двухъ послѣдующихъ условій, не болѣе  $\frac{1}{10}$ , почему заключаемъ, что вѣроятность совпаденія всѣхъ трехъ условій не болѣе  $\frac{1}{1000}$  \*). Если къ этому прибавимъ еще другія, чисто внѣшнія условія, на которыя мы указывали, то можемъ сказать, что для того, чтобы явился одинъ самоубійца, необходимо, чтобы въ среднемъ было болѣе 10.000 настолько недовольныхъ жизнію, чтобы желать отъ нея избавиться. Затѣмъ очевидно, что, чѣмъ больше степень недовольства жизнію въ обществѣ, тѣмъ больше должна быть вѣроятность самоубійства.

---

\*) По теоріи вѣроятностей, вѣроятность сложнаго событія есть произведеніе вѣроятностей каждаго изъ простыхъ событій.

Разсмотримъ теперь нѣкоторые частные случаи, подтверждающіе высказанное раньше положеніе. Солдаты въ настоящее время находятся въ лучшихъ условіяхъ, чѣмъ большинство населенія; пища хорошая, одежда теплая, трудъ необременительный, состояніе здоровья лучшее — такъ какъ выбираютъ въ солдаты самыхъ здоровыхъ людей, къ услугамъ которыхъ всегда врачебная помощь.

Но за то солдатъ не имѣетъ дѣятельности, соотвѣтствующей его привычкамъ, почему его энергія не находитъ себѣ естественнаго исхода; кромѣ того, все что онъ не дѣлаетъ, не представляетъ для него или никакого, или весьма малый интересъ, его умъ бездѣйствуетъ, заняться-же самовольно тѣмъ, чѣмъ-бы ему хотѣлось, онъ не имѣетъ права и часто даже возможности. Въ этомъ отношеніи военные находятся въ исключительно стѣсненныхъ условіяхъ сравнительно съ остальнымъ обществомъ, вотъ почему между военными слѣдуетъ ожидать большей степени недовольства жизнью, чѣмъ въ остальной части общества; это и сказывается большимъ числомъ самоубійцъ между военными. И такъ \*) въ Пруссіи между мужчинами отъ 20 до 30 лѣтъ съ 1872 до 1878 года на миллионъ военныхъ было самоубійцъ 472 и на миллионъ невоенныхъ 259, т. е., почти вдвое меньше. Въ Италіи, гдѣ число самоубійцъ въ годъ не достигаетъ 75 на миллионъ всего мужскаго населенія, въ періодъ отъ 1871 — 75 года, было въ среднемъ 294 самоубійцы на миллионъ военныхъ. Во Франціи, гдѣ число самоубійцъ въ періодъ 1862 — 1867 года не достигало 200 на миллионъ всѣхъ мужчинъ вообще, было въ среднемъ 510 самоубійцъ на миллионъ военныхъ. Въ Англіи на миллионъ военныхъ оказывается 379 самоубійцъ, между тѣмъ какъ число самоубійцъ на миллионъ всего мужскаго населенія не достигало 107; это тѣмъ болѣе убѣдительно, что въ Англіи не существуетъ воинской повинности, люди поступаютъ въ военную службу по собственному желанію, нельзя, слѣд., объяснить пессимизма англійскихъ военныхъ огорченіемъ вслѣдствіе необходимости подчиняться набору. Впрочемъ, этого нельзя сказать и относительно военныхъ въ другихъ государствахъ: большинство молодыхъ людей въ настоящее время довольно охотно подчиняются

---

\*) Selbstmord. von H. Morselli. 1881.



военной повинности, а бывают при этомъ огорчены не они, но ихъ семьи, лишаясь работника. Какъ другой частный случай, рассмотримъ число самоубійствъ въ три зимнихъ и три лѣтнихъ мѣсяца. Зимой, вслѣдствіе пониженія температуры воздуха, значительное количество энергіи человѣка расходуется на поддержаніе нормальной температуры тѣла, вслѣдствіе чего количество избытка энергіи уменьшается. Хотя внѣшнія условія, стѣсняющія свободное расходование энергіи человѣка, могутъ зимою остаться безъ измѣненій, но такъ какъ самой энергіи меньше, то и степень недовольства жизни должна уменьшиться, а слѣд., и число самоубійцъ должно быть меньше; лѣтомъ будетъ совершенно обратное. Въ самомъ дѣлѣ, въ Италіи на 1000 самоубійствъ, бываетъ ихъ весною 295, лѣтомъ 322, осенью 184 и зимою 199; въ Норвегіи все среднее годичное число самоубійствъ по временамъ года распредѣляется такъ: весною 296, лѣтомъ 390, осенью 233 и зимою 178; въ Голландіи соотвѣтственное число распредѣляется такъ: весною 124, лѣтомъ 115, осенью 71, зимою 77; во Франціи всѣхъ самоубійствъ: весною 16.340, лѣтомъ 17.119, осенью 12.175, зимою 11.497. Для другихъ государствъ мы не можемъ привести данныхъ, такъ какъ въ статистикахъ этихъ государствъ цифры самоубійствъ не распредѣляются по временамъ года.

Во время, предшествующее какому-нибудь политическому перевороту въ данномъ государствѣ, слѣдуетъ предполагать, что общество было стѣснено политическимъ своимъ строемъ, и значительное количество энергіи общества не находило себѣ исхода, почему и количество самоубійцъ должно было въ это время увеличиться сравнительно съ остальными годами. Послѣ переворота, наоборотъ, хотя и политическій строй могъ стать хуже, но число самоубійствъ должно быть меньше, такъ какъ избытокъ энергіи израсходовался на напряженную дѣятельность во время переворота. Въ самомъ дѣлѣ, во Франціи, въ періодъ отъ 1841 до 1846 года включительно, годичное число самоубійствъ было постоянно меньше 3,102, въ 1847 году оно поднялось до 3,647 и въ 1848 упало до 3,301. Съ 1849 до 1851 года оно было меньше 3,301 до 1852 года, когда передъ декабрьскимъ переворотомъ оно поднялось до 3,676, въ 1853 году упало до 3,415. Послѣ этого, во время Наполеоновскаго режима, число самоубійствъ возросло и передъ Франко-Германской войной достигло небывалыхъ до того

размѣровъ, почти 5,000 въ годъ; послѣ войны-же этой, упало до 4,490. Въ большинствѣ нѣмецкихъ государствъ число самоубійствъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ до 1870 года было больше, чѣмъ въ 1871 году, между тѣмъ, какъ въ Австріи, не принимавшей участія во Франко-Нѣмецкой войнѣ, такого колебанія въ этотъ годъ не видно. Въ Пруссіи въ 1847 году и непосредственно предшествовавшихъ ему число самоубійствъ было больше, чѣмъ въ 1848 году; то-же самое показываетъ и статистика Даніи.

Въ женатыхъ людяхъ, обязанныхъ заботиться о существованіи семьи, слѣдуетъ ожидать меньшаго избытка энергіи, чѣмъ въ холостыхъ, почему и женатыхъ самоубійцъ должно быть меньше; въ самомъ дѣлѣ, во Франціи на миллионъ женатыхъ лишаетъ себя жизни 235, на миллионъ холостыхъ того-же возраста — 326, въ Италіи соотвѣтствующія цифры 72 и 87. Между замужними женщинами и дѣвушками такого различія нельзя замѣтить, вѣроятно, потому, что дѣвушки большей частью живутъ въ семьяхъ, а не одиноко, подобно холостякамъ, почему и привести въ исполненіе желаніе самоубійства дѣвушкамъ труднѣе, притомъ дѣвушки не имѣютъ столь часто подъ руками, наиболѣе удобнаго въ этомъ отношеніи, огнестрѣльнаго оружія. За то овдовѣвшія женщины значительно чаще замужнихъ лишаютъ себя жизни. Чтобы убѣдиться, рассмотримъ слѣд. таблицу. На миллионъ тѣхъ и другихъ лишаетъ себя жизни:

	Мужчинъ.		Женщинъ.	
	Женатыхъ.	Вдовцовъ.	Замужнихъ.	Вдовыхъ.
Въ Италіи . . .	71,8	168,6	20,1	29,6
» Франціи . . .	235,1	579,3	67,7	123,4
» Саксоніи . . .	481	1,242	120	240
» Швейцаріи . . .	449	817	71	76

Увеличеніе числа самоубійствъ между вдовцами и вдовами объясняется еще тѣмъ, что, вслѣдствіе привычки къ семейной жизни, въ нихъ уже были выработаны пути, куда исходило определенное количество энергіи; вся эта энергія, послѣ потери мужа или жены, не находитъ себѣ исхода и вызываетъ недовольство жизнью.

Все ранъше изложенное можетъ породить мнѣніе, что слѣдуетъ стараться объ уменьшеніи количества энергіи, вырабатывающейся въ человѣчествѣ, такъ какъ она ведетъ къ

пессимизму и самоубійствамъ. Въ отвѣтъ на это мы замѣтимъ, что пессимизмъ и самоубійства порождаются двумя причинами—избыткомъ энергіи и обстоятельствами, стѣсняющими ея расходование. Устранить первую причину мы не въ состояніи, такъ какъ мы не можемъ пересоздать природу человѣка, стараясь-же объ этомъ, будемъ только его уродовать; кромѣ того, энергія необходима для дѣятельности человѣка, и расходование ея, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, можетъ доставить величайшія наслажденія и радости человѣку. Остается, слѣдовательно, другой выходъ—стараться ослабить дѣйствіе причинъ, стѣсняющихъ свободное расходование человѣческой энергіи, или-же вовсе устранить эти причины. Къ счастью, послѣднее въ значительной степени зависитъ отъ воли человѣка, почему можно надѣяться, что, если сознательно будутъ направлены къ этой цѣли усилія всего общества, счастье людей въ значительной степени возрастетъ. Обстоятельства, стѣсняющія свободное расходование энергіи, могутъ происходить не только извнѣ, они часто зависятъ отъ личныхъ особенностей человѣка, отъ его непониманія того, что можетъ его сдѣлать счастливымъ.

Мы все ищемъ счастья, а потому можетъ показаться невѣроятнымъ, чтобы человѣкъ, имѣя возможность достигнуть его, не пользовался этой возможностью. Тѣмъ не менѣе, это вѣрно по отношенію къ значительному большинству людей, и многіе даже изъ тѣхъ, которые могли-бы быть вполне счастливыми, пользуются этимъ почти случайно; исключительные развѣ люди сознательно ищутъ счастья тамъ, гдѣ оно, дѣйствительно, можетъ быть найдено.

Причину сказаннаго составляетъ то обстоятельство, что мы имѣемъ весьма ясныя представленія о предметахъ, которые способны намъ доставить удовольствіе или неудовольствіе, и, увлекаясь этими представленіями, нерѣдко слѣдуемъ по пути, совершенно не соответствующему избытку нашей энергіи. Наоборотъ, представленія наши о томъ, какого рода энергія требуетъ въ насъ исхода, весьма смутны; нерѣдко, какъ будетъ обнаружено впослѣдствіи, мы себѣ даже не даемъ отчета въ томъ, что намъ необходима данная дѣятельность, и потребность эта сказывается въ насъ только чувствомъ неопредѣленнаго недовольства жизнію. Иногда случается, что человѣкъ, увлекшись чѣмъ-нибудь, расширилъ свою дѣятельность въ направленіи, несоответствующемъ его энергіи, и она



привела его неизбѣжно къ неудачамъ и огорченіямъ. Эти печальныя послѣдствія приписываются тогда человѣкомъ не ошибкѣ въ выборѣ дѣятельности, но самой жизни или людямъ; онъ рѣшается ничего больше не предпринимать и ограничить свою дѣятельность самымъ необходимымъ, не замѣчая, что первому себѣ причиняетъ этимъ величайшее зло, такъ какъ его немедленно ждетъ неудовлетворенность жизнью и тоска. Если нѣтъ препятствій субъективной природы, мѣшающихъ человѣку идти путемъ, соответствующимъ избытку его энергіи, и внѣшнія обстоятельства ему въ этомъ не ставятъ преграды, то онъ бываетъ доволенъ жизнью, несмотря на огорченія и непріятности, которыя она ему можетъ принести; затѣмъ, по мѣрѣ усиленія дѣятельности человѣка, возрастаетъ его довольство жизнью и достигаетъ чувства полного счастья въ моменты самой напряженной дѣятельности.

Такъ какъ счастье ставится обыкновенно въ зависимость отъ возможности большаго количества пріятныхъ и возможно меньшаго количества непріятныхъ впечатлѣній, то опредѣленіе наше условій счастья покажется, быть можетъ, многимъ изъ читателей парадоксальнымъ, почему необходимо дать здѣсь нѣкоторыя поясненія. Всѣ впечатлѣнія, получаемыя нами, вліяютъ на количество энергіи, освобождаемой нашимъ организмомъ, что выражается усиленіемъ или притупленіемъ дѣятельности нѣкоторыхъ частей, при чемъ область, которую захватываетъ это возбужденіе или притупленіе, болѣе или менѣе опредѣлена, смотря по тому, каковы были особенности полученнаго впечатлѣнія. Такъ, напримѣръ, когда мы голодны, запахъ хорошей пищи возбуждаетъ въ насъ характерное движеніе губъ, усиленное выдѣленіе слюны и гастрическаго сока. Видъ красиваго убора возбуждаетъ въ любительницѣ нарядовъ цѣлую вереницу мыслей о томъ, будетъ-ли ей къ лицу этотъ уборъ, подойдетъ-ли къ данному ея платью, дорого-ли стоитъ и т. д. Звуки марша или танца вліяютъ на наши движенія, дѣлая ихъ ритмическими и болѣе легкими. Чувство страха, наоборотъ, отнимаетъ у насъ силы — ноги подкашиваются, мысль перестаетъ дѣйствовать, и мы лишаемся способности сказать что-бы то ни было. Въ психологіи считается признаннымъ то положеніе, что, за немногими исключеніями, если данное впечатлѣніе усиливаетъ освобожденіе энергіи въ нашемъ организмѣ, то мы его воспринимаемъ, какъ удовольствіе, наслажденіе, радость и вообще, какъ пріят-

ное впечатлѣніе, и, наоборотъ, впечатлѣнія, вызывающія въ насъ непріятныя чувства, уменьшаютъ количество освобождаемой энергіи <sup>1)</sup>. Кромѣ того, чѣмъ больше освобождается энергіи нашимъ организмомъ подъ вліяніемъ даннаго впечатлѣнія, и чѣмъ больше душевныхъ и физическихъ сторонъ нашихъ захватываетъ появившаяся вслѣдствіе этого дѣятельность, тѣмъ сильнѣе будетъ испытываемое нами чувство удовольствия. Наоборотъ, размѣры непріятнаго чувства, которое мы будемъ испытывать, вслѣдствіе какого-нибудь тяжелаго впечатлѣнія, будутъ соотвѣтствовать силѣ, съ которою подавляется наша душевная и физическая дѣятельность, то-есть, задерживается освобожденіе энергіи. Пояснимъ сказанное примѣрами и начнемъ съ впечатлѣній, способныхъ возбудить наименьшую область нашей физической и психической дѣятельности. Такими представляются, на примѣръ, впечатлѣнія, получаемыя при ѣдѣ; они возбуждаютъ въ сильной степени дѣятельность нашихъ пищеварительныхъ органовъ, выдѣленія разныхъ железъ, и потому относятся нами къ пріятнымъ впечатлѣніямъ; но распространеніе этого возбужденія въ нашемъ организмѣ столь ограничено, оно дѣйствуетъ на нашу душевную сторону такъ слабо, что его перѣдко не хватаетъ для того, чтобы стимулировать дѣятельность нашихъ органовъ при ѣдѣ, почему и есть люди, которые не могутъ обѣдать безъ общества, и для многихъ веселый разговоръ необходимъ за столомъ. Эта ограниченность распространенія возбужденій, производимыхъ вкусовыми впечатлѣніями, и служить причиной, почему удовольствіе, доставляемое ими, мы считаемъ слабымъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ высшимъ наслажденіемъ считаетъ человѣкъ ѣду, на примѣръ, послѣ изнурительной болѣзни; также точно, есть немногіе люди, для которыхъ ѣда составляетъ одну изъ главныхъ цѣлей жизни; но такіе случаи не противорѣчатъ общему правилу, такъ какъ они или составляютъ патологическія явленія организма, или ненормальности въ его устройствѣ. Возьмемъ другой случай; предположимъ, что кто-нибудь получилъ извѣстіе о значительномъ выигрышѣ; это извѣстіе

---

<sup>1)</sup> A. Bain. Les émotions et la volonté Стр. 12 и слѣдующія. Beaunis. La douleur morale. Revue Philosophique. 1889 г. № 3. J. Payot. Sensations plaisir et douleur. R. Ph. 1890 № 5.

вызываетъ въ немъ цѣлый рядъ мыслей о томъ, что онъ сможетъ сдѣлать съ ожидаемыми деньгами, воображеніе рисуетъ ему цѣлыя картины ожидаемыхъ удовольствій, возбужденіе отъ высшихъ нервныхъ центровъ переходитъ къ низшимъ, управляющимъ мускульною дѣятельностью, онъ не въ состояніи усидѣть на мѣстѣ, ходитъ по комнатѣ, напѣвая веселые мотивы и т. д. Вспомнимъ теперь, какое сильное возбужденіе испытываютъ влюбленные при встрѣчѣ другъ съ другомъ, въ особенности если эта встрѣча была неожиданной; тотчасъ во всемъ организмѣ человѣка появляются новыя силы, вся его психическая дѣятельность оживляется, ходьба становится легче и ловчѣе, глаза смотрятъ оживленнѣе, рѣчь становится живой и выразительной. Къ еще болѣе возвышеннымъ удовольствіямъ причисляются обыкновенно тѣ, при которыхъ возбужденіе организма. главнымъ образомъ, распространяется на нервныя центры, отъ которыхъ зависитъ высшая психическая дѣятельность человѣка. Проповѣдникъ, приводящій въ экстазъ цѣлыя толпы слушателей, ученый, трудящійся надъ открытіемъ новаго закона, расходуютъ массу энергіи. Это намъ, быть можетъ, не бросается въ глаза, такъ какъ мускульная дѣятельность всего организма въ этихъ случаяхъ сводится къ самымъ ограниченнымъ размѣрамъ; но убѣдиться въ этомъ мы можемъ по сильной усталости, являющейся послѣ окончанія труда, и по количеству выдѣлившихся изъ организма азотистыхъ веществъ. Разсмотримъ теперь противоположные случаи: предположимъ, что мы утромъ хорошо настроены, съ удовольствіемъ принимаемся за работу и вдругъ получаемъ малую непріятность: больно ударили мозоль, или получили отъ кого-нибудь отказъ совершить намъ малую услугу; неминуемо наша охота къ работѣ въ значительной степени уменьшается, намъ уже потребуется нѣкоторое усиліе взяться за нее. Подобнымъ образомъ, только въ болѣе значительной степени, можетъ насъ лишить охоты къ работѣ извѣстіе о какой-нибудь значительной денежной потерѣ, хотя мы вполне хорошо можемъ сознавать, что трудъ есть единственное средство вознаградить потерянное. Еще болѣе сильная непріятность—извѣстіе о смерти дорогого человѣка, или о полномъ раззореніи, сразу останавливаетъ всю сознательную и полусознательную дѣятельность человѣка; человѣкъ, получившій такое извѣстіе, не въ состояніи даже стоять, его умъ бездѣйствуетъ, глаза смотрятъ тускло, без-



жизненно, руки опускаются: остановка дѣятельности можетъ распространиться и на чисто-физиологическую дѣятельность: нерѣдко случается смерть вслѣдствіе остановки сердца, подѣ влияніемъ подобнаго событія.

Изъ всего только-что сказаннаго слѣдуетъ, что если данный человѣкъ, въ опредѣленное время, сравнительно съ другимъ, израсходовалъ больше энергіи, то онъ долженъ былъ въ это время испытать и болѣе пріятныхъ впечатлѣній; такимъ образомъ наше опредѣленіе счастья не противорѣчитъ общепринятому мнѣнію; оно, главнымъ образомъ, приводитъ его къ болѣе опредѣленной формѣ. Это опредѣленіе даетъ право надѣяться, что при рѣшеніи вопросовъ, касающихся счастья людей, можно будетъ ввести всѣ приемы точныхъ наукъ; если, конечно, психофизика и связанныя съ нею науки усовершенствуются на столько, что возможно будетъ опредѣлять механическіе эквиваленты различныхъ родовъ психической и физической дѣятельности человѣка.

На основаніи сказаннаго, наиболѣе счастливый періодъ жизни отдѣльнаго человѣка есть тотъ, въ продолженіе котораго онъ израсходовалъ наибольшее количество энергіи. Но если сумма израсходованной энергіи была въ этотъ періодъ наибольшая, то распредѣленіе расхода ея по роду и количеству, въ различные моменты этого періода, могло быть неодинаково; въ этотъ періодъ могли быть моменты, когда расходъ энергіи былъ въ значительной степени уменьшенъ или даже совершенно задержанъ. Последнее приводитъ насъ къ заключенію, что въ самые счастливые періоды своей жизни человѣкъ можетъ испытывать многія и весьма сильныя непріятности. Мало того, наблюденіе намъ показываетъ, что безъ этихъ непріятностей нерѣдко бываютъ для насъ недоступны болѣе интенсивныя чувства удовольствія; даже развлеченія, которыя доставляютъ себѣ люди, съ единственною цѣлью испытать удовольствіе, заключаютъ въ себѣ, какъ интегральный элементъ, непріятныя впечатлѣнія.

Объяснить-же это можно необходимостію экономизировать нѣкоторое время энергію для того, чтобы затѣмъ возможно было израсходовать сразу большее ея количество. Напримѣръ, карточная или всякая другая игра, безъ возможности проигрыша, безъ колебанія счастья во время игры, потеряла-бы если не всю, то большую часть своей привлекательности. Время, когда человѣкъ влюбленъ, приноситъ съ собою весьма

много тяжелыхъ впечатлѣній; на примѣръ, когда человѣку кажется, что любимое имъ лицо становится къ нему равнодушнымъ, когда являются обстоятельства, способныя помѣшать женитьбѣ и т. д.; тѣмъ не менѣе, по прошествіи этого времени, люди вспоминаютъ о немъ, какъ о самомъ счастливомъ періодѣ своей жизни. Время, когда ученый былъ занятъ открытіемъ важнаго закона, включаетъ въ себѣ минуты весьма тяжелыя горькаго разочарованія, на примѣръ тогда, когда ему кажется, что въ основномъ опредѣленіи была сдѣлана ошибка, или, что законъ, который онъ надѣялся доказать, ведетъ къ противорѣчіямъ съ другими основными законами, или наконецъ минуты полного отчаянія, когда онъ сомнѣвается въ своихъ способностяхъ.

Тѣмъ не менѣе, каждый изъ ученыхъ считаетъ это время своей жизни счастливѣйшимъ временемъ и охотно рѣшился бы испытать всѣ эти непріятныя чувства, лишь бы еще разъ пожить столь интенсивною жизнію.

Изъ послѣдняго очевидно, что счастье человѣка почти немислимо безъ непріятностей, что непріятности, равно какъ и пріятныя впечатлѣнія, могутъ случаться въ самые счастливые періоды жизни человѣка, и что поэтому всякія попытки достигнуть счастья, устраняя всѣ непріятности, не могутъ имѣть успѣха. Кромѣ того, многія и весьма большія непріятности и несчастія не приводятъ неизбѣжно къ недовольству жизнію, если она достаточно интенсивна.

Нѣтъ сомнѣнія, что бываютъ несчастія, которыя способны привести къ желанію разстаться съ жизнію, но для этого они должны обладать свойствомъ—навсегда или, по крайней мѣрѣ, надолго, лишать человѣка возможности расходовать энергію обычнымъ для него путемъ. Такъ, потеря пальцевъ для пианиста, слѣпота для живописца, смерть человѣка, который составлялъ предметъ нашихъ обычныхъ заботъ и котораго мы очень любили, или другого, котораго вліяніе вызывало въ насъ лучшія стремленія и побужденія къ дѣятельности, могутъ быть причинами нашего несчастія и желанія покончить съ жизнію.

Мы должны еще коснуться весьма распространеннаго взгляда, по которому счастье ставится въ тѣсную зависимость съ богатствомъ, если вполнѣ не отождествляется съ послѣднимъ. Чтобы рассмотреть этотъ взглядъ, условимся съ читателемъ относительно значенія, которое придавать слову бо-

гатство. Если средства, добываемыя человѣкомъ, даютъ возможность жить согласно правиламъ гигиѣны ему и его семейству, причемъ онъ можетъ ежегодно прервать свой трудъ для того, чтобы освѣжить физическія и умственныя силы свои, но затѣмъ, по заключеніи годичныхъ счетовъ, никакого излишка доходовъ у него не остается,—такой человѣкъ находится въ довольствѣ. Если доходы человѣка, добываемые его трудомъ, превышаютъ эту норму или-же, если они даютъ ему возможность жить хотя и скромно, но не трудясь, то онъ богатъ и размѣръ его богатства зависитъ отъ избытка его доходовъ надъ указанною нормой необходимыхъ расходовъ. Если доходы человѣка ниже этой нормы, то онъ бѣденъ, причемъ размѣръ бѣдности зависитъ отъ величины разницы между его доходами и указанной нормой необходимыхъ средствъ. Бѣдность, понимаемая согласно нашему опредѣленію, уменьшаетъ счастье человѣка, такъ какъ при невозможности жить гигиенически, скопленіе энергіи въ организмѣ должно происходить неудовлетворительно, а слѣдовательно, и расходъ ея бываетъ сравнительно малъ. Тѣмъ не менѣе, бѣдность рѣдко ведетъ къ полному недовольству жизнію и желанію разстаться съ ней; напротивъ, нерѣдко встрѣчаются совершенно бѣдные люди, которые мирятся съ жизнію и имѣютъ спокойное, даже свѣтлое настроеніе духа. Это объясняется тѣмъ, что у бѣдныхъ людей, вслѣдствіе плохого питанія организма, весьма мало, или-же вовсе нѣтъ избытка энергіи, требующаго исхода; поэтому въ нихъ отсутствуетъ одна изъ причинъ недовольства жизнію. Нѣтъ сомнѣнія, что жизнь такихъ людей есть прозябаніе, но, прозябая, они далеко не такъ несчастны, какъ можетъ со стороны казаться человѣку, хорошо питающему свой организмъ. Болѣе страшенъ переходъ отъ богатства къ бѣдности, такъ какъ человѣкъ обладаетъ тогда еще значительнымъ избыткомъ энергіи, собравшимся въ теченіе прежней жизни въ довольствѣ, почему онъ и способенъ сильно чувствовать всѣ лишенія и непріятности бѣдной жизни и всѣ связанныя съ нею уязвленія самолюбія. По даннымъ, которыя приводитъ Морзелли, въ Италіи, въ періодъ отъ 1872 до 1877 года изъ всѣхъ самоубійствъ, которыхъ мотивы были извѣстны,  $\frac{1}{5}$  имѣли причиною финансовыя неудачи; въ Пруссіи отъ 1869 до 1872 года соотвѣтствующая цифра была  $\frac{1}{7}$ . Эти числа оказываются весьма большими, если принять въ соображеніе, что они



почти не уступаютъ числу самоубійствъ, пропсходящихъ вслѣдствіе сумасшествія, которыя, какъ извѣстно, случаются наичаще, и что число раззорившихся составляетъ весьма малый процентъ населенія; за то, по мнѣнію того-же Морзелли, скудность средствъ къ пропитанію — неизбѣжный спутникъ бѣдности — оказываетъ, сравнительно съ остальными мотивами, весьма слабое вліяніе на количество самоубійствъ, противоположно мнѣнію, высказанному *à priori* Боклемъ (стр. 164).

Богатство, по мѣрѣ его увеличенія, все болѣе и болѣе устраняетъ главный мотивъ, заставляющій человѣка работать, т. е., необходимость добывать себѣ средства къ жизни, причемъ скопленіе энергіи идетъ въ богатомъ человѣкѣ нормальнымъ путемъ, вслѣдствіе полной возможности доставить себѣ средства для гигіенической жизни; такимъ образомъ и является въ богатѣ избытокъ энергіи, не находящій себѣ исхода и приносящій съ собою неудовлетворенность жизни. Мы вовсе не желаемъ сказать, что большинство богатыхъ людей живетъ въ праздности, напротивъ, есть между ними очень много людей, одушевленныхъ самымъ искреннимъ намѣреніемъ работать и работающихъ, благодаря привычкѣ, вынесенной съ дѣтства. Многіе изъ нихъ, за отсутствіемъ главной цѣли, заставляющей другихъ людей трудиться, избираютъ себѣ другія цѣли, въ выборѣ которыхъ сказываются нерѣдко прекрасныя стороны человѣческой природы. Не смотря на это, отсутствіе главного побужденія, стимулирующаго человѣка къ труду, составляетъ настоящую причину, которой вліяніе должно сказаться въ жизни богатыхъ людей тѣмъ, что средній богатъ работаетъ меньше средняго необезпеченнаго человѣка. Есть, конечно богачи, напр., извѣстѣйшіе американскіе милліардеры Асторъ, Гульдъ или Вандербильдтъ, которые работаютъ напряженнѣе многихъ необезпеченныхъ людей, но напряженность дѣятельности ихъ объясняется привычкою, вынесенною изъ періода жизни, когда они были круглыми бѣдняками, что не можетъ относиться къ большинству богатыхъ людей, доставшихъ состояніе по наслѣдству. Изъ сказаннаго можемъ заключить, что средній необезпеченный человѣкъ счастливѣе средняго богача; тотъ-же фактъ, что большинство людей ставятъ счастье въ весьма тѣсную зависимость отъ богатства, объясняется упомянутой уже ошибкой, вслѣдствіе которой отождествляютъ удовольствія со счастьемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что бываютъ случаи, когда богатство можетъ пока-

заться необходимымъ для счастья человѣка; предположимъ, напримѣръ, что значительный запасъ энергіи, скопившійся въ данномъ человѣкѣ, требуетъ для своего исхода дѣятельности, связанной съ обладаніемъ дорого стоящими приборами или затратой большихъ денегъ на какія-нибудь приспособленія, или предположимъ, что кто-нибудь, вслѣдствіе бѣдности, не можетъ повѣрить на практикѣ свой теоретическій выводъ, или осуществить сдѣланное изобрѣтеніе. Но въ такихъ случаяхъ общество приходитъ обыкновенно на помощь людямъ, такъ какъ это въ его прямомъ интересѣ, а если и могутъ быть изобрѣтатели, недобившіеся поддержки, то это бываетъ вслѣдствіе недоразумѣнія или ошибки, не нарушающей общаго закона.

Приведемъ нѣкоторые факты, подтверждающіе нашъ взглядъ относительно вліянія богатства на счастье человѣка. По даннымъ, собраннымъ статистикой Италіи, на милліонъ людей, отнесенныхъ къ занимающимся обработкой или производствомъ сырыхъ матеріаловъ, къ коимъ причисляются этой статистикой землекопы, каменщики, пастухи, люди, обрабатывающіе землю личнымъ трудомъ, и вообще люди, которые, слѣдовательно, составляютъ бѣднѣйшій классъ населенія, — лишаетъ себя жизни въ годъ 26,7, на милліонъ-же собственниковъ, владѣющихъ движимостями и недвижимостями и составляющихъ наиболѣе богатый классъ населенія, приходится въ годъ 172,8 самоубійства. Къ сожалѣнію, статистика другихъ государствъ не даетъ возможности опредѣлить отношеніе самоубійствъ между бѣдными и богатыми; тѣмъ не менѣе, намъ удалось найти данныя, подтверждающія косвеннымъ путемъ нашъ взглядъ относительно населенія Пруссіи. Въ статистикѣ этого государства даются отдѣльно числа самоубійствъ между людьми, поставленными въ необходимость заботиться о другихъ, и между необремененными такими заботами; намъ кажется, что можно съ большою вѣроятностію предположить, что первые въ общемъ бѣднѣе вторыхъ. Приведенная таблица обнаруживаетъ, что число самоубійствъ между вторыми значительно превосходитъ число самоубійствъ между первыми:

		Мужч.	Женщ.
На 100 самоубійцъ женатыхъ было	{ Обязанныхъ заботиться .	36.4	44.6
	{ Необязанныхъ заботиться .	63.6	55.4
На 100 самоубійцъ холостыхъ . .	{ Обязанныхъ . . . . .	5.1	8.6
	{ Необязанныхъ . . . . .	94.9	91.4

На 100 самоубійцъ вдовыхъ . . .	{ Обязанныхъ . . . . .	27.0	22.3
	{ Необязанныхъ . . . . .	73.0	79.7
На 100 самоубійцъ въ разводѣ . .	{ Обязанныхъ . . . . .	30.0	42.4
	{ Необязанныхъ . . . . .	70.0	57.6

## III.

Всѣ внутренностныя ощущенія отличаются тѣмъ общимъ свойствомъ, что крайне трудно опредѣлить мѣсто организма, въ которомъ находится причина, вызывающая такое ощущение, примѣромъ чего можетъ служить тотъ фактъ, что доктора обыкновенно жалуются на неумѣніе больныхъ опредѣлить мѣсто въ органахъ пищеваренія или дыханія, гдѣ они чувствуютъ боль. Это повторяется даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда больные имѣютъ нѣкоторое представленіе объ устройствѣ этихъ органовъ и ихъ расположеніи. Такъ какъ причина, вызывающая чувство избытка энергіи, разбѣяна въ различныхъ нервныхъ центрахъ, нервахъ и мускулахъ, о которыхъ, большею частью, намъ наше сознаніе ничего не говоритъ, то совершенно невозможно, руководствуясь сознаніемъ, опредѣлить, гдѣ именно находится избытокъ энергіи въ нашемъ организмѣ; въ сознаніи нашемъ является только чувство нѣкоторой неудовлетворенности. Животныя, которыхъ дѣятельность отличается, сравнительно съ человѣкомъ, замѣчательнымъ однообразіемъ, дѣлаютъ, подъ вліяніемъ чувства избытка энергіи, тѣ несложные поступки, которые они только и умѣютъ дѣлать, выбора для нихъ нѣтъ, да и накапливающаяся въ ихъ нервныхъ центрахъ энергія требуетъ только такой несложной дѣятельности. Если эта дѣятельность иногда не представляется необходимой для поддержанія жизни, то она принимаетъ характеръ игры, причемъ въ игрѣ повторяется то, что дѣлается въ виду достиженія обычной цѣли; наприкладъ, сытый хищникъ играетъ въ охоту. Кромѣ того, такъ какъ сознательная дѣятельность животныхъ весьма слаба, и поступки ихъ вовсе не направляются яснымъ представленіемъ ихъ цѣли, то она не мѣшаетъ животному рабски подчиняться дѣйствію, хотя-бы столь неопредѣленного и неяснаго стимула, какимъ слѣдуетъ считать чувство избытка энергіи. Совершенно другое мы можемъ сказать о человѣкѣ. Почти все, что не дѣлаетъ человѣкъ, имѣетъ опредѣленную сознательную цѣль; эта цѣль должна представляться человѣку въ видѣ



предмета или дѣйствія, которое или само обладаетъ привлекательными сторонами, или служить какъ средство для достиженія привлекательныхъ предметовъ, или-же наоборотъ, представляетъ предметъ нежелательный, котораго нужно избѣжать. Если человѣкъ ясно не сознаетъ, почему для него можетъ быть желательна цѣль данныхъ поступковъ, то онъ не рѣшится на нихъ, не смотря на то, что энергія, скопившаяся въ органахъ, опредѣляющихъ соотвѣтствующую дѣятельность, можетъ настоятельно требовать исхода. Такимъ образомъ, проявленіе въ человѣкѣ разумной, сознательной дѣятельности, принося въ другихъ отношеніяхъ большую пользу человѣчеству, повлекла за собою возможность развитія въ людяхъ цѣлой совокупности непріятныхъ чувствъ, недоступныхъ животнымъ. Пока человѣкъ жилъ рутиннымъ образомъ, пока сынъ повторялъ въ своей жизни только то, что дѣлалъ его отецъ и длинный рядъ его предковъ, означенный недугъ еще не чувствовали столь сильно, такъ какъ вслѣдствіе наслѣдственности энергія въ людяхъ вырабатывалась преимущественно въ тѣхъ нервныхъ центрахъ, которые соотвѣтствовали привычной дѣятельности. Но при спеціализаціи различныхъ дѣятельностей, свойственной болѣе высокой культурѣ, и появленіи новыхъ требованій жизни, человѣку не приходится дѣлать многого изъ того, что дѣлали его предки и, наоборотъ, ему надо пріучаться къ тому, чего они не дѣлали. При такихъ условіяхъ неизбѣжно должно нарушаться равновѣсіе между различными родами вырабатывающейся въ человѣкѣ энергіи и его дѣятельностью, что должно вести къ недовольству жизнію и возрастанію пессимизма. Особенно важную роль играетъ въ этомъ отношеніи возрастающая спеціализація занятій, благодаря которой неизбѣжно долженъ оставаться въ людяхъ большой запасъ энергіи, не имѣющей выхода. Такъ какъ люди испытываютъ вслѣдствіе этого неудовлетворенность жизнію, то, желая себѣ эту жизнь сдѣлать болѣе привлекательной или сносной, они жадно бросаются на удовольствія. Для этихъ удовольствій сравнительно съ насущными потребностями, при настоящемъ общественномъ строѣ, необходимы большія матеріальныя средства; это ведетъ за собою необходимость болѣе напряженного труда по своей спеціальности. Однако-жъ мы видѣли раньше, что энергія въ исключительныхъ только случаяхъ и съ трудомъ можетъ переходить изъ однихъ нервныхъ центровъ въ другіе. Вслѣдствіе этого чрезвычайно напряжен-

ный трудъ по какой-нибудь узкой спеціальности истощаетъ не только весь запасъ свободной энергіи соответственныхъ органовъ, но и идетъ даже на счетъ той энергіи, которая связана съ интегральными частями этихъ органовъ. При такихъ условіяхъ, трудъ человѣка разрушаетъ его организмъ, надрыываетъ его силы; между тѣмъ какъ энергія, находящаяся въ другихъ нервныхъ центрахъ человѣка, не имѣя возможности перейти въ первые, остается неизрасходованной и причиняетъ неудовлетворенность жизни. Людямъ, находящимся въ такомъ положеніи, необходимо помогать въ развитіи стимуловъ, которые могли-бы ихъ заставить работать и на другихъ поприщахъ, отказавшись частью отъ излишка своихъ доходовъ. Читателю, привыкшему сколько-нибудь наблюдать за собою, приходилось замѣчать то удовольствіе, которое намъ доставляетъ перемѣна занятій, если только новыя занятія не связаны съ чѣмъ-нибудь особенно непріятнымъ. Человѣкъ, измученный однообразнымъ занятіемъ, взявшись за другое, хотя и болѣе трудное дѣло, начинаетъ веселѣе смотрѣть, умъ его оживляется: переходъ отъ работы, при которой не требовалось никакихъ новыхъ умственныхъ усилій, вслѣдствіе ея однообразія, — къ новому дѣлу, требуетъ новыхъ соображеній, которыя человѣка развлекаютъ; новыя предметы, съ которыми приходится имѣть дѣло, возбуждаютъ интересъ и т. д. Вслѣдствіе всего сказаннаго, энергія, причинявшая неудовлетворенность жизни, находитъ себѣ исходъ, и представляется, на первый взглядъ, парадоксальное явленіе, состоящее въ томъ, что человѣкъ сталъ жить скромнѣе, не доставляетъ себѣ прежней роскоши и прежнихъ наслажденій, сталъ при этомъ больше работать и тѣмъ не менѣе сталъ чувствовать себя много счастливѣе. Развитіе этихъ стимуловъ въ душѣ человѣка, кромѣ увеличенія личнаго счастья его, еще принесетъ и ту пользу, что часть его дѣятельности, не имѣя цѣлю увеличеніе матеріальныхъ средствъ его, будетъ направлена на пользу всего общества.

Дать такое направленіе дѣятельности человѣка не представитъ особыхъ трудностей, такъ какъ, въ этомъ случаѣ, не придется вести борьбы съ личными интересами его; напротивъ, при хорошей постановкѣ дѣла, личные интересы его будутъ совпадать съ интересами общества, потому что подобной дѣятельностью, онъ будетъ достигать своего личнаго счастья. Явившаяся, благодаря этому, масса труда, направлен-

наго на пользу общества, сдѣлала-бы это общество много богаче, явились-бы неожиданныя средства для борьбы съ несчастіями, отъ которыхъ страдаетъ человѣчество. Одно изъ лучшихъ средствъ для развитія стимуловъ, о которыхъ шла рѣчь, есть усиленіе въ человѣческомъ обществѣ идеальнаго направленія.

Бросимъ теперь бѣглый взглядъ на то, какимъ образомъ могли развиваться идеальныя представленія у людей, и изъ какихъ элементовъ они сложились, что намъ необходимо знать, если мы желаемъ усилить идеальное направленіе въ человѣчествѣ. Безсознательная наклонность къ подражанію, которая, какъ было раньше сказано, играла важную роль при развитіи организмовъ, проявляется и въ человѣческомъ обществѣ. При низкой степени культуры, эта наклонность высказывается почти безсознательно, или сопровождается весьма слабымъ сознаніемъ; примѣромъ этому служатъ рассказы путешественниковъ о томъ, что дикари, при разговорѣ съ ними, рѣдко могутъ удержаться отъ подражанія ихъ жестамъ. Первоначально подражаютъ всему, что обращаетъ на себя вниманіе въ другихъ людяхъ, но затѣмъ начинаютъ дѣлать различія между особенностями, доставляющими какое-нибудь преимущество, и другими, представляющими невыгоду; первыя возбуждаютъ уваженіе и желаніе имъ подражать, вторыя-же чувство презрѣнія, выражаемое смѣхомъ. Такимъ образомъ, является сознательное отношеніе къ поступкамъ другихъ людей и критика этихъ поступковъ. Такъ какъ поступки, представляющіе преимущества, совершаются людьми болѣе одаренными отъ природы, то и является сознательное стремленіе подражать поступкамъ и дѣйствіямъ человѣка, котораго почему-либо считаютъ стоящимъ выше общаго уровня. Представленіе о такомъ человѣкѣ есть зародышъ, изъ котораго, при дальнѣйшемъ развитіи общества, вырабатываются понятія объ идеалѣ. При низкомъ уровнѣ культуры, идеаломъ становится какой-нибудь человѣкъ наиболѣе драчливый, ловкій или храбрый; его приемы въ битвахъ, военныя хитрости, заслуживая общее одобреніе, становятся образцами, которымъ остальные, окружающіе его люди, стараются подражать. Въ настоящее время даже въ культурныхъ обществахъ мы замѣчаемъ нѣчто подобное, проявляющееся въ видѣ атавизма. Такъ, большинство учениковъ низшихъ классовъ училищъ подражаетъ не наиболѣе прилежному или способному, но наиболѣе ловкому



и драчливому товарищу; рубцы, полученные на дуэляхъ, становятся предметомъ гордости нѣмецкихъ студентовъ. При развитіи обществъ и ихъ усложненіи, измѣняется характеръ людей, заслуживающихъ общее одобреніе, появляются идеалы, соотвѣтствующіе различнымъ сословіямъ, представляющіе собою образцы тѣхъ качествъ, которыя особенно выгодны при какихъ-нибудь условіяхъ жизни или которыя, по какимъ-либо случайнымъ причинамъ, считаются достойными подражанія. Нѣкоторыя единицы заслужившія особенное уваженіе, даже послѣ своей смерти сохраняются въ памяти народа или племени и становятся образцами, которымъ новыя поколѣнія стараются подражать. Преданіе о нихъ сохраняется долго, причемъ, вслѣдствіе свойственной людямъ склонности къ единству въ представленіяхъ и понятіяхъ, остаются въ памяти только тѣ черты ихъ характера, которыя заслуживали одобреніе, и къ нимъ прибавляется многое, чего въ этихъ людяхъ не было, но что считается особенно доблестнымъ. Нерѣдко понятіе о совершенствѣ, связанное съ понятіемъ о совершенномъ человѣкѣ, начинаютъ впослѣдствіи связывать съ другими понятіями; такимъ образомъ, появились идеалы красоты въ искусствахъ. Идеалы оказывали и оказываютъ весьма сильное вліяніе на жизнь человѣчества; сила ихъ дѣйствія нерѣдко не уступала силѣ самыхъ настоятельныхъ потребностей человѣка; случались не только отдѣльные люди, но цѣлыя общества, готовые на самый тяжелый трудъ, на большія жертвы, съ цѣлью осуществить идеалъ, которымъ преисполнена ихъ душа. Человѣкъ, очарованный образомъ совершенства, горячо желаетъ подойти къ нему возможно ближе, быть возможно болѣе похожимъ на него. Дѣятельность его теряетъ тогда характеръ безцвѣтнаго, будничнаго труда, эта дѣятельность становится горячимъ, напряженнымъ стремленіемъ къ завѣтной цѣли; жизнь пріобрѣтаетъ особый смыслъ и значеніе, она теряетъ характеръ печальной и скучной необходимости, но становится разумнымъ стараніемъ осуществить все свѣтлое и прекрасное. Нерѣдко человѣкъ, сознавая свое болѣе свѣтлое настроеніе духа, происходящее вслѣдствіе быстрого расходованія его энергіи, связываетъ это настроеніе закономъ причинности съ понятіемъ объ идеалѣ, которое объективируется; при этомъ кажется человѣку, что это есть награда, которую онъ получилъ отъ своего идеала за преданное служеніе ему. Конечно, только исключительные люди способны

имѣть столь ясныя и опредѣленныя представленія объ идеалахъ и столь горячо къ нимъ стремиться; тѣмъ не менѣе, вліяніе идеаловъ распространяется и на болѣе широкіе круги и нерѣдко можетъ захватить цѣлое общество и даже народъ. То, что лучшіе люди дѣлаютъ подъ вліяніемъ представленія о совершенствѣ, начинаютъ дѣлать другіе единственно для того, чтобы стать похожими на первыхъ; въ обществѣ вслѣдствіе этого является новый стимулъ къ дѣятельности и начинаетъ захватывать все большіе и большіе круги. Въ данномъ случаѣ мы, конечно, думали сдѣлать только самый бѣглый очеркъ развитія и вліянія идеаловъ, ограничиваясь тѣми сторонами этого вліянія, которыя имѣютъ для насъ особое значеніе въ послѣдующемъ.

Все изложенное даетъ намъ возможность формулировать условіе, отъ исполненія котораго зависитъ счастье человѣка на землѣ. Чѣмъ больше энергіи расходуетъ данный человѣкъ въ опредѣленное время, сравнительно съ остальными людьми, тѣмъ онъ счастливѣе. Это основное условіе, приводитъ къ тремъ слѣдующимъ условіямъ: для того, чтобы человѣкъ достигъ возможнаго счастья, необходимо 1) чтобы матеріальныя средства, добываемыя имъ, давали ему возможность скоплять въ своемъ организмѣ возможно больше энергіи; 2) чтобы человѣкъ имѣлъ полную возможность расходовать находящуюся въ немъ энергію и 3) чтобы онъ имѣлъ желаніе это дѣлать, т. е., чтобы въ душѣ человѣка было достаточно стимуловъ, которые-бы его заставляли расходовать, съ возможною напряженностью, всѣ роды находящейся въ немъ энергіи.

*(Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ).*

## ОБО ВСЕМЪ.

### Художественныя выставки.

(Критическія замѣтки).

Передъ нашими глазами двѣ выставки: одна Академическая, другая—Общества Передвижныхъ Выставокъ. Намъ всегда невольно хочется подѣлиться всеѣмъ этимъ богатствомъ съ той публикой, которая, живя вдали отъ столицъ, не можетъ пережить высокихъ наслажденій, пережитыхъ нами. И вотъ почему каждый годъ мы пишемъ о выставкахъ. Къ сожалѣнію, въ этомъ году подѣлиться можно немногимъ. Начнемъ сперва съ Академической выставки. Въ нынѣшнемъ году она составлена очень небрежно: есть картины до такой степени слабыя, что онѣ поражаютъ зрителя, и о нихъ, поэтому прежде всего хочется говорить, чтобы, такъ сказать, облегчить душу и ужъ потомъ заняться болѣе удачными произведеніями. Наибольшей слабостью и нехудожественностью поражаютъ пейзажи Клагеса: «На островъ Капри» и еще «Островъ Капри». Г. Клагесъ былъ когда-то профессоромъ перспективы и, быть можетъ, онъ знаетъ перспективу теоретически,—но, чтобы быть живописцемъ, этого совершенно недостаточно, и пріемъ его картинъ на выставку прямо компрометируетъ то «жюри», которому порученъ подборъ картинъ. Описать эти картины невозможно словами: если вы видали живопись на плохихъ подносахъ и табакеркахъ, гдѣ малюется синее небо и синее море, гдѣ деревья выводятся по трафарету съ отчетливой, однотонной вырисовкой каждой вѣтки и cadaго листка въ формѣ кружочка или зигзага, то передъ вами болѣе или менѣе возстанутъ картины г. Клагеса; любая, самая слабая олео-



графія явится передъ ними перломъ по богатству тоновъ и оттѣнковъ. Нѣтъ, мы сознаемся, что картины г. Клагеса не-описуемы: напр., на одной изъ нихъ покойное и безвѣтренное море кажется покрытымъ огромными пропастями, благодаря совершенно неправильному отраженію отъ скалъ, стоящихъ на морѣ. Въ одномъ мѣстѣ, въ морской дали вы видите какую-то странную штучку, нарисованную не въ тонъ и черной краской: всматриваетесь ближе и видите, что художникъ старался воспроизвести пароходъ. И что это за пароходъ! Просто глазамъ не вѣрится, что это рисоваль не ребенокъ, а пожилой художникъ. Но идемъ дальше!

Рядомъ съ невозможными картинами г. Клагеса, можно поставить только картину г. Венига, названную весьма странно: «Жена Макбета», т. е., на общечеловѣческомъ языкѣ, это — просто «леди Макбетъ», извѣстная героиня трагедіи Шекспира, Читатели знаютъ, что убійство, вызванное этой леди, такъ поразило ее, что она сошла съ ума, она видитъ кровь на своихъ рукахъ и, бродя по замку, старается стереть ее. Этотъ-то моментъ и взялъ художникъ. И что-же онъ сдѣлалъ? Передъ нами огромная восковая кукла задрапированная въ шелкъ и кружева, которыя живописно (конечно, въ художественномъ беспорядкѣ) должны обрисовывать ея формы. Волосы ея, какого-то несуществующаго кукольнаго цвѣта, развѣваются чуть не до полу; на восковомъ лицѣ — гримаса, ничего не выражающая; куда леди смотритъ — неизвѣстно; одной рукой она держитъ свой подолъ и прикладываетъ его къ другой рукѣ, какъ-то неестественно перегнувшись. Все это блеститъ, словно покрытое лакомъ или только-что взятое изъ магазина и надѣтое на только-что купленную куклу! Но это-бы все ничего. А вотъ что поражаетъ васъ при первомъ-же взглядѣ и отчего вы тутъ-же начинаете хохотать: у ногъ этой куклы-гиганта вы видите двухъ крохотныхъ карликовъ-лилипутовъ; вы думаете сперва, что это ея дѣти, но, всматриваясь, замѣчаете, что одинъ изъ лилипутовъ украшенъ сѣдой бородой, а другой — есть пожилая дама, въ придворномъ костюмѣ. Вы начинаете припоминать, нѣтъ-ли въ трагедіи Шекспира указаній, что леди Макбетъ окружала себя лилипутами, но нѣтъ, такихъ указаній, и вы, наконецъ, догадываетесь: художникъ, очевидно, желалъ изобразить эти двѣ фигуры — вдали, въ перспективѣ, но не сообразилъ самой простой вещи: у него полъ раздѣленъ квадратиками (каменные плиты)

и величину этихъ квадратиковъ вы тотчасъ чувствуете, потому что нога «жены Макбета» покрываетъ цѣлый квадратъ, т. е., они не длиннѣе дамской ступни. Далѣе, вы невольно чувствуете, что отъ ноги леди Макбетъ до ногъ ея придворныхъ не болѣе 8 или 9 квадратиковъ,—потомъ вы даже сосчитаете ихъ,—и вотъ для васъ сразу ясно, что они находятся отъ нея вовсе не вдали, а на разстояніи не болѣе 2-хъ аршинъ, считая ея ступню въ четверть аршина! Теперь вообразите-же себѣ, что на такомъ-то разстояніи, эти фигуры нарисованы короче одной ея берцовой кости!!! Вамъ теперь понятно, почему эта картина вызываетъ невольный хохотъ. Спрашиваю васъ, что-же думать о «жюри», допустившихъ такую картину? Правда, г. Венигъ, какъ и г. Клагесъ—профессора, и отказать имъ въ выставкѣ картинъ, быть можетъ, неловко, неудобно... Но въ такомъ случаѣ, необходимо обставить «жюри» такими условіями, которыя-бы устраняли впередъ подобныя уродства, скандализирующія почтенное учрежденіе, давшее любезно пріютъ этой выставкѣ, и которое само, конечно, не повинно въ такихъ удивительныхъ промахахъ. Чтобы сдѣлать жюри вполне свободнымъ отъ всякихъ внѣшнихъ соображеній, необходимо не только анонимное представленіе картинъ, подъ девизами, но и закрытая баллотировка ихъ: вѣдь даже при анонимности, всякій знаетъ по манерѣ письма, что это—Венигъ, а это—Клагесъ, и признать открыто, что картина не удовлетворяетъ основнымъ требованіямъ искусства, дѣйствительно трудно, и неудобно для самаго справедливаго и строгаго «жюри». Единственное спасеніе въ этомъ случаѣ—закрытая баллотировка.

Необходимость такой мѣры ясна уже изъ того, что самыя невозможныя, по исполненію, картины, какъ нарочно принадлежатъ профессорамъ и, въ числѣ ихъ, такому талантливому, какъ, напр., Клеверъ. Мы всегда выносили огромное наслажденіе отъ большей части его картинъ и вдругъ на этой выставкѣ встрѣчаемъ два такихъ полотна его-же кисти, которыя просто было-бы невозможно приписать ему, если-бы подъ ними не красовалась его подпись; очевидно, что болѣе строгое жюри было-бы полезно даже самимъ художникамъ: самъ художникъ, быть можетъ, долго присматриваясь къ своей работѣ, пересталъ замѣчать ея недостатки, и вотъ жюри помогло-бы ему спастись отъ паденія въ глазахъ публики, наложивъ свое veto на картину, почему-либо не удавшуюся.

Какъ жестоко можетъ быть скомпрометированъ талантъ художника выставкой такихъ картинъ, какъ Клеверовскій «Лѣтній вечеръ» и «Заброшенная мельница»! На первой изъ нихъ, вы видите, буквально, какое-то рыжее небо, цвѣта неприятно-запачканнаго солдатскаго сукна, а справа вылѣзаетъ изъ земли сказочный морской спрутъ, со множествомъ щупалецъ и огромной головой. Послѣ долгихъ соображеній, вы поймете, что это—вовсе не спрутъ, а подрубленная ветла, у которой пень утолстился сверху. А солдатское сукно съ желтымъ пятномъ должно изображать закатъ солнца. Не менѣе поражаетъ своей антихудожественностью «Заброшенная мельница»: во-1-хъ, никакого пейзажа тутъ нѣтъ, а почти все полотно знято стѣной изъ почернѣвшихъ бревенъ, тщательно выписанныхъ, и лишь справа въ углу виднѣется нѣсколько льдинъ, напоминающихъ что-то игрушечное, а не живое. И это пейзажъ! Что-жъ интереснаго въ этой черной стѣнѣ! Ровно ничего. Во 2-хъ, и она выписана не съ натуры, а изъ памяти, напр., хотя она и старая, но ея старость выражается только окраской бревенъ, но какихъ-либо другихъ принадлежностей старой стѣны вы не видите: нѣтъ ни моха, ни плесени, столь неизбѣжныхъ въ такой стѣнѣ: наоборотъ, эта стѣна точно сейчасъ вымыта и вылощена! Но допустимъ даже, что стѣна была-бы нарисована прекрасно, однако, спрашивается, что это за новый родъ живописи: портретъ стѣны? Очень интересно!—Видѣть портретъ челоуѣка интересно, потому что въ немъ можетъ быть переданъ характеръ, мысль, вообще жизнь, но портретъ бревенъ, да еще плохой портретъ,—нѣтъ, воля ваша, это—какое-то «затменіе чувствъ»!

Мы покончили съ самыми выдающимися «шедеврами» въ смыслѣ плохой живописи, но на выставкѣ есть они и въ отдѣлѣ скульптуры: это, во-первыхъ, «Клеопатра» г. Попова, и отчасти «Послѣ купанья» г. Гинцбурга. Вы, конечно, знаете знаменитую египетскую царицу Клеопатру, которая въ знаменитомъ стихотвореніи Пушкина дѣлаетъ,—зная, что не встрѣтитъ отказа,—такое смѣлое предложеніе:

«Кто купить цѣною жизни ночь мою?»

Но г. Поповъ, повидимому, знаетъ о Клеопатрѣ что-то совсѣмъ другое, онъ гдѣ-нибудь слышалъ, что это была худая и неловкая, плохо сложенная и дохленькая петербургская швейка. По крайней мѣрѣ, такую онъ изобразилъ ее въ своей статуѣ, да еще придалъ ей совершенно невозможную позу:



она стоитъ, разставивъ руки, немножко наклонясь впередъ, точно хочетъ сказать: «Батюшки, какъ я устала! Сейчасъ упаду передъ почтеннѣйшей публикой!» И это—Клеопатра! Почему не Матрена, не Дарья!

Г. Гинцбургъ скульпторъ—не безъ таланта, и, если хотите, фигуры его мальчиковъ и юношей «Послѣ купанья» отчасти вѣрно передаютъ позы иззябшихъ дѣтей, трясущихся на берегу, передъ тѣмъ какъ они надѣнутъ рубашки. Но дѣло въ томъ, что художникъ далъ въ этихъ фигурахъ, такъ сказать, «талантливый эскизъ», набросокъ, т. е., не отдѣлилъ ни рукъ, ни глазъ, ни волосъ, надѣясь, что и безъ этого, самыя позы говорятъ за себя. Однако, вышло нѣчто невозможное: вы видите передъ собою не живыхъ мальчиковъ, а тѣ отвратительныя фигурки выкидышей, которыя въ музеяхъ сохраняются въ спирту, въ банкахъ. Такое впечатлѣніе получается у каждого, кто сразу взглянетъ на эти фигуры: закрытые или залѣпленные глаза, не отдѣляющіеся волосы, вздутые животы, слившіяся съ туловищемъ руки... Удивительно, какъ художественный инстинктъ или чутье не подсказали скульптору, что такая тема, если ее дать безъ отдѣлки деталей, является безвкусной и безобразной. И опять это объясняется тѣмъ, что художникъ приглядѣлся къ своему этюду, и его нельзя винить, но за то опять-же виноваты жюри, — имъ-то не могло не броситься въ глаза указанное нами сходство съ анатомическими препаратами,—которое бросается въ глаза каждому,—чему мы были очевидцами.

Отъ произведеній, невозможныхъ по исполненію, слѣдуетъ перейти къ картинамъ, крайне неудачнымъ по замыслу; между ними особенно выдаются «Родители Моисея» Асканазія, «У бульварнаго кіоска» Безверхаго и «Любопытные» Мазуровскаго. Картина Асканазія изображаетъ голаго старика, сидящаго на скамьѣ, съ руками, сложенными на животѣ и съ совершенно застывшимъ выраженіемъ индійскаго факира. Около его ногъ женщины купаютъ въ бассейнѣ ребенка. Почему-же это родители Моисея, а не Аарона или кого угодно другого? Если-бы картина была названа просто: «купанье ребенка» или «засыпающій голый старикъ-мужъ», то она еще имѣла-бы какой-нибудь смыслъ, но при чемъ тутъ Моисей, великій законодатель, и при чемъ его родители?! Что общаго между этимъ ребенкомъ и Моисеемъ? Не то-ли, что его купали? Но, вѣдь, всѣхъ дѣтей купаютъ? Удивительно избобрѣ-

тательны наши художники! Но еще избрѣтательнѣе г. Мазуровскій: онъ нарисовалъ набережную и на ней двѣнадцать паръ панталонъ, и столько-же сапогъ: дѣло въ томъ, что эти панталоны и сапоги должны представлять собою дюжину мальчугановъ, свѣсившихся, какъ нужно догадываться, головами и остальнымъ туловищемъ за перила набережной, такъ что передъ публикой остаются ихъ дырявые и потертыя на сидѣньяхъ штаны и сапоги. Все это выписано старательно: каждая дырочка, каждая заплатка. Клеверъ нарисовалъ портретъ старой стѣны, г. Мазуровскій изобразилъ фотографически вѣрно дюжину старыхъ панталонъ сзади! Удивительная избрѣтательность! Г. Безверхій отличился еще лучше: очевидно, онъ живетъ въ Парижѣ и пожелалъ насъ ознакомить съ этимъ великимъ городомъ, и вотъ онъ беретъ кіоскъ или будку, рядомъ помѣщаетъ уличнаго чистильщика сапогъ, передъ которымъ стоитъ какая-то разухабистая дѣвица съ зонтикомъ: дѣвица поставила ногу на ящикъ чистильщика, отчего до колѣна открылись ея ноги въ голубыхъ чулкахъ. Проходить франтъ и разсматриваетъ въ стеклышко этотъ тоже «любопытный» пейзажъ! И все это нарисовано и написано довольно скверно. И такъ, въ одномъ мѣстѣ портреты 12 панталонъ, въ другомъ портретъ пары чулокъ! Чѣмъ не искусство? Но послѣдней картинѣ право, приличнѣе было-бы красоваться не на художественной выставкѣ, а на страницахъ порнографически-юмористическаго листка или въ иллюстрированныхъ объявленіяхъ фирмы уличныхъ чистильщиковъ! Картина «Любопытные», несмотря на нѣкоторую странность постановки «сюжета» все-же производить милое впечатлѣніе добродушнаго юмора, такъ что въ семейномъ домѣ, гдѣ есть дѣти, ею не разъ полюбуются шутя и съ любовью. Самыя позы обладателей этихъ штанишекъ выражаютъ, дѣйствительно, любопытство. Все это, по крайней мѣрѣ, оригинально и написано добросовѣстно, старательно, ну, а «У кіоска» даже и написано скверно! О, милѣйшее жюри, гдѣ-же ты было?

Разсмотримъ теперь лучшія изъ картинъ. Правду сказать, ихъ весьма немного среди почти 300 экземпляровъ, бесполезно мозолящихъ глаза публики своей невыразимой посредственностью. Самой выдающейся картиной является огромное, неоконченное полотно покойнаго Растворовскаго «Моисей въ пустынѣ», изображающее бунтъ евреевъ. Собственно говоря,

ничего особенно выразительнаго или гениальнаго въ ней нѣтъ: видно, что толпа взволнована, лица напряжены; Моисей стоитъ величественно... Но что изъ всего этого слѣдуетъ дальше, какія думы, чувства, волненія или наслажденія должно было все это дать зрителю,—даже и въ оконченномъ видѣ,—объ этомъ сказать трудно. Если мы назвали эту картину выдающейся, то лишь потому, что въ ней все-же много движенія въ позахъ, фигурахъ, лицахъ: наконецъ, это цѣлая стѣна—лицъ, типовъ, стоившая не мало труда. Но вотъ и все. Такое-же впечатлѣнiе холоднаго, внѣидейнаго, но добросовѣстнаго труда представляетъ и другая лучшая картина всей выставки: «Защитники Свято-Троицкой Сергiевской Лавры въ 1608 г.». Что касается живописи и рисунка, то картина эта очень недурна. Все здѣсь отдѣлано тщательно, добросовѣстно: передъ вами внутренность монастырскаго двора; вдалекѣ стѣна, слѣва церковь съ отворенными дверями, стѣны которой во многихъ мѣстахъ повреждены ядрами. Въ эти открытыя двери вносятъ трупы убитыхъ защитниковъ Лавры; несутъ ихъ монахи и народъ. Ниже, спустившись со ступеней храма, стоятъ съ иконами высшія духовныя лица монастыря, раздавая благословенія. Весь дворъ до стѣны полонъ народомъ; впереди ведутъ раненыхъ, съ измученными, воспаленными лицами; справа какая-то пожилая женщина поить ковшикомъ изъ деревяннаго ведра усталаго воина. Дальше, въ глубинѣ сцены ведутъ плѣнныхъ. Воздухъ переполненъ пылью и дымомъ, которые характерной тучей поднимаются также изъ-за монастырскаго стѣны: то, быть можетъ, горятъ какія-нибудь слободы или деревни подъ монастыремъ. Вы смотрите долго на эту картину, доискиваясь ея внутренняго смысла, того чувства или той идеи, которая владѣла художникомъ, и рѣшительно не въ состояніи получить никакого опредѣленнаго отвѣта, даже никакого отчетливаго настроенія. Повидимому, все правильно, все вѣрно дѣйствительности: люди, которые несутъ трупы, имѣютъ такое выраженіе и такія позы, какія и должны быть у людей, несущихъ что-нибудь тяжелое; раненные и усталые имѣютъ, дѣйствительно, видъ усталыхъ и раненыхъ, но... вамъ хочется чего-то еще: вѣдь, это «Защитники Свято-Троицкой Лавры», стало быть, въ нихъ есть-же или должно быть что-то особенное: вѣдь, они только что защищали свою святыню, ихъ одушевляло особое чувство, чувство религіознаго возбужденія, глубокой вѣры въ



вышую, не земную силу, помогавшую имъ: это не простые воины, сражавшіеся по обязанности, и т. д., и т. д. И вотъ вы ищете этого «чего-то» на всѣхъ лицахъ и нигдѣ ничего не находите. Вотъ передъ вами святители, окруженные иконами, благословляющіе народъ: вы ожидаете, что и на ихъ лицахъ должно быть въ такую минуту особое, восторженно-вдохновенное выраженіе: вѣдь, врагъ отбить, святыню отстояли, въ этомъ ими должны сознаваться особая помощь свыше,—и вы ищете этихъ чувствъ на ихъ лицахъ, но видите передъ собою совершенно спокойныхъ старцевъ, какъ будто-бы ничего особеннаго не случилось, какъ будто-бы въ самый обыкновенный праздникъ они вышли съ крестнымъ ходомъ. Вы ожидаете, наконецъ, что защита этой горсти людей, объединенныхъ однимъ религіознымъ воодушевленіемъ, должна была создать между ними особую любовь и простоту отношеній, и что эта любовь скажется тѣмъ болѣе въ тотъ моментъ, когда врагъ отбить и страшная опасность миновала: вы ждете, поэтому, во взглядахъ, въ движеніяхъ и этихъ воиновъ и этихъ святителей—выраженія сверхъ-обычной любви другъ къ другу, радости, восторженныхъ слезъ, если не поцѣлуевъ и объятій... Но и этого ничего нѣтъ: всѣ холодны, всѣ буднично-оффиціальны, какъ-будто ровно ничего не случилось! Если-бы не выбоины, сдѣланныя ядрами въ этихъ стѣнахъ, вы-бы и не догадались, что имѣете дѣло съ только-что окончившейся осадой; вы могли-бы думать, что произошла какая-нибудь случайная катастрофа: упали подмости или завалилась старая стѣна и перебила или ранила нѣсколько человѣкъ...

Право, надо быть безчеловѣкомъ лишеннымъ воображенія, чтобы, избравъ такую тему, не почувствовать всего этого. Зачѣмъ-же, въ такомъ случаѣ, за нее браться? Не понимаю. Развѣ затѣмъ, чтобы былъ сюжетъ сразу и «историческій», и «религіозный», т. е., важный? Да, и такіе сюжеты страшно важны и глубоки, и благодарны, но если художникъ носить ихъ въ сердцѣ, если онъ въ сердцѣ своемъ носить исторію и психологію народныхъ массъ. О, тогда онъ создастъ вѣчное и великое произведеніе! А если важный сюжетъ взять имъ по простому расчету и сдѣланъ съ натурщиковъ, да по манекенамъ, онъ возбуждаетъ въ зрителяхъ одно только печальное сожалѣніе о томъ, что такой чудный сюжетъ попалъ на каменистую почву, на душу и сердце холодныя къ нему, и

не принесть никакихъ плодовъ, кромѣ правильного рисунка и старательной выписки!

Что можетъ сдѣлать художникъ, если онъ сердечно тронутъ своимъ сюжетомъ и какими простыми иногда средствами онъ можетъ передать свое чувство, видно, напримѣръ, въ картинѣ «На другой день», г. Бунина. Передъ вами пустынное поле: нѣсколько разбитыхъ пороховыхъ ящиковъ и брошенныхъ пушекъ, два-три трупа и убитая лошадь, вотъ и все, что вы видите. Нѣтъ, не все: надъ однимъ изъ труповъ стоитъ осѣдланная лошадь безъ всадника и, поднявъ къверху голову съ умными, почти плачущими глазами, жалобно оглашаетъ своимъ ржаніемъ пустынное поле. А на небѣ заходитъ туча, уже проливающаяся дождемъ на горизонтѣ, сейчасъ она подойдетъ и сюда, къ этой лошади, и еще жалобнѣе будетъ слышаться ржаніе этой лошади, точно зовущее на помощь къ этому охолодѣлому, скорчившемуся трупу, лежащему у ея переднихъ ногъ. Долго-ли такъ простоятъ она, голодная, измокшая, иззябшая?.. Какъ тутъ все просто, и, однако, на сколько думъ и глубокихъ чувствъ наводитъ это холодное, мертвое поле!

И вотъ рядомъ картина опять съ широкими претензіями, это «Осужденная христіанка» А. А. Киселева: кажется, какая богатая тема, какую высокую симфонію чувствъ можно вызвать въ зрителѣ, исполнивъ ее сердечно, прочувствованно! Тутъ-же ничего подобнаго нѣтъ! Вдали на возвышеніи еще сидитъ судья съ какими-то свитками; справа кучка людей, вѣроятно, христіанъ, тѣснится и смотритъ на осужденную, стоящую на первомъ планѣ въ бѣлой одеждѣ. Это—довольно красивенькая, блѣдная, конечно, полненькая и пухленькая барышня съ короткой фигурой. Ничего въ ней нѣтъ, чтобы показывало именно христіанку первыхъ временъ: ни вдохновеннаго восторга, ни жажды подвига и жертвы въ лицѣ; а если этого нѣтъ, то пусть-бы былъ хотя ужасъ смерти. И этого нѣтъ. Такъ, обыкновенное лицо полненькой петербургской барышни, приглашенной въ натурщицы, только очень блѣдное. И въ группѣ христіанъ, стоящихъ направо, также нѣтъ ничего христіанскаго. Одна женщина, старающаяся, по-видимому, подойти къ осужденной и удерживаемая воинствомъ, сердится и принимаетъ позу, напоминающую сердитыхъ прачекъ или кухарокъ, бранящихся съ городовымъ за то, что онъ ихъ убѣждаетъ «честью» «осадить немного назадъ!» И

опять грустно становится передъ такой картиной: очевидно, художники наши ужасно мало читають, ужасно мало развиты вообще. Пусть-бы этотъ Киселевъ прочелъ хотя «Мирру» Лефевра, онъ-бы понялъ, какіе типы давало христіанство той эпохи, о которой онъ вздумалъ разсказать намъ красками. Ахъ, господа художники, вы думаете, что такъ легко изображать великія эпохи, когда духъ человѣчества переживалъ высочайшія настроенія и волненія, передъ которыми падаетъ ницъ современное воображеніе. А вы такъ легко думаете воспроизвести эти величайшія минуты энтузіазма, составляющія эры въ исторіи человѣчества! Какіе вы жалкіе дѣти!

Но вотъ и всѣ претенціозныя картины на этой выставкѣ, если не считать картины А. А. Наумова «Бѣлинскій передъ смертію». Эта картина говоритъ не мало сердцу тѣхъ, кто знаетъ біографію Бѣлинскаго и воспоминанія о его послѣднихъ дняхъ, написанныя Панаевыми, но для обыкновенной публики она мало понятна. Вотъ ея содержаніе: въ довольно просторной комнатѣ,—съ обширной бібліотекой на задней стѣнѣ,—полу-сидитъ, полу-лежитъ Бѣлинскій обложенный подушками, на турецкомъ диванѣ. Въ головахъ и ногахъ этого дивана, прислоненнаго къ лѣвой стѣнѣ, сидятъ въ креслахъ: Панаевъ, — въ головахъ еп face къ публикѣ, т. е. спиной къ бібліотекѣ, и Некрасовъ, въ ногахъ, т. е., спиной къ публикѣ. По выраженію лицъ видно, что только сейчасъ происходилъ одинъ изъ тѣхъ горячихъ, задушевныхъ разговоровъ, которые велись въ то время среди нашей интеллигенціи иногда съ вечера до зари: то были чаще всего разговоры о литературѣ, философіи, эстетикѣ, искусствѣ, народѣ и т. д. На исхудаломъ лицѣ Бѣлинскаго, бывшаго въ то время въ послѣднихъ градусахъ чахотки, еще чувствуется болѣзненный румянецъ того одушевленія, которое такъ пора-жало и увлекало въ немъ, когда заходила рѣчь о его любимыхъ темахъ. Но въ этотъ моментъ, бесѣда прервана; всѣ трое съ нѣкоторымъ изумленіемъ смотрятъ на молодую женщину, жену Бѣлинскаго, которая только что вошла въ комнату, плотно притворила за собою дверь и съ испуганнымъ, блѣднымъ лицомъ сообщаетъ что-то неожиданное и тревожное. Къ притворенной двери бросилась маленькая комнатная собачка и заливается сердитымъ лаемъ на кого-то чужого, кто стоитъ за этой дверью. Маленькая дочь Бѣлинскаго



играетъ тутъ-же, усадивъ куклу на стулъ и возя за собою крохотную игрушечную телѣжку. Вотъ и вся картина. Отдѣлка ея очень хороша, выраженіе лицъ — вполнѣ живое и соотвѣтствующее тому исключительному случаю, который извѣстенъ изъ біографіи знаменитаго критика. Художникъ вложилъ въ свое дѣтище много чувства, много горячей любви. Зритель, если онъ даже не знаетъ біографіи Бѣлинскаго, все-же переносится мыслью въ ту эпоху, эпоху горячихъ идеалистовъ, задушевныхъ споровъ, преданныхъ сердецъ, искренней дружбы и широкихъ предчувствій... А все-же, въ картинѣ есть для публики что-то недоговоренное, что значительно уменьшаетъ впечатлѣніе.

Остальные выдающіяся картины этой выставки принадлежатъ жанру въ чистомъ смыслѣ этого слова, т. е., безъ определенной идеи или настроенія, а исключительно съ характеромъ бытовымъ: къ числу первыхъ въ этомъ родѣ надо отнести картину Кившенки «Сортировка перьевъ»; она написана замѣчательно: передъ вами довольно большая комната, съ низкимъ потолкомъ и небольшимъ окномъ, сквозь запыленные стекла котораго видны крыши и церкви большого города (вѣроятно, Петербурга). Вся комната заставлена плетеными корзинками съ перьями, перья грудami лежатъ на полу, носятся въ воздухѣ. Нѣсколько работницъ сидятъ среди этихъ корзинокъ, сортируя перья, и въ то-же время, болтаютъ, ссорятся, дразнятъ другъ друга. Вотъ одна въ высшей степени типичная работница, съ платьемъ обвислымъ на груди, сверкая глазами, засучиваетъ рукава, готовая броситься на подругу, которая ее чѣмъ-то задѣла; остальные хохочутъ: каждое лицо типично, каждое живетъ своею жизнью, и въ то-же время участвуетъ въ общей сценѣ. Въ уголкѣ старуха-пьяница прервала на время работу и, опрокинувъ надъ открытымъ ртомъ бутылку съ водкой, жадно ловить послѣднія капли. Повторяемъ: эти лица, это полутусклое освѣщеніе сѣраго дня сквозь запыленное окно, эти позы, эти ситцевыя потертыя, ветхія платья, все это — чудо реализма и точности природѣ, все это — почти сама жизнь, если не моментальная фотографія. Но въ этомъ-то черезъ-чуръ «протокольномъ» реализмѣ является намъ и недостатокъ картины: въ ней души самого художника нѣтъ, а если есть его душа, то душа не изъ любящихъ: онъ только чувствовалъ отвращеніе къ этимъ грубымъ лицамъ, нахальнымъ позамъ и манерамъ, къ этой вѣдьмѣ, жадно

тянущей остатки сивухи, но онъ не вложилъ въ свою картину никакой иной думы о судьбѣ, о жизни, о душѣ этихъ бѣднягъ, дѣйствительно уродливыхъ и, вѣроятно, изуродованныхъ нуждой, жизнью въ роскошномъ городѣ, развратомъ, водкой и круглымъ невѣжествомъ. А все это можно было прочувствовать и сказать зрителю. Какъ? Я не знаю,—это дѣло художника. Я знаю одно, что самая удивительная картина, въ смыслѣ исполненія, остается прекрасной моментальной фотографіей, если я не вижу въ ней души художника, отразившей въ себѣ всю глубину того явленія, которое онъ мнѣ рисуетъ. Этой-то глубины я тутъ не вижу, тутъ взять безразличный моментъ. Если за этимъ моментомъ и рисуется что нибудь, то лишь одинъ безразсвѣтный мракъ и ужасъ. А этого въ жизни не бываетъ. Абсолютной тьмы нѣтъ на землѣ. Въ самой сильной земной тьмѣ есть свѣтъ, самая темная ночь кончается разсвѣтомъ... Безъ души и сердца нѣтъ истиннаго искусства.—Душа и сердце всегда вѣрятъ въ свѣтъ. А тьма абсолютная не можетъ быть предметомъ искусства. Даже въ знаменитой Байроновской «Тьмѣ» мы стоимъ на границахъ ея, это—только угроза тьмой, а не тьма. Въ абсолютной тьмѣ ничего нельзя различить, а безъ различенія нѣтъ искусства, нѣтъ даже сознанія. Этимъ мы вовсе не хотимъ навязывать нашимъ художникамъ какія-нибудь сантиментальности въ изображеніяхъ грубой жизни: нѣтъ, пусть они будутъ вѣрны дѣйствительности и, если эти несчастныя паріи столицъ, дѣйствительно, такъ отвратительны, пусть не скрываютъ этого, но въ такомъ случаѣ, они должны избирать такіе моменты изъ ихъ жизни, которые-бы полнѣе и глубже освѣтили эту жизнь со всѣхъ сторонъ. Неужели-же въ этой жизни никогда не было ни луча, ни проблеска свѣта, души, сердца? А если не было, что-же ее сдѣлало такой?

Нѣтъ, мы вовсе не поклонники тенденціозной сантиментальности. Мы, напр., не можемъ отнестись съ особыми похвалами къ картинѣ Геллера: «Отправленіе дѣтей изъ Воспитательнаго Дома». Правда, у автора были прекрасныя намѣренія и кое-что въ картинѣ ему удалось, но всю картину онъ испортилъ излишней сантиментальностью и погоней за эффектомъ: картина представляетъ желѣзно-дорожную станцію, поѣздъ готовъ къ отходу, передъ вагонами стоятъ крестьянскія бабы, увозящія дѣтей въ деревню для вскармливанія, а матери этихъ несчастныхъ дѣтей, довольно бѣдно одѣтыя дѣ-

вушки, прощаются съ ними, быть можетъ, въ послѣдній разъ. Поза одной изъ нихъ, лица которой не видно, сдѣлана до того прекрасно, что вызываетъ слезы на глаза: несчастная бросилась къ ребенку, обхватила его руками, приникла къ нему лицомъ и грудью и не можетъ оторваться. Но картину портитъ фигура дѣвушки, стоящей на первомъ планѣ, лицомъ къ зрителю: у нея лицо совсѣмъ обезумѣвшее, искаженное судорогами. Быть можетъ, и бывають такія лица, но... вѣрнѣе сказать, что это — пересолъ: горе русскихъ бѣдныхъ дѣвушекъ проще по формѣ не такъ мелодраматично, хотя отъ этого — не менѣе глубоко. Это жанръ съ оттѣнкомъ тенденціи. Чисто бытовымъ характеромъ отличается картина Тихомірова, «Игра въ карты», гдѣ у забора какой-то фабрики, группа рабочихъ, сидя на землѣ дуется въ три листика. Пожалуй, тутъ есть и сатира. Болѣе сатирическимъ духомъ отличается очень недурно написанная сцена «Въ загородномъ саду Ливадіи» г-жи Судковской - Самокишъ: за столикомъ сидятъ мужчины, изъ золотой молодежи, къ нимъ подсѣла шикарно - одѣтая «дама полу - свѣта», а лакей татаринъ, склонившись благоговѣйно, ожидаетъ приказаній: все это довольно типично и характерно.

Мы перечислили все сколько-нибудь выдающееся и можемъ перейти на выставку передвижниковъ, если упомянемъ о картинѣ «Арестъ царевны Софіи» г. Карелина, картинѣ, показывающей талантъ въ авторѣ, владѣющемъ экспрессіей лицъ и хорошимъ письмомъ деталей.

И такъ, идемъ къ «Передвижникамъ». Ради справедливости, начнемъ и здѣсь съ такихъ вещей, которыя считаются публикой самыми слабыми: такой является по общему мнѣнію, картина г. Гэ, «Совѣсть». Я старался уяснить себѣ то раздраженіе, которое вызывается въ послѣднее время въ обществѣ картинами г. Гэ, и, мнѣ кажется, общественное мнѣніе можно резюмировать въ такой формѣ: «Этотъ нѣкогда очень талантливый художникъ, повидимому, задался въ послѣднее время цѣлью — удивлять почтеннѣйшую публику странностью и необыкновенностью, которыя онъ, должно быть, считаетъ геніальностью. Конечно, это большая ошибка, но... представьте себѣ большое полотно, изображающее ночь, т. е., вѣрнѣе сказать, какое-то ущелье, посребренное свѣтомъ луны. Вдали видна удаляющаяся толпа, освѣщенная факелами, а на первомъ планѣ стоитъ, нѣсколько согнувшись, высокая фигура, закутанная, начиная съ головы, бѣлой простыней. Лица почти



не видно, такъ какъ оно нарисовано въ профиль, и отчасти скрыто краемъ простыни. Чернѣетъ слабо намѣченный силуетъ, и больше ничего. Выраженія лица не видно, но можно догадаться, что фигура смотритъ вслѣдъ удаляющейся толпѣ. При чемъ-же тутъ совѣсть? Ну-съ, догадайтесь-ка! Это въ родѣ загадочной картинки, на которыхъ пишутъ внизу: «гдѣ осель?» или: «гдѣ кошка?» и, подумавъ, осла или кошку можно отыскать; здѣсь даже и этого нѣтъ: вы начинаете искать совѣсть и думаете долго, пока кто-нибудь изъ сосѣдей, уже изъ газетъ узнавшій—въ чемъ дѣло,—а газетамъ сообщилъ или самъ г. Гэ, или его знакомые,—не разрѣшить вамъ этого quasi-ребуса: видите-ли, эта фигура въ простынѣ—Иуда, а уходящая толпа, это—стража съ Иисусомъ, котораго предалъ Иуда; ну, а совѣсть спрятана внутри Иуды,—поэтому онъ и согнулся такъ.—Надо имѣть очень большое стремленіе къ «геніальничанью», чтобы не понимать, что это — нелѣпо, бессмысленно, что это — не живопись, а іероглифы, да еще такіе плохіе, что для чтенія ихъ надо приглашать или самого автора или его знакомыхъ... Вообразите себѣ, напр., что наша современная цивилизація вдругъ погреблась подъ пепломъ какого-нибудь вулкана, какъ древняя Помпея, и отъ нея уцѣлѣла только картина г. Гэ. И вотъ ее отрываютъ черезъ тысячу лѣтъ: что изъ нея пойметъ человѣчество? Не ясно-ли, что такіе картины будутъ требовать новыхъ Шампольоновъ. Не ясно-ли, что г. Гэ возвращаетъ насъ къ тому графическому выраженію идей, которое было тысячи лѣтъ тому назадъ, а говоря проще, что все это есть очевидный атавизмъ, возвращеніе къ типу предковъ, но атавизмъ раздражающій, досадный, потому что онъ увѣренъ, будто онъ говоритъ новое слово, открываетъ Америку! Ну, и что-жь съ этимъ дѣлать! Пожалѣмъ талантливаго художника, который, впрочемъ, найдетъ себѣ и поклонниковъ («ново — молъ, оригинально!»), пожалѣмъ и этихъ поклонниковъ, и пойдемъ мимо: тутъ ничего не подѣлаешь, когда человѣкъ начинаетъ ходить спиной впередъ и, уходя такимъ образомъ назадъ, думаетъ, что мчится впередъ».

Быть можетъ, въ этихъ разсужденіяхъ есть доля справедливости, но намъ хотѣлось-бы взглянуть на дѣло съ нѣсколькой иной точки зрѣнія. Нельзя-ли новую картину объяснить чѣмъ-либо инымъ, а не маниакальнымъ стремленіемъ къ величію, стремленіемъ, въ которомъ будто-бы проявляется только атавистическое перерожденіе мозга?

Въ картинѣ есть какой-то другой недостатокъ, который не вызываетъ прямо и немедленно именно того ряда мыслей, какой желалъ вызвать г. Ге, а возбуждаетъ, наоборотъ, какое-то досадливое, почти комическое впечатлѣніе при видѣ этой глупой, длинной фигуры, окутанной простыней. Это чувство «комизма» убиваетъ серьезныя думы; художникъ, очевидно, больше поэтъ, чѣмъ художникъ-пластикъ; онъ не чувствуетъ комизма этой фигуры, для него этотъ комизмъ заслоненъ субъективнымъ, поэтическимъ созданіемъ, той поэмой, которую онъ носилъ въ своей душѣ, а зритель подходитъ къ картинѣ безъ этой поэмы, смотритъ ее просто, и картина еще должна въ немъ разбудить эту поэму художника-поэта. Между тѣмъ, видя прежде всего эту комическую фигуру, зритель не только не настраивается на созданіе въ себѣ ряда образовъ, волновавшихъ художника, онъ просто досадуетъ, смѣется и досадуетъ.

Это — ошибка художника, но это — не манія величія, не атавизмъ, а просто преобладаніе въ г. Ге поэта надъ живописцемъ-пластикомъ.

Къ картинамъ слабымъ, если не по исполненію, то по замыслу, можно отнести холстъ г. Ярошенко: «Проводилъ». Внутренность вокзала желѣзной дороги. Поѣздъ только что ушелъ, о чемъ можно судить по клубамъ пара, еще висящимъ въ воздухѣ. Какой-то прилично-одѣтый старичекъ одинъ остался на платформѣ, заложивъ руки назадъ и старчески-уныло поглядывая на отошедшій поѣздъ. Ничего особенно выразительнаго или интереснаго нѣтъ ни въ позѣ старика, ни въ выраженіи его лица. Стоить-ли затрачивать столько силъ и недюжиннаго искусства, какимъ владѣетъ г. Ярошенко, на подобный сюжетъ?

Не особенно много говорить душѣ и другая его картина, «Въ теплыхъ краяхъ», на которой изображена молодая барыня, очевидно, больная, закутанная, среди южной растительности. Лицо дамы — не особенно выразительное, ничего не говоритъ ни уму, ни сердцу. Видно, что она больна, и только. Что же дальше? Если могла уѣхать со своей болѣзнью въ теплые края, ну, и слава Богу; другіе больны еще хуже и не могутъ оторваться отъ холоднаго сѣвера, отъ душныхъ и вонючихъ петербургскихъ комнатъ, чердаковъ и подваловъ. Такая картина и есть на выставкѣ, называется она «Пе-

чальная перспектива», но нарисована не г. Ярошенко, а Бухгольцемъ. Въ небольшой, бѣдной, но довольно чистой комнаткѣ умираетъ, должно быть, въ чахоткѣ еще не старый человѣкъ, интеллигентный, писатель или художникъ. Двое маленькихъ дѣтей, мальчикъ и дѣвочка, весело играютъ на полу, не подозрѣвая своей участи. Ихъ третья сестра, постарше, лѣтъ 8—9, стоитъ въ ногахъ отцовской постели и смотритъ на игру младшихъ съ выраженіемъ и невольнаго дѣтскаго участія, и серьезнаго, недѣтскаго раздумья. Это двойственное выраженіе, представляющее весьма трудную задачу, замѣчательно удалось художнику и показываетъ въ немъ не дюжинный талантъ. На картинѣ изображена и еще фигура, пожилой женщины, сидящей въ ногахъ больного, фигура довольно неопредѣленная: она черезъ-чуръ стара для жены умирающаго; кто-же она? Бабушка-ли этихъ дѣтей, или сердобольная соседка—старушка, ухаживающая за дѣтьми и принесшая провизию съ рынка? Эта неопредѣленность мѣшаетъ впечатлѣнію. Въ такихъ картинахъ необходимо строго обдумывать положеніе лицъ, чтобы вниманіе зрителя не отвлекалось посторонними размышленіями и вопросами, чтобы всѣ отношенія были сразу для него ясны. Тогда только вся сумма вниманія поглощается основной идеей картины, и можетъ явиться въ результатѣ глубокая эмоція, не разсѣянная и не ослабленная никакими побочными соображеніями.

Къ лучшимъ, по выраженію, картинамъ слѣдуетъ отнести картину Заруцкаго: «Лиза» (изъ «Дворянскаго Гнѣзда» Тургенева), «Уничтоженіе Новгородскаго Вѣча» прекрасную картину К. В. Лебедева, и «Опять Провалился» Н. Кореня. Вы, конечно, помните, читатель, милый, поэтичный, идеальный образъ Лизы изъ «Дворянскаго Гнѣзда», Лизы беззавѣтно полюбившей несчастнаго Лаврецкаго, жена котораго, прожигавшая до тѣхъ поръ жизнь въ Парижѣ, вдругъ, какъ снѣгъ на голову, сваливается на плечи мужа, со своей маленькой избалованной дѣвчонкой-дочерью: Лиза уходитъ въ монастырь, гдѣ и хоронитъ свою молодую любовь, свою молодую жизнь... Вы помните, что Лаврецкій, спустя нѣсколько времени, посѣтилъ монастырь и видѣлъ Лизу: она прошла мимо него въ своей черной одеждѣ, отрѣзавшей ее отъ міра, прошла опустивъ глаза въ землю, и только что-то дрогнуло въ ея лицѣ, когда она, низко наклоня голову, проскользнула, какъ тѣнь. Въ это



время была весна, все зацвѣтало и благоухало. Вотъ, должно-быть, именно этотъ-то самый день, послѣ того, какъ Лиза вернулась въ свою келью и заперлась въ ней одинокая, на вѣки похороненная,—художникъ и избралъ сюжетомъ своей картины. Вы видите внутренность этой небольшой, чистенькой кельи. Направо окно; оно распахнуто, изъ него врывается въ келью весна, съ ея солнцемъ, запахомъ цвѣтовъ, шумомъ листьевъ и щебетаніемъ птицъ. Передъ окномъ на столикѣ, покрытомъ скатертью, стоитъ стаканъ съ цвѣтами сирени... А на кровати, приставленной къ лѣвой стѣнѣ, — противоположной окну, сидитъ Лиза, въ своемъ черномъ монашескомъ костюмѣ. И что это за-лицо! Оно еще прекрасно, но горе и тяжелыя думы уже положили свой слѣдъ на эти милыя черты. Сжавъ руки и уронивъ ихъ на колѣни, она спиной прислонилась къ подушкамъ и смотритъ безпредметно куда-то впередъ, и вы чувствуете по этимъ сжавшимся, напряженнымъ бровямъ, по этому безнадежному взору, по всей позѣ,—какая тоска и любовь, какой рядъ чудныхъ воспоминаній и погибшихъ надеждъ на счастье пробудился въ этой душѣ. Она не плачетъ, нѣтъ: слезъ не видно, но каждая черта ея лица полна такимъ горемъ, которое сильнѣе рыданій, которое рыданія только облегчили-бы. Надъ ея головой, въ углу, рядъ иконъ съ горящими лампадами; правѣе, почти подъ иконами, у задней стѣны,—аналой, съ раскрытой церковной книгой. Вотъ тѣ духовныя средства, которыя помогали ей до сихъ поръ побѣждать и умирять свою тоску, свои порывы къ жизни, помогали оставаться вѣрной тому, что она разъ рѣшила, какъ свой долгъ, отъ котораго не должна отступать. Вы какъ будто видите тѣ безсонныя ночи, тѣ томительные дни, когда она простаивала на колѣняхъ передъ этими образами, рыдая и умоляя Бога исцѣлить муку ея сердца,—когда она, глотая слезы, давая рыданія, заставляла себя читать эту книгу съ пожелтѣвшими листами, чтобы въ ея словахъ найти вновь и вновь опору для борьбы съ своимъ сердцемъ. Вы какъ будто видите еще вереницу дней и недѣль, и мѣсяцевъ и годовъ, и десятковъ лѣтъ, когда она будетъ жить здѣсь, сперва борясь съ собою, то молитвой, то чтеніемъ, то снова будетъ сидѣть въ этой-же потрясающей позѣ, уставившись взоромъ въ свое погибшее прошлое, и опять молясь, пока совѣсть не побѣдитъ себя и не отрѣшится отъ міра не тѣломъ однимъ, но и сердцемъ... Чудная картина!

Въ «Лизѣ» мы видимъ драму, хотя и личную, но въ то-же время и общечеловѣческую, однако, драму внутреннюю, драму, состоящую въ произвольномъ отказѣ отъ жизни, и счастья, во имя идеи нравственнаго долга, — въ картинѣ-же Лебедева «Уничтоженіе Новгородскаго Вѣча». передъ нами драма историческая, драма цѣлаго общества, пришедшая не изнутри души, а извнѣ, изъ столкновенія древней свободы и жизни съ дальнѣйшимъ моментомъ историческаго процесса развитія Московскаго государства, процесса объединенія отдѣльныхъ областей и свободныхъ (вѣчевыхъ) городовъ въ одно крѣпкое, сплоченное тѣло Россійскаго Государства.

Съ точки зрѣнія постепенной эволюціи политическихъ учреждений, такое объединеніе является продуктомъ необходимости во внѣшней защитѣ, во-внѣшней прочности общественнаго цѣлаго, ради успѣха въ борьбѣ за существованіе съ другими такими-же, но иноплеменными общественными организациями <sup>1)</sup>. Историческія личности, какъ Іоаннъ III или IV, приведшія въ исполненіе это объединеніе, повидимому, какъ-бы собственной волей, — являлись, съ эволюціонной точки зрѣнія, лишь орудіями этого процесса, исполнявшими волю, стоявшую выше ихъ воли, хотя и имъ самимъ, и вѣкъ казалось тогда, что это — только ихъ личная воля. Поэтому - то, процессъ подобнаго объединенія субъективно всегда очень тяжелъ, труденъ, сопровождается страданіями и душевными муками объединяемыхъ, привыкшихъ къ свободѣ, къ полной самостоятельности, какъ было въ Новгородѣ. Свобода «Лизы» отдана ею самою въ жертву тому, что она считала долгомъ своимъ. Здѣсь — тоже мука, но мука, которая умѣряется сознаниемъ исполненнаго долга. Новгородъ и новгородцы не могли чувствовать, какъ «Лиза», что поступиться своей свободой необходимо ради «долга» — большей крѣпости и самозащиты отъ внѣшнихъ враговъ. Ихъ тоска о былой жизни ничѣмъ не умѣрялась, и вотъ на картинѣ Лебедева мы видимъ эту народную тоску: колоколь, который сзывалъ новгородцевъ на вѣче, а въ то-же время былъ символомъ ихъ свободы, уже снятъ и поставленъ на полозья, запряженные лошадьми; его привязали къ полозьямъ крѣпкими московскими веревками, и

---

<sup>1)</sup> См., напр., соч. Герберта Спенсера: «Развитіе политическихъ учреждений».

уже никогда не прозвучить его свободной голосъ, сейчасъ увезутъ его по этому пушистому снѣгу, а съ нимъ увезутъ и былую жизнь, и былую, привычную, дорогую свободу. И вотъ нѣсколько новгородскихъ гражданъ, какъ-бы въ послѣднихъ конвульсіяхъ борьбы, рѣшили сопротивляться, но ихъ одолѣли московскіе воины, имъ скрутили руки назадъ и бросили на снѣгъ. Вотъ одному изъ нихъ забиваютъ ноги въ огромныя, деревянныя колодки; юноша — сынъ, почти мальчикъ, съ связанными назадъ руками, страшнымъ усиліемъ приподнялся и сѣлъ на снѣгу и смотритъ на отца, поваленнаго и заковываемаго, — ужаснымъ, безумѣющимъ взглядомъ. Онъ безсильно рвется изъ своихъ веревокъ, всѣ жилы на лицѣ напряжены, глаза налиты кровью. Впереди всѣхъ, лицомъ къ публикѣ стоитъ высокая мощная женщина, богато одѣтая: руки у нея также связаны назадъ, но она не рвется, она смотритъ впередъ, какъ Лиза, куда-то въ непредѣльную даль, и что она видитъ тамъ, — бывшее-ли счастье, или тѣ пытки и кары, которыя завтра истерзаютъ и ее, и ея близкихъ, — Богъ знаетъ! По бокамъ этихъ главныхъ фигуръ — толпа: сколько тутъ типовъ, сколько выраженій! Вотъ почтенный сѣдобородый старикъ, рыдая, кланяется въ поясъ своему увозимому колоколу; вотъ другой сталъ на колѣни и кланяется ему земно; вотъ третій, протянувъ руки впередъ и сжавъ кулаки, произноситъ проклятія кому-то. Около самаго колокола дряхлый юродивый старецъ, въ лохмотьяхъ и тяжелыхъ желѣзныхъ веригахъ, что-то пророчествуетъ въ экстазѣ своими блѣдными губами и смотритъ вдаль грядущаго своими безцвѣтными, полуслѣпыми, слезящимися глазами. Народъ стоитъ вездѣ — и на стѣнахъ и на крышахъ. Зимній воздухъ туманенъ, даль церковей и домовъ постепенно теряется въ дымкѣ... Справа въ толпѣ виднѣтъ рыжій сановникъ московскій, разговаривающій съ иностранцемъ: лицо иностранца грустно — вдумчиво, лицо сановника насмѣшливо и весело...

Таково содержаніе картины въ ея главныхъ моментахъ. Она полна жизни, движенія и внутренней правды. Внѣшняя отдѣлка почти не оставляетъ желать ничего лучшаго: туманный морозный воздухъ и воздушная перспектива — замѣчательны; позы, выраженія лицъ — говорятъ. Да, въ г. Лебедевѣ мы имѣемъ крупный, могучій талантъ, и дай ему Богъ долго здравствовать и поработать побольше, не покидая насъ



такъ рано, какъ сдѣлалъ покойный Литовченко, изъ прекрасныхъ картинъ и этюдовъ котораго образовалась цѣлая особая комната при выставкѣ передвижниковъ.

Но—мы не будемъ говорить о ней пока, такъ какъ нашъ обзоръ затянулся. Скажемъ кратко объ остальныхъ картинахъ выставки: «Опять провалился» изображаетъ довольно взрослого гимназиста, сообщающаго съ крайнимъ смущеніемъ матери о новой неудачѣ на экзаменѣ: выраженіе лицъ юноши, стоящаго съ потупленнымъ взоромъ у стола, скатерть котораго онъ, въ смущеніи, бессознательно ковыряетъ пальцемъ, выраженіе лица матери, пожилой небогатой женщины, сидящей въ креслѣ, отвернувшись отъ него, превосходно сдѣланы: мать уныло смотритъ впередъ, точно думаетъ: «что-же мнѣ теперь дѣлать, что мнѣ дѣлать?»

Выставка передвижниковъ богата пейзажами, среди которыхъ особенно выдѣляются слѣдующіе: «Ранній снѣгъ», чудная правдивая картина поздней осени — В. Д. Полѣнова: эти облетѣвшія деревья, этотъ первый, еще дѣвственный коверъ молодого снѣга, эта рѣка, бѣгущая внизу, сѣрая и темная, еще неуспѣвшая замерзнуть, все это — сама природа; вамъ кажется, что вы чувствуете этотъ холодокъ, этотъ свѣжій запахъ перваго зимняго воздуха.... Эта картина—верхъ совершенства, простоты и внутренней поэзіи въ пейзажѣ. Картина Левитана, «Тихая обитель», изображающая раннее ясное, лѣтнее утро, въ нашей сѣверной природѣ, рѣку, а за ней изъ-за деревьевъ — бѣлые куполы и золотыя главы монастыря, до того правдиво передаетъ нашъ мѣстный, сѣверный колоритъ утренняго освѣщенія, какого-то особеннаго, холодноватаго и влажнаго, розовато-золотого,—что совершенно заставляеть обманываться глазъ: кажется, что стоишь не передъ картиной, а видишь и эту рѣку, и эту сырую траву и эти влажныя деревья, и розовыя облака, и сіяющее блѣдно-голубое небо.

Очень хорошъ пейзажъ Е. Е. Волкова «Югá», т. е. сухой туманъ, бывающій въ жаркіе лѣтніе дни, туманъ застилающій какъ дымомъ и солнце и всѣ предметы. Небо становится не голубымъ, а молочнымъ. Вы чувствуете, что на небѣ есть солнце, но его не видно, а видно лишь какое-то свѣтлое пятно. Лѣсъ, точно въ таинственной дымкѣ, стоитъ въ какой-то истомѣ, все тускло, все печально, все точно ждетъ чего-то страшнаго и таинственнаго.

Нѣсколько лѣсныхъ картинъ Шишкина отличаются обычнымъ высокимъ мастерствомъ: самая лучшая, «Лѣсная полянка» въ нашемъ сѣверномъ лѣсу (смѣсь сосны и ели), въ солнечный лѣтній день. Совершенно забываешь, что видишь картину, а не природу, а другая его картина, «Сосна», вызвала не мало пререканій въ печати только потому, что г. Шишкинъ прибавилъ къ названію поясненіе (изъ извѣстнаго стихотворенія Лермонтова). Въ этомъ его ошибка: картина не соотвѣтствуетъ этому стихотворенію; она, по нашему мнѣнію, совсѣмъ другое «стихотвореніе», нарисованное красками, не менѣе поэтичное, чѣмъ Лермонтовское, и, если-бы г. Шишкинъ не приписалъ Лермонтовскихъ стиховъ, всѣ-бы получали гораздо большее впечатлѣніе именно потому, что теперь всѣ ищутъ въ картинѣ идеи Лермонтова и, не находя ея, раздражаются: вѣдь, петербуржцы—народъ аккуратный, народъ—чиновникъ, ему подай все «по списку», чтобы «по реестру» было все «въ точности». Что картина хороша сама по-себѣ, петербуржецъ этого никакъ въ толкъ не возьметъ. А картина чудная, глубоко-поэтическая! Зимняя, лунная свѣтлая ночь. На первомъ планѣ, на скалѣ засыпанной снѣгомъ, стоитъ сосна, вся сверху до низу покрытая снѣгомъ. Внизу подъ ней видно сквозь лунный сумракъ безконечное пространство лѣсовъ, уходящее вдаль и, наконецъ, сливающееся съ туманной ночной далью. Въ этой безконечно - далекой дали кто-то зажегъ костеръ, и онъ чуть брежитъ сквозь туманъ, говоря вамъ о людяхъ въ этой заснувшей снѣжной пустынѣ, въ этомъ царствѣ спящихъ лѣсныхъ великановъ. Лунный свѣтъ на снѣгу и въ небѣ просто поразителенъ. Это — настоящій лунный свѣтъ, это настоящій снѣгъ. А какая даль! Какая широта! Становится и жутко, и привольно, и элегически - грустно; душа просится куда-то, когда смотришь на эту ночь, что-то закопошится въ сердцѣ, и слезы подступаютъ къ глазамъ. Почти такое-же сильное впечатлѣніе производитъ полупейзажъ, полужанръ Савицкаго, изображающій такую-же лунную ночь и такую-же лѣсную снѣжную даль съ только-что вскрывшейся рѣкою, ранней весной. Только эта ночь дополняется живыми фигурами: слѣва, гдѣ у Шишкина сосна, у Савицкаго уголъ крестьянскаго дома. Въ окнахъ огонь; подъ окнами, какъ во всѣхъ домахъ сибирскихъ крестьянъ, придѣлана полка, на которой выставляютъ хлѣбъ и сѣбное для бѣглыхъ «нес-

частненькихъ», вереницами уходящихъ съ каторги и поселений подъ гнетомъ тоски по родинѣ, по свободѣ и природѣ. И вотъ около избы стоитъ нѣсколько такихъ бродягъ, прячась за углы и робко оглядываясь по сторонамъ. Они жадно пьютъ что-то изъ выставленного кувшина. Тутъ разные типы: есть, повидимому, и убійцы, изъ простыхъ,—есть и какая-то интеллигентная фигура, съ польскимъ типомъ лица. А ночь такъ ясна и покойна! Лунный свѣтъ дробится въ ледяныхъ сосулькахъ, висящихъ съ откоса крыши... Долго стоишь и смотришь и не можешь оторваться отъ этой ночи, съ далеко уходящей и извивающейся внизу лѣсной рѣкой, съ этими несчастными людьми, которые уйдутъ, вотъ сейчасъ, и затеряются въ этихъ лѣсахъ, въ этихъ тающихъ снѣгахъ, въ этомъ ночномъ сумракѣ, притягиваемые, какъ магнитомъ, образами далекой родины, родного дома, родныхъ лицъ...

Чтобы не утомлять дальше читателя, но не обойти и талантливыхъ художниковъ, мы только перечислимъ еще слѣдующіе прекрасные пейзажи: Волкова — «Тундры и бѣлая ночь», Васнецова — «Тайга» (не говоримъ объ его утрѣ въ уральскихъ горахъ, потому что ему не удалось освѣщеніе лѣсныхъ вершинъ: оно вышло не освѣщеніемъ, а просто чѣмъ-то рыжимъ или заржавленнымъ), «Водяныя лиліи» — Холодковского (сама природа!), Крыжицкаго «Ока близъ Алексина», А. Киселева — «Старый Сурамскій перевалъ» (чудная, совсѣмъ живая картина утра въ кавказскихъ горахъ, по уступамъ которыхъ мчится поѣздъ).

Мы желали-бы упомянуть еще три очень милыхъ картины: «Сумерки» Матвѣева, «Гости» (не помнимъ чья) и «Наемъ новой прислуги» В. Маковского. Сумерки изображаютъ старичковъ (мужа и жену) у топящейся печки, въ помѣщицьемъ или, быть можетъ, купеческомъ, домѣ. Въ дверь видна слѣдующая комната, въ окно которой,—покрытое морозными узорами,—виденъ зимній сумеречный пейзажъ съ тонкимъ серпомъ молодого мѣсяца. Картина полна правды и тихой, угасающей жизни—и этихъ старичковъ, и самой природы. «Гости», это—два мальчика, пришедшихъ къ прачкѣ-землячкѣ, живущей, вѣроятно, у господъ, въ большомъ городѣ. Прачка гладитъ бѣлье у окна, выходящаго во дворъ. Ребятъ она усадила на какой-то ящикъ, а на табуретку, служащую столомъ, поставила имъ чай. И съ какимъ наслажденіемъ пьютъ



его эти добродушные, вихратые ребята, видимо, избытшіе порядочно, пока добрались до «тетки»!

«Наемъ прислуги» полонъ юмора: румяная, франтоватая горничная, съ зонтикомъ въ рукахъ, въ сильно накрахмаленномъ платьѣ, явилась утромъ наниматься къ господамъ. Семья господъ пьетъ утренній чай: тутъ «барыня», старательно разыгрывающая даму, супругъ ея, отставной военный, закуривающій старомодную трубку, и изъ подъ густыхъ бровей разсматривающій новую горничную искоса, глазомъ стараго «знатока», сынъ-гимназистъ лѣтъ 17, съ ершами на головѣ, съ истощеннымъ худосочнымъ лицомъ: онъ совсѣмъ осоловѣлъ, увидѣвъ такую «великолѣпную» будущую прислугу. Еще мальчикъ, поменьше, смотритъ на дѣвушку враждебно. Всторонѣ стоитъ старушка (быть можетъ, старая нянька или прислуга, которую должны разсчитать), она съ комической враждебностью разсматриваетъ щеголиху, а та смиренно потупила глаза, хотя отъ нея такъ и вѣетъ развязностью, которая, переходя предѣлы простой бойкости, показываетъ, что она «видала виды». Однако, довольно, хотя осталось и еще не мало вещей, о которыхъ стоило-бы поговорить.

Созерцатель.

## ХРОНИКА ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ.

---

Самодѣтельность, ея связь съ моралью личнаго самосовершенствованія, ея значеніе общественно-историческое и жизненно-практическое. — Факты русской самодѣтельности въ Сарапулѣ, Кологривѣ. — Куда еще слѣдовало-бы направить общественную самодѣтельность. — Случай въ Москвѣ. — Преслѣдованіе штундистовъ. — Письмо Бартенева и дневникъ Маріи Висновской.

Въ прошлой книжкѣ мы указали, что отличительнымъ признакомъ нашей эпохи можно считать начинающуюся частную самодѣтельность. Намъ хотѣлось-бы сказать здѣсь нѣсколько подробнѣе о томъ, какъ мы смотримъ на такую самодѣтельность, какое великое значеніе придаемъ ей. Одинъ изъ историковъ Западной Европы, проводя параллель между исторіей Англіи и Испаніи, справедливо замѣчаетъ, что одна изъ главныхъ причинъ прочности и постоянства англійскаго прогресса заключалась въ самодѣтельности англичанъ, тогда какъ, наоборотъ, испанцы оставались всегда болѣе пассивными, всегда ожидали, что всякія блага снизойдутъ къ нимъ откуда-то извнѣ. Въ силу такихъ особенностей національнаго характера, развившихся, конечно, вслѣдствіе многообразныхъ причинъ лежащихъ въ далекомъ прошломъ каждаго народа, Англія шла твердо и устойчиво впередъ, не смотря ни на какія колебанія во внѣшнихъ условіяхъ, въ даровитости или, наоборотъ, малоспособности своихъ министровъ; частная самодѣтельность въ ней господствовала и преобладала надъ всѣми внѣшними теченіями. А въ то-же время, въ Испаніи, малѣйшее колебаніе во внѣшнихъ условіяхъ отражалось на жизнедѣтельности всей страны, которая то поднималась, то падала, то доходила до высшаго напряженія внутреннихъ силъ, то впадала въ крайнѣе отчаяніе и апатію, смотря потому,

какой дуль вѣтеръ въ ея политикѣ. Такимъ образомъ, читатель пойметъ, что внутренняя самодѣтельность въ странѣ— все, она — альфа и омега; безъ нея — ничто невозможно, потому что безъ нея даже самыя крупныя пріобрѣтенія жизни обращаются въ ничто при малѣйшихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, даже такихъ, въ сущности, ничтожныхъ, какъ крикъ какого-нибудь газетнаго пройдохи, — вродѣ французскаго Деруледа, который мѣсяца два тому назадъ чуть не опрокинулъ только что установившееся равновѣсіе Франціи и ея сравнительно терпимыя отношенія съ Германіей, возбуждивъ агитацію противъ пріѣзда въ Парижъ матери теперешняго германскаго императора. Въ Англіи ничто подобное было-бы невысказуемо. Мнѣ скажутъ, что французы едва-ли не столь-же самодѣтельны, какъ Англичане, но это большая ошибка: она именно и состоитъ въ томъ, что у насъ самодѣтельность народовъ измѣряютъ большей или меньшей номинальной свободой ихъ государственныхъ учреждений; во Франціи республика, — думаютъ у насъ, — стало-быть она самодѣтельнѣе даже Англіи, въ которой до сихъ поръ господствуетъ монархія. Но стоитъ немного подумать, чтобы понять, въ чемъ тутъ ошибка: да, сейчасъ во Франціи республика, но давно-ли тамъ былъ бонапартовскій режимъ, и кто поручился-бы еще недавно, что эта республика не смѣнится буланжизмомъ, т. е. тѣмъ-же бонапартизмомъ, но подъ другимъ соусомъ. Но отчего-же это происходитъ? Какая основная причина такой политической шаткости? Причина очевидна, если вспомнимъ исторію бонапартизма и буланжизма, а исторія эта состояла въ томъ, что французы, ожидая великихъ благъ не отъ собственной самодѣтельности, а отъ отдѣльныхъ лицъ, должны были по необходимости надѣяться и на спасеніе страны какими-либо лицами, отдавая имъ свою судьбу. Подобная вѣра въ «лица» сводитъ почти всю внутреннюю жизнь на борьбу лицъ и изъ-за лицъ. Принципы-же отходятъ въ общемъ сознаніи на задній планъ, а между тѣмъ только принципы вѣчны и прочны, только на нихъ можно полагаться. Среди-же всѣхъ принциповъ — самый важнѣйшій, это — самодѣтельность, т. е. по возможности наименьшее возлаганіе надеждъ на другихъ, на отдѣльныхъ лицъ, на вожakovъ, и надежда только на себя, да на дружное объединеніе между отдѣльными «я». Во Франціи, если хотите, есть самодѣтельность, но это — самодѣтельность низшаго типа, выдвигающая всегда впередъ какихъ-либо



возжаковъ и слѣпо подчиняющаяся имъ; припомните опять исторію: громкій возгласъ Мирабо, горячая рѣчь Демулена совершаются, повидимому, чудеса въ этой странѣ. Но какъ непрочны эти чудеса, которые сегодня способенъ производить Мирабо или Демулень или Роланъ, а завтра этотъ Роланъ, по крику четвертаго вожака, падаетъ на плахѣ, а затѣмъ и этотъ вожакъ падаетъ за нимъ, по слову пятаго и, наконецъ, весь строй мгновенно мѣняется по приказу шестаго и т. д., и т. д.; ничья жизнь, ничья работа, ничье благо, никакіе принципы, никакія учрежденія тутъ не прочны, не обезпечены, не долговѣчны. Мало этого, народъ привыкаетъ къ быстрымъ перемѣнамъ, дѣлаетъ ихъ своимъ символомъ вѣры; является въ цѣломъ народѣ опасная нервность и истеричность, напоминающая нервныхъ и истеричныхъ барынь, у которыхъ,—что ни часъ—то новый капризъ и прихоть. А, затѣмъ, такому народу грозитъ неизбежное историческое паденіе и вымираніе. Есть иная самодѣятельность, и такую самодѣятельность мы видимъ, напримѣръ, въ Англіи: при ней, какъ мы сказали, рассчитываютъ не на лица, не на вожаковъ, а на самихъ себя, на свою дѣятельность, энергію, стойкость, и на сочетаніе отдѣльныхъ самостоятельныхъ энергій. Только такая самодѣятельность даетъ прочность и устойчивость какъ внутренней такъ и внѣшней жизни, и только она должна быть идеаломъ.

Въ нашемъ русскомъ обществѣ нѣкоторымъ предвѣстникомъ такого идеала являлась моральная теорія, начало которой можно считать съ Достоевскаго: это—теорія личнаго нравственнаго усовершенствованія, явившаяся въ замѣнъ теоріи, господствовавшей въ 60-хъ годахъ и ставившей принципомъ почти исключительно—улучшеніе внѣшней среды. Мы этимъ вовсе не хотимъ сказать, что моральное ученіе самосовершенствованія и общественная теорія самодѣятельности суть одно и то-же, нѣтъ, это—не одно и то-же, но и логически, и исторически одно обуславливаетъ другое, а именно: моральная теорія самоусовершенствованія и логически, и исторически всегда имѣетъ результатомъ общественную теорію самодѣятельности. Какъ это происходитъ логически, это вполнѣ понятно: люди, которые полагаютъ сперва всю свою вѣру въ личномъ совершенствѣ, въ концѣ концовъ, не могутъ замкнуться въ себѣ самихъ; улучшивъ себя, ихъ воля не можетъ не проявиться во внѣ: это—естественной законъ воли и жизни. И вотъ,

это проявленіе всегда совершается въ видѣ той самодѣятельности, которую мы считаемъ идеаломъ, т. е. самодѣятельности личной, не полагающейся на вожаковъ, но въ то-же время весьма способной къ коллективности, потому-что предварительная личная выработка устраняетъ обычные причины, мѣшающія коллективности, а именно—черезъ чуръ развитія самолюбія, честолюбія и т. п. пороки, требующіе выдѣленія себя изъ среды другихъ, требующіе становиться во главѣ, руководить, отчего и возникаютъ интриги, ссоры и паденіе всякаго предпринятаго добраго дѣла.

И такъ, вотъ логическій переходъ отъ моральной теоріи самосовершенствованія къ теоріи общественной самодѣятельности. Что-же касается историческихъ фактовъ, то они станутъ ясны каждому, кто подробнѣе ознакомится съ исторіей Кальвина и Нокса и съ вліяніями ихъ ученій въ Швейцаріи, Шотландіи и Англіи. Предполагая, что наши читатели интересующіеся этимъ вопросомъ, или знакомы съ этими фактами, или ознакомятся съ ними, мы ограничимся этимъ общимъ указаніемъ. Теперь читателямъ нашимъ станетъ понятно, почему въ своихъ статьяхъ и хроникахъ, мы больше всего отводимъ мѣсто фактамъ русской самодѣятельности: въ самомъ дѣлѣ, различныя мѣропріятія, исходящія отъ отдѣльныхъ лицъ, смѣняющихся и могущихъ имѣть разныя точки зрѣнія, хотя и интересны, хотя и имѣютъ большое вліяніе на жизнь, но ихъ вліяніе условно, и сила его, такъ сказать, обратно пропорціональна самодѣятельности общества. Наоборотъ, эта самодѣятельность неизмѣнна, не зависитъ ни отъ лицъ, ни отъ событий, потому что она развивается въ націи, какъ характеръ въ человѣкѣ, путемъ воспитанія, упражненія и привычки и, развиваясь, укореняется, становится неизмѣняемымъ и всевозрастающимъ источникомъ общественной прочности, преуспѣянія, мира и покойнаго, непреодолимаго развитія общественныхъ силъ и способностей. Оно есть фундаментъ, на которомъ держится, зиждется и строится все остальное: всѣ этажи общественнаго зданія, всѣ его орнаменты, колонны и украшенія, прочность которыхъ пропорціональна прочности фундамента.

Но, кромѣ такого широкаго, общественнаго значенія самодѣятельности, у нея есть и другое, хотя и второстепенное, но важное значеніе чисто практическое, житейское, о которомъ будемъ говорить ниже. И такъ, читателю теперь ясно, почему

насъ радуютъ всякіе малѣйшіе проблесты общественной само-дѣтельности, даже такіе, повидимому, маленькіе какъ устройство гдѣ-нибудь въ глуши какого-нибудь кружка трезвости или потребительнаго товарищества, или воскресной школы.

Кстати мы узнали, что въ г. Сарапулѣ устроилось потребительное товарищество. Разберемъ на такомъ маленькомъ примѣрѣ практическое, житейское значеніе само-дѣтельности. У насъ часто можно слышать разочарованіе въ подобныхъ предпріятіяхъ и при томъ разочарованіе, основанное повидимому, на фактахъ, я не разъ слышалъ, да и самъ былъ свидѣтелемъ, что такія товарищества, несмотря на свою огромную благодѣтельность, почти всегда у насъ, въ концѣ концовъ, распадаются. Отчего это? Но прежде, чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, посмотримъ, въ чемъ состоитъ благодѣтельность такихъ товариществъ. А очень просто: всѣ теперь вопять противъ кулаковъ, противъ скупщиковъ и торговцевъ, берущихъ огромный процентъ за свои услуги по снабженію общества товарами и продуктами, на чемъ они наживаютъ огромные капиталы, а потребители являются для нихъ такими-же данниками, созидаящими ихъ богатство, какими были въ средніе вѣка, крѣпостные, созидавшіе богатства своихъ рыцарей. Но въ средніе вѣка, это держалось на силѣ, на правѣ и трудно было уйти отъ этого. Что-же теперь дѣлаетъ людей и юридически, и экономически свободныхъ, — рабами поставщиковъ? Только одно: отсутствіе само-дѣтельности: нѣтъ способности у людей соединиться въ товарищество, собрать общими взносами небольшой капиталъ и устроить свой складъ необходимыхъ товаровъ, покупаемыхъ изъ первыхъ рукъ, т. е., безъ того процента, который получаютъ кулаки, торговцы и скупщики. Каждая деревня, каждый маленькій городъ, каждая улица въ большомъ городѣ, могли-бы имѣть для себя такіе склады; и вотъ уже почти четверть той экономической тяжести, о которой всѣ ноютъ, была-бы устранена.

Но отчего-же такъ мало подобныхъ товариществъ? Оттого, что вообще мало само-дѣтельности, а во-вторыхъ, тамъ, гдѣ она и явится, гдѣ устраиваются подобныя товарищества, они скоро разстраиваются, а почему? Я видѣлъ паденіе такого товарищества въ Харьковѣ, и еще въ маленькомъ городѣ Варнавинѣ, Костромской губ., и по всюду оно случалось. Потому, что само-дѣтельность была не сознапной потребностью всѣхъ,



а только двухъ-трехъ лицъ, которыя вызовутъ временно энергію въ окружающихъ, а затѣмъ эти окружающіе возложатъ все дѣло на этихъ-же двухъ-трехъ, а сами успокоятся, заснутъ, и тогда достаточно пустой случайности, отъѣзда, болѣзни или смерти кого-либо изъ заправиль и вожаковъ, и все дѣло падаетъ.

Часто дѣло разстраивается изъ-за самолюбій, ради желанія главенствовать, или отъ рѣзкости и несдержанности однихъ и сильной обидчивости другихъ. Но, вѣдь, все это происходитъ отъ одной и той-же неразвитости общественныхъ инстинктовъ, а именно инстинкта или привычки общественной самодѣтельности. Но слѣдуетъ-ли отъ этого опускать руки? Слѣдуетъ-ли думать, что такъ будетъ всегда, что это — законъ самой жизни! Вотъ въ этомъ-то и ошибка: факты такихъ паденій доказываютъ только одно, что самодѣтельность еще не воспиталась, не развилась, не вошла въ привычку, а это показываетъ, какъ разъ обратное: т. е., что если не падать духомъ, если продолжать дѣло, не смотря даже на неоднократныя его паденія, то дѣло непременно пойдетъ, потому что привычка непременно образуется, стало быть, воспитаніе совершится путемъ упражненія, а затѣмъ послѣдуетъ и развитіе.

И такъ-же точно не въ одномъ дѣлѣ, а во всѣхъ. Чтобы такія дѣла шли, держались и развивались, люди, сознавшіе уже значеніе самодѣтельности, должны, по возможности, вести ихъ такъ, чтобы пріучить къ общественному труду всѣхъ окружающихъ, а самимъ постепенно отстраняться отъ роли руководителей и держаться сперва въ группѣ контролирующей, расширяя, по возможности, и ее, чтобы и тутъ явились всегда готовыя силы, способныя замѣнить инициаторовъ. Однимъ словомъ, если инициаторы сознаютъ не только практическое, но и общественно-психологическое, почти историческое значеніе всѣхъ такихъ, повидимому, маленькихъ дѣлъ, они съумѣютъ сдѣлать ихъ школами общественно-воспитывающими русскаго человѣка, у котораго, одного, быть можетъ, изъ всѣхъ европейскихъ народовъ, существуетъ печальная поговорка, конечно, выработанная прошлымъ: «моя хата съ краю, я ничего не знаю».

Разумѣется, при существованіи такой поговорки, у насъ нечего даже и мечтать о томъ развитіи самодѣтельности, которое такъ скрашиваетъ жизнь любой нѣмецкой колоніи,

городка или даже деревни, гдѣ есть десятки общественныхъ учреждений, дающихъ пищу и уму, и сердцу, и общественному чувству. Такою-же способностью къ самодѣтельности богата Швеція, Норвегія и наша маленькая Финляндія. А у насъ жизнь захолустій полна только картами, сплетнями и водкой, да такими скандалами, о какихъ иностранцы и понятія не имѣютъ, какъ, напр., скандалъ, случившійся на дняхъ въ одномъ медвѣжьемъ углу нашего отечества, гдѣ публично и жестоко была оскорблена одна изъ выдающихся и талантливейшихъ нашихъ писательницъ только за то, что кто-то изъ мѣстныхъ чиновниковъ не поладилъ съ другимъ чиновникомъ, состоящимъ въ дружескихъ и близкихъ отношеніяхъ къ этой писательницѣ. И вотъ тутъ, въ нашемъ захолустномъ обществѣ тотчасъ является самодѣтельность! Но какая жалкая, позорная самодѣтельность, направленная только личными мелкими самолюбышками! И направленная-то исключительно на оскорбленіе незащитной женщины. Экіе герои! Но будемъ вѣрить, что это — случаи исключительные, и посмотримъ, нѣтъ-ли и въ глуши чего-либо отраднago. Да, есть, и все чаще приходится о немъ слышать. На этотъ разъ, особенно отратно было услышать пріятныя вѣсти потому, что дѣло идетъ о далекомъ земствѣ Кологривскаго уѣзда Костромской губерніи. Пессимисты уже похоронили совсѣмъ наше земство, а между тѣмъ оно, нѣтъ нѣтъ, — да и скажетъ: «живъ, живъ Курилка!»

Вотъ, что мы нашли въ № 85 «Русскихъ Вѣдомостей»:

Изъ постановленій только-что закрывшагося уѣзднаго земскаго собранія очередной сессіи текущаго года нельзя не отмѣтить касающихся народнаго образованія. Во-первыхъ, земское собраніе постановило открыть въ текущемъ году 4 начальныхъ народныхъ училища по ходатайству 4-хъ волостей, представившихъ свои приговоры. Затѣмъ, крестьяне двухъ сельскихъ обществъ Потрусовской волости, не удовлетворяясь имѣющей у нихъ церковно-приходской школой, представили приговоры съ ходатайствомъ передъ собраніемъ объ открытіи у нихъ начального народнаго училища. Собраніе постановило открыть училище, если епархіальное начальство изъявитъ на то согласіе.

Рядомъ съ этой дѣятельностью земской, инициаторами которой являются, однако, крестьянскія общества (что еще от-

раднѣе) въ той-же корреспонденціи сообщаются свѣдѣнія и о доброй инициативѣ частныхъ лицъ: такъ,

собраніе приняло предложеніе мѣстной землевладѣлицы г-жи Антиповой устроить передвижныя сельскія бібліотеки при школахъ. Каждая 4 школы будутъ имѣть свою бібліотечку, причѣмъ между ними будетъ производиться обмѣнъ книгами по мѣрѣ ихъ прочтенія. На весь уѣздъ такихъ дешевыхъ бібліотекъ потребуется 6 для 24 школъ.

Затѣмъ собраніе постановило, воспользовавшись услугами костромской комиссіи народныхъ чтеній, которая постепенно устраиваетъ чтенія и въ уѣздныхъ городахъ, устроить и въ гор. Кологривѣ народныя чтенія съ тѣневыми картинами, ассигновавши на приобрѣтеніе волшебнаго фонаря около 180 руб.

Какъ на характерный фактъ, укажу на пожертвованіе 300 рублей однимъ безграмотнымъ крестьяниномъ (фамилія Оомичевъ) на устройство зданія для школы, которая должна была закрыться за ветхостію помѣщенія.

Посмотрите, читатель, сколько можно сдѣлать въ глуши, и сколько тамъ нужно дѣлать! И неужели нашимъ интеллигентнымъ людямъ, ворчащимъ съ либеральнымъ апломбомъ на отсутствіе дѣла, не стыдно передъ этимъ простымъ, неграмотнымъ крестьяниномъ Оомичевымъ, который вотъ знаетъ, что дѣлать и дѣлаетъ истинно доброе и благое.

А развѣ и въ большихъ городахъ не меньше дѣла для самодѣтельности... Развѣ при существованіи самодѣтельности были-бы возможны такіе факты, какъ нижеслѣдующій:

Въ Москвѣ, 27 марта, около 6 часовъ вечера, на пассажирской станціи московско-ризанской желѣзной дороги, покушался на самоубійство сынъ крестьянина Калужской губерніи, Мещевскаго уѣзда, дер. Крутой, Иванъ Афанасьевъ Рожковъ, 13 лѣтъ. Послѣдній легъ между рельсами въ то время, какъ маневрирующій паровозъ осаживалъ три порожнихъ пассажирскихъ вагона съ главнаго на второй запасный путь; паровозъ былъ остановленъ, и Рожковъ вынутъ изъ подъ третьяго вагона невредимымъ и препровожденъ въ жандармскую канцелярію, гдѣ объяснилъ, что, служа ученикомъ въ портновской мастерской Желѣзнава, находящейся въ домѣ Веренцова, по Земляному валу, намѣревался лишить себя жизни вслѣдствіе частыхъ побоевъ, наносимыхъ старшимъ мастеромъ Королевымъ. 26 марта, около 12 час. дня, послѣ побоевъ Рожковъ ушелъ изъ дома на Дѣвичье поле, гдѣ и ночевалъ въ одномъ изъ балагановъ,



а затѣмъ вчера былъ на Ярославскомъ и Николаевскомъ вокзалахъ, но тамъ не нашелъ удобнымъ броситься подъ поѣздъ, вслѣдствіе многолюдства, и прійдя въ 5 час. на Рязанскій вокзалъ, выбралъ моментъ, когда было удобно лечь подъ поѣздъ. Рожковъ имѣетъ мать, находящуюся въ услуженіи, и отца. Покушавшійся на самоубійство отправленъ въ 1-й уч. Басманной части для удостовѣренія въ личности.

Администрація не можетъ быть вседѣюща и слѣдить за обращеніемъ съ дѣтьми въ каждой мастерской, а ихъ разсѣяно въ каждомъ домѣ нѣсколько. Тутъ нужна частная инициатива! И что-же? Мы имѣемъ общество покровительства животнымъ, но до сихъ поръ не додумались устроить общество покровительства дѣтямъ. Впрочемъ, въ Петербургѣ есть уже подобное общество, и на-дняхъ въ немъ былъ возбужденъ и разрабатывается этотъ важный вопросъ для ходатайства передъ правительствомъ. Точно также, только частная инициатива и самодѣятельность могли-бы устранить у насъ и еще одно зло, грязное и отвратительное, это сквернословіе. Администрація уже обратила на него вниманіе. Инициатива принадлежитъ, какъ пишутъ «Недѣлѣ», московскому полиціймейстеру:

вѣроятно, подъ впечатлѣніемъ масляничнаго разгула, онъ издалъ приказъ по полиціи, въ которомъ указываетъ ей обязанность преслѣдовать сквернословіе во всѣхъ общественныхъ мѣстахъ. Существуетъ, оказывается, специальная статья—263 устава о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій, изд. 1876 года, существуетъ специальное рѣшеніе уголовного кассационнаго департамента сената 1872 г., № 829, по которому сквернословіе, даже не обращенное ни къ кому лично, должно судиться по ст. 38 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. Этотъ приказъ московскаго полиціймейстера былъ встрѣченъ чрезвычайно сочувственно печатью, и не только въ Москвѣ. Въ Кіевѣ онъ вызвалъ другое подобное-же распоряженіе. Кіевскій городской голова отнесся официальной бумагой къ мѣстному полиціймейстеру съ просьбой оказать содѣйствіе въ борьбѣ съ сквернословіемъ, причемъ указываетъ на весьма частыя и справедливыя жалобы публики, особенно женщинъ, указываетъ законы и примѣръ московской полиціи. Еще ранѣе, саратовскій губернаторъ А. И. Косичъ, во время своихъ разъѣздовъ по губерніи, внушалъ крестьянамъ о неприличіи злоупотреблять священнымъ именемъ матери. Нѣтъ сомнѣнія, что прекрасныя

попытки Москвы, Кіева и Саратова вызвать и въ другихъ городахъ подражанія. Начинается, такимъ образомъ, какъ-бы маленькое движеніе мѣстныхъ властей, очевидно подъ давленіемъ мѣстнаго интеллигентнаго общества. Въ добрый часъ!

Не можемъ, въ концѣ нашей хроники, не упомянуть о фактахъ изъ другой области, а именно изъ области борьбы со штундистами: нѣкоторыя консисторіи ходатайствуютъ, чтобы штундистамъ давались «особые» паспорта, а иныя требуютъ, чтобы ихъ нигуда не принимали на работы. Между прочимъ,

въ Кіевѣ привлечены были къ уголовной отвѣтственности у мирового судьи 12 штундистовъ за устройство у себя моленныхъ собраний. Полиція замѣтила, что обвиняемые имѣютъ періодическія сборища, на которыхъ читаются Евангеліе и молитвы, а также произносятся поученія. Потребовали отъ нихъ подписку о прекращеніи собраний, но штундисты не выдали ея. Тогда околадочный надзиратель съ городовыми и понятыми явились въ квартиру крестьянина Пиканова и застали собраніе въ числѣ 20 человѣкъ. На столѣ лежали Библія, Новый Заветъ и Псалтырь на русскомъ языкѣ. На вопросъ о причинѣ собранія, участники его отвѣчали: «Для чтенія слова Божія и молитвы». Въ результатѣ, 12 человѣкъ были представлены къ мировому судѣ, который приговорилъ каждого изъ нихъ къ штрафу въ 40 рублей, съ замѣною, въ случаѣ несостоятельности, двухмѣсячнымъ арестомъ.

Конечно, въ этихъ дѣлахъ, частная инициатива и самостоятельность, повидимому, не причемъ, однако, всмотритесь, читатель, поглубже и вы увидите, что каждый изъ васъ, при достаточномъ желаніи и любви, могъ-бы многое сдѣлать. Въ самомъ дѣлѣ, что такое штундисты? Это—обыкновенные русскіе мужики, которые пожелали поближе познакомиться съ священнымъ писаніемъ, Библіей, Евангеліемъ, и въ одномъ этомъ желаніи ихъ никто не усмотрѣлъ-бы, вѣроятно, ничего преступнаго; если усматриваютъ преступленіе, то, очевидно, въ томъ, что они объясняютъ эти книги не такъ, какъ учитъ православная церковь, да еще и собираются для этого. Мы не будемъ здѣсь говорить о томъ, какое значеніе въ дѣлахъ совѣсти и религіознаго пониманія можетъ имѣть кака-бы то ни было мѣра, выходящая за предѣлы убѣжденія, поученія словомъ и примѣромъ. Мы хотимъ сказать другое: очевидно, источникъ явленія, которое передъ нами, и за которое люди

тяжко страдают, лежить въ жаждѣ религіознаго познанія, въ жаждѣ узнать, прочесть и понять священныя книги. Таковъ источникъ штундизма, это-то очевидно. Но не ясно-ли, что въ этомъ случаѣ частная самодѣтельность публики могла-бы очень помочь народу устройствомъ обществъ, которыя-бы имѣли своей спеціальной цѣлью духовныя чтенія и толкованія народу тѣхъ книгъ, которыя особенно интересуютъ крестьянъ. На Рождество, на масленицу, на Святую недѣлю сотни и тысячи студентовъ семинарій и академій уѣзжаютъ въ провинціальную глушь, въ деревни и,—по инициативѣ такого спеціального общества,—они повсюду могли-бы вести, хотя въ это праздничное время, духовныя бесѣды, удовлетворяющія этой, очевидно, страшно назрѣвшей потребности народной души.

Мы упустили-бы изъ виду еще одну важную сторону значенія самодѣтельности, если-бы не обратили вниманія на ея роль въ общемъ смягченіи нравовъ, въ упорядоченіи вообще нашей жизни: въ самомъ дѣлѣ, какъ отчасти мы уже замѣтили, жизнь въ нашей глуши до того пуста, мелочна, безсодержательна, что люди поневолѣ лѣзутъ на стѣны и совершаютъ всякія безобразія. Самодѣтельность, широко-развитая и хорошо-направленная исцѣлила-бы наше общество отъ его одуряющей пустоты и скуки, отъ той скуки, благодаря которой, по чьему-то выраженію, въ провинціи «даже мухи мрутъ». Но развѣ въ одной провинціи только? Развѣ въ столицахъ не было-бы меньше прожиганія жизни, нелѣпаго бросанія денегъ, каскадныхъ пѣвицъ, кокотокъ, и всякихъ нелѣпостей, если-бы большая масса людей была охвачена потребностью участвовать въ самодѣтельности, хотя-бы того числа обществъ, которое уже имѣется у насъ? А до чего доводить это прожиганіе жизни среди нашихъ свѣтскихъ юношей, лучшимъ примѣромъ можетъ служить, уже извѣстное конечно нашимъ читателямъ, дѣло Бартенева, убившаго артистку Висновскую, въ Варшавѣ. Мы до сихъ поръ не говорили объ этомъ дѣлѣ, потому что матеріалъ его былъ не настолько выдающимся изъ общаго уровня, чтобы навести на какія-либо новыя соображенія, о которыхъ не говорилось-бы тысячу разъ въ нашемъ журналѣ.

Эта исторія была одной изъ многихъ подобныхъ, иллюстрирующихъ едва-ли только наше время, какъ говорили нѣкоторые.



Нѣтъ, это новое повтореніе того-же Алеко, давно ужъ нарисованнаго Пушкинымъ, и такъ глубоко, такъ чудно понятаго Достоевскимъ въ его знаменитой рѣчи на Пушкинскомъ праздникѣ. Трудно сказать лучше, чѣмъ сказано Достоевскимъ о «гордомъ человѣкѣ», и мы не будемъ повторять. Но вотъ что: на-дняхъ въ газетахъ появились новое письмо Бартенева и отрывки изъ дневника самой Висновской, и эти письма, и дневникъ проливаютъ нѣсколько новый свѣтъ, если не на самую драму (она уже закончена, и мы оставимъ ее въ покоѣ), а на причины и источники того душевнаго состоянія, какими вызываются подобныя драмы.

Мы выпишемъ все письмо и подчеркнемъ тѣ мѣста, которыя намъ кажутся особенно важными:

Письмо Бартенева къ его другу В.

«Дорогой Сергѣй! Письмо твое получилъ и, хотя поздно, отвѣчаю; но что-же дѣлать! Лучше поздно, чѣмъ никогда. Пословица не всегда вѣрная. Навѣрное, ты, читая мое письмо, будешь думать: «Ишь, дьяволъ, пишетъ точно пьяная муха, попавшая въ чернила!». Но что-же дѣлать? Почеркъ, какъ говорятъ, есть, если не зеркало, то до извѣстной степени выраженіе характера. Я все тотъ-же лоботрясина, какъ и былъ; если хочешь — хуже, такъ какъ два года самостоятельной жизни наложили свою печать. А потому, братъ, не удивляйся, если въ одинъ прекрасный день ты узнаешь, что я себя тарахнулъ такъ, здорово живешь, въ видѣ новости еще неиспытанной, а можетъ быть, въ видѣ отдыха отъ тяжелыхъ трудовъ. Я дошелъ до такого безразличія, что мнѣ все равно, живу днями; сегодня хорошо, ну и слава Богу, а что будетъ завтра? Утро вечера мудренѣе; ляжешь дуракомъ, а встанешь—еще глупѣе; все равно ничего не выдумаешь. Добился я репутаціи славной: первый пьяница чуть-ли не въ цѣлой Варшавѣ, хотя не имѣлъ въ душѣ никогда любви къ вину. А почему и отчего? Но какъ и все, что я дѣлалъ и дѣлаю, и буду дѣлать. Носить меня вѣтромъ изъ стороны въ сторону. Вѣришь-ли ты, частенько другой разъ плачешь... Такъ и проживу весь вѣкъ, если проживу. Чувствую иногда въ душѣ такую силу и влеченіе ко всему хорошему, благородному, честному, что грудь лопається, а какъ оглянешься, такъ только чувствуешь пустоту и опять становишься пошлякомъ. Отчего-же другіе мои

сверстники ничего подобнаго не ощущаютъ. Они счастливые меня; что-же мнѣ съ собою дѣлать? Я сталъ страшно нервный: вѣришь-ли, другой разъ, зимой, ночью, въ мятель, въ холодъ, я ѣзжу, вскочивъ съ постели, кататься верхомъ, по улицамъ, изумляя даже городскихъ, которые привыкли ничему не удивляться; ѣзжу вполне трезвый и не съ перепоя. Хочу схватить какой-то неуловимый мотивъ, который, какъ-будто, гдѣ-то слышалъ, и все его нѣтъ и нѣтъ, а кругомъ все пусто, рѣжетъ ухо. Влюбился я не въ такую, какими набита вся Варшава, какъ ты, можетъ быть, думаешь. Она также полюбила меня, морду свиную, и что-же: я ее хотѣлъ убить, револьверъ далъ осѣчку; у меня выступилъ холодный потъ, но съ той поры я сталъ ея бояться, стыдиться и разлюбить, почему и отчего—не знаю и понять не могу, но такъ есть. Ломать комедію я не могъ и прямо сказалъ, а она еще болѣе ко мнѣ привязалась. Боже тебя избави писать о моемъ состояніи К., а то дойдетъ до отца. Ну, я тебѣ надобѣлъ своей мерихлюндіей; поговоримъ о другомъ, а то подумаешь, что я спятилъ. Твой Сашута ражій.

«Р. С.» Адресъ мой ты знаешь—Россія, «корнету Барте-неву».

Письмо это написано было Бартевымъ въ маѣ 1890 года. Другъ его В., узнавъ о совершенномъ имъ убійствѣ, прислалъ это письмо въ Варшаву слѣдственной власти.

Въ этомъ письмѣ, вы видите не только не пошляка, но недюжиннаго даже человѣка: у него есть горячее, страстное стремленіе къ чему-то высокому, прекрасному, благородному... Онъ старается уловить это прекрасное, которое ему кажется имѣющимъ сходство съ чуднымъ, неуловимымъ мотивомъ... Но гдѣ оно, въ чемъ оно? Несчастный юноша томится по немъ, онъ ищетъ его, носясь верхомъ, зимой, по пустыннымъ улицамъ Варшавы. Но, конечно, онъ не тутъ найдетъ его: изъ «себя» самого оно не скажется. Это въ немъ тоскуетъ и плачетъ сила, сила человѣчная, жаждущая удовлетворенія, живаго дѣла, живой работы. Какъ онъ бранитъ себя, какъ унижаетъ! И это—черта замѣчательная: она показываетъ, что въ немъ есть возможность развитія къ лучшему, его не удовлетворяютъ подвиги одного молодечества или той славы «перваго пьяницы въ Варшавѣ», которую онъ приобрѣлъ, не чувствуя ни малѣйшей страсти къ вину, стало

быть, приобрѣлъ исключительно отъ избытка силъ, не зная куда ихъ пристроить, и направилъ ихъ на тотъ путь, который былъ всего ближе, обычиѣ... Но онъ ужъ мучится этимъ, кается въ этомъ, значить, онъ не только не дурной человѣкъ, пѣтъ, въ немъ есть задатки, сѣмена всего прекраснаго, но всѣ эти сѣмена, не зная добраго исхода, уходятъ, не вѣсть на что, и «шатаетъ его изъ стороны въ сторону»... Какое горькое, до слезъ горькое, глубоко-опасное душевное состояніе юноши, который, въ сущности, прекрасенъ, силенъ, рвется къ свѣту и добру, но не видитъ, гдѣ оно и въ чемъ. И вотъ, молодая сила, прекрасная сила извратилась, погибла, опозоренная, подавленная мукой раскаянія, которое, конечно, тяжелѣе для такой натуры даже той страшной кары, которую наложилъ на него законъ.

Подумайте теперь, могло-ли-бы случиться что-нибудь подобное, если-бы этотъ юноша видѣлъ передъ собою настоящее, живое, благое, творческое дѣло, въ которое-бы онъ могъ вложить не однѣ только силы свои физическія, но и душу, и сердце? А такое дѣло возможно только при развитіи самодѣятельности; въ той-же военной средѣ есть такое дѣло: читаются лекціи, обучаются грамотѣ солдаты... Не выходя даже изъ своей среды, онъ нашелъ-бы дѣло по душѣ, если-бы въ нашей публикѣ вообще было больше сознанія важности, почтенности этого дѣла, если-бы его вообще больше уважали, любили, ставили на высоту, ставили выше всего и, во всякомъ случаѣ, выше какихъ-то якобы подвиговъ молодечества. Одно время, среди нашихъ офицеровъ и было такъ, быть можетъ, есть и теперь, но... очевидно, недостаточно: необходимо поднять этотъ благородный духъ соревнованія въ добромъ, умственномъ, дѣйствительно высокомъ направленіи труда для другихъ, для меньшаго брата, для науки, самообразованія и просвѣщенія окружающей среды.

Начавъ говорить о Бартенеvѣ, невольно хочется сообщить также и выдержки изъ дневника его жертвы, тоже въ сущности натуры глубоко-симпатичной и погибшей ни за что, жертвой пустоты актерской жизни, которая тоже могла-бы значительно подняться при большемъ развитіи самодѣятельности, правильно направленной на все доброе и прекрасное. Вотъ отрывки изъ этого дневника:

«Боже мой, о если-бы я могла, хоть за годъ до смерти, не думать о людяхъ, не думать о платьяхъ, о способѣ ихъ заго-



товления! Все это наскучило мнѣ, изнурило меня... Жизнь—это страшная глупость!

«Любовь любить неусыпность... Съ тѣхъ поръ какъ она исчезла, какъ сонъ (Висновская цитируетъ чьи-то слова), я умираю отъ тоски. Когда въ первый разъ я увидѣлъ глаза твои, у меня сильно забилося сердце въ груди: я увидѣлъ передъ собою двѣ звѣзды—глаза твои; они даютъ любовь, но не даютъ покоя».

«Въ жизни моей была одна маленькая минута, прекрасная какъ майскій день... Потомъ... потомъ осталось лишь нѣсколько увядшихъ цвѣтковъ и рой воспоминаній...

«Я дала слово и сдержу его. Боже, какъ люди смѣшны! Утверждаютъ, что я могу выйти замужъ по разсчету! Я?.. я выйду замужъ по разсчету?! Если-бы Добржанскій <sup>1)</sup>, напри-мѣръ, отказалъ мнѣ передъ бракомъ нѣсколько милліоновъ, то и въ этомъ случаѣ я не вышла-бы за него замужъ! Никто не знаетъ меня. Отчего?.. Можетъ быть, это, впрочемъ, и лучше. Я выйду замужъ только по любви. Любовь! Какое это чудное слово!.. Сколько прелести оно заключаетъ для меня, хотя я никогда еще не любила... Если это когда-нибудь наступить, о, я полюблю всею душою, всю жизнь отдамъ ей, если нужно будетъ... Какъ дѣйствуетъ на меня музыка! Ванда играетъ теперь ноктюрнъ Шопена,—сколько воспоминаній пробуждаетъ онъ въ моей головѣ. Въ послѣдній разъ я слышала его у Богоскихъ, сидя у окна...

«Станетъ-ли кто когда-нибудь вѣрить мнѣ такъ, какъ я заслуживаю этого? Нѣтъ, люди не могутъ понять меня: они считаютъ меня легкомысленною кокеткой. Но что-же дѣлать? Пусть думаютъ, какъ хотятъ... Какъ прекрасенъ этотъ романсъ Шопена; сколько въ немъ чувства, мысли... Хорошо его играетъ Donillet; я очень люблю его: это прекрасный характеръ, въ немъ настоящая душа артиста. О, Боже, какъ мнѣ теперь грустно! Мать моя, дорогая моя! я тоскую по тебѣ!.. Ты мое единственное счастье. Сколько я дала-бы за то, чтобы увидѣть тебя, упасть на колѣни передъ тобой и поцѣловать твои руки. Я рассказала-бы тебѣ о многихъ непріятностяхъ, которыя испытываю. Дорогая моя! никто не повѣритъ, что я тоскую по тебѣ. Я и не говорю никому объ этомъ; незачѣмъ жаловаться,

---

<sup>1)</sup> Львовскій милліонеръ.

вѣдь люди этого не любятъ. Матушка, я никогда никому не жалуясь, я всегда веселая, смѣюсь: вѣдь, это лучше всего... Сегодня я очень устала; впредь ужъ не буду играть въ двухъ пьесахъ: это слишкомъ мучить, изнуряетъ меня. Я страшно скучаю... Отчего нѣтъ теперь землетрясенія, луннаго затмѣнія или чего-нибудь въ этомъ родѣ, лишь-бы мнѣ не скучать... мнѣ?! Это просто невыносимо! три раза говорить со мною и влюбляется. Безумный! Всѣ эти горячія изліянія до-смерти надоѣли мнѣ. Можетъ быть, Борковский будетъ разсудительнѣе. Мать уговариваетъ меня принять предложеніе Абрагамовича <sup>1)</sup>: онъ богатъ, а мнѣ что до его богатства!? У меня достаточно денегъ, а не хватить—сѣумѣю заработать.

«Странно, что тотъ еще любитъ меня; четыре мѣсяца не сказалъ мнѣ ни слова, и я думала, что онъ уже забылъ прошлое, между тѣмъ, сегодня... безумный! Я чувствую къ нему непонятное отвращеніе; любви нѣтъ, это какое-то странное безуміе, котораго я не могу понять. Начинаю теперь бояться его: навѣрное, черезъ него у меня будетъ какая-либо непріятность. Это не благородный человѣкъ, а злой, лишенный чести и сердца; онъ постарается повредить мнѣ, можетъ... О, какъ скверно не имѣть родителей: не случись со мною того, что было сегодня, навѣрное никто-бы не посмѣлъ! Мнѣ кажется, что я никогда не прощу ему. Я всегда поступала съ нимъ, какъ съ братомъ, любила его, между тѣмъ, онъ... любовь извиняетъ...

«Пишу, возвратившись съ маскарада. Я сильно взволнована и очарована: второй разъ сегодня разговаривала съ Абакановичемъ. Онъ—первый мужчина, который мнѣ понравился, первый, который заинтересовалъ меня... меня! Онъ можетъ быть для меня опасенъ. Но, нѣтъ, я безумная, право: человѣкъ, котораго я видѣла два раза, опасный! Что со мною случилось!? Мнѣ понравился, мнѣ, которая всегда равнодушно слушала всѣ признанія въ любви, которая смѣялась надъ всѣми, влюбленными въ меня... Придетъ-ли онъ сегодня? Насколько знаю людей, онъ придетъ, если сказалъ. Нечего-же думать о немъ; это ни на что не похоже: вѣдь это циникъ, холодный, безбожный. Всегда-ли сознаетъ человѣкъ то, чего онъ хочетъ? Безумныя мысли пробѣгаютъ у меня въ головѣ. Люди смѣшны, глупы, а

<sup>1)</sup> Богатый помѣщикъ въ Галиціи—драматургъ.

еще болѣе скучны, смертельно скучны! Душа моя стремится къ чему-то, чего я сама не знаю. Боже, помилуй меня! Избавь отъ минутъ, подобныхъ этой: онѣ разстраиваютъ меня, мучатъ меня. Нѣтъ нигдѣ откровенности, нѣтъ правды: вездѣ ложь,—ложь и притворство. Всѣ люди производятъ на меня такое впечатлѣніе, будто они скроены по одной мѣркѣ. Абакановичъ отличается отъ нихъ: онъ оригиналенъ, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи вѣрности своимъ мыслямъ, до извѣстной степени обладаетъ даже откровенностью. Я никогда не интересовалась столь сильно тѣмъ, придетъ-ли онъ, или нѣтъ,—какъ сегодня. Придетъ-ли? Если не придетъ, то значить онъ лгалъ и не былъ занятъ мною ни на минуту; вѣдь, я не вѣрю тому, чтобы онъ боялся, онъ!.. Но уже слишкомъ много пишу о немъ. Я не понимаю себя самой. Какъ трудна задача актрисы: говоришь подчасъ самымъ откровеннымъ, самымъ сердечнымъ образомъ, а люди этому не вѣрятъ и въ ихъ глазахъ читаешь вопросъ: говорить-ли она откровенно или играетъ комедію? Говорятъ, что я отличаюсь отъ всѣхъ другихъ актрисъ, что я корыстолюбивая дипломатка... Какъ они забавны! Кто-же обыкновенно поступаетъ въ театръ? Какія женщины? Вѣдь, поступаютъ или злыя, или дѣти актеровъ, съ юныхъ лѣтъ пропитанныя порчею, лишенные почти всякаго образованія, начинающія учиться лишь въ позднемъ возрастѣ тому, съ чѣмъ я уже пришла въ театръ. Я—дочь честныхъ родителей, скромно воспитанная: люди не привыкли къ этому; они поражены, чуть не гнѣваются на меня. О, какъ я была-бы счастлива, если-бы могла здѣсь <sup>1)</sup> быть съ моей матушкой; я такъ люблю ее, такъ обожаю; я была избалована дома, а здѣсь... Впрочемъ и здѣсь меня любятъ, но никто въ мірѣ не замѣнитъ мнѣ матери, да къ тому-же такой матери, какъ моя. Несмотря на мой очень сильный характеръ, порою я чувствую себя столь слабою и безсильною, что, кажется, каждому позволила-бы руководить собою... Часто я очень сильно нуждаюсь въ ласкѣ, въ утѣшеніи... Вѣдь я молода: мнѣ всего 18 лѣтъ, и я уже предоставлена самой себѣ. Люди ничего не простятъ, ни о чемъ не забудутъ... Смѣюсь надъ собой: уже полчаса сижу и пишу противъ людей, что они злы и коварны; но это эгоизмъ! А сама-то я лучше ихъ? У меня развѣ нѣтъ недостатковъ? Ахъ, ахъ, что со мною сдѣла-

<sup>1)</sup> Во Львовѣ, до перехода Висновской на варшавскую сцену.



лось? Со вчерашняго дня грусть овладѣла мною; я то весела, то раздражена, то хочется смѣяться, то плакать... Довольно на сегодня»...

Вы чувствуете, что и эта душа неудовлетворена, что и ей нужна, кромѣ ея актерскаго труда, еще иная жизнь, наполняющая остающуюся пустоту сердца. Она ищетъ ее въ мечтательной любви, но такой любви почти нѣтъ для актрисы, а сердце болитъ, рвется и просить чего-то. И кто укажетъ ему кругомъ,—чего оно просить? Но будемъ читать дальше:

Она ищетъ отвѣта въ книгахъ и вотъ что находитъ.

«Когда человекъ начинаетъ разсуждать, онъ перестаетъ быть человекомъ» (Ж. Ж. Руссо).

...«А онъ, однако, не пришелъ, что это значить? Просто не желалъ или, всего вѣроятнѣе, Ладновская <sup>1)</sup> не разрѣшила ему. Нечего дѣлать: однимъ разочарованіемъ болѣе. Впрочемъ, можетъ быть, это и лучше, по крайней мѣрѣ, для меня... Слишкомъ ужъ я заинтересовалась имъ, слишкомъ много думала и—думаю еще до сихъ поръ. Чувствую сегодня сильную головную боль. Если это раздраженіе продлится, то, навѣрное, сильно заболѣю. Неужели я влюблена теперь? Охъ, нѣтъ, это невозможно. Сегодня я повеселѣла и сама смѣюсь надъ собой: это, говорятъ, лучше всего. Въ этой веселой, пустой, расчетливой, по мнѣнію людей, дѣвушкѣ онъ нашелъ-бы желаніе и стремленіе ко всему лучшему; для меня это невозможно: люди столь злы, что не позволяютъ быть доброю.

«Очень трудно мнѣ жить здѣсь одной, безъ попеченія и сердечнаго совѣта. Жизнь для меня очень тяжела. О, мать, матушка, ты моя единая! Если-бы хоть ты была счастлива. Я люблю тебя, люблю сильно, больше всего на свѣтѣ, почитаю тебя, мой святой ангелъ, бѣдная ты, мученица: она столь хила, нѣжна; у нея опасная болѣзнь сердца. Если-бы она умерла, я убила-бы себя: это намѣреніе постоянное, неотмѣнное, я не могла-бы жить, чувствуя, что я одна на свѣтѣ, что я никому не нужна. Я избрала-бы прекрасную смерть: наняла-бы маленькую комнату и велѣла-бы прекрасно устроить ее, обить розовой матеріей, посрединѣ поставить диванчикъ, окруженный вокругъ цвѣтами, главнымъ образомъ, жасминомъ. Музыка

<sup>1)</sup> Артистка—ранѣ львовской, а затѣмъ варшавской сцены.

играла-бы за стѣной... Я въ бѣломъ, скромномъ платьѣ, съ вѣнкомъ изъ бѣлыхъ розъ на головѣ, легла-бы среди цвѣтовъ, чтобы тихо, тихо задремать на вѣки... При плотно запертыхъ окнахъ запахъ столькихъ цвѣтовъ, навѣрное, убилъ-бы меня. Это было-бы прекрасно, идеально. Я заснула-бы тихо, спокойно... была-бы счастлива...

«Возвращусь скоро домой; радуюсь этому до крайности...

«Это—подлецъ! И подумать, если-бы я не нашла, если-бы я растерялась, онъ увезъ-бы меня! Но куда? Какое онъ имѣлъ намѣреніе? И это дворянинъ, графъ! Существуютъ-же на свѣтѣ столь злые, столь безчестные люди... Онъ... любить, А. П. любить! Негодяй! если-бы онъ зналъ, до какой степени я презираю его!..

«Прошло уже около двухъ мѣсяцевъ съ тѣхъ поръ, какъ я въ послѣдній разъ писала въ этой книжкѣ, и сколько произошло переменъ! Теперь Абакановичъ любить меня настолько, насколько мужчина способенъ любить... А я? Я смѣюсь надъ собою и надъ всѣмъ тѣмъ, что писала ранѣе: я сегодня ужъ вполнѣ равнодушна къ нему. Не фантазія-ли это моя, что я всюду нахожу границы, и что то, что уже кончено, для меня лишено всякой привлекательности?

«Отчего мнѣ недостаетъ чего-то, что я даже разъяснить себѣ не могу? Отчего, получивъ одно, я жажду другого? Отчего, скажите, я такъ печальна, столь несчастна! Вѣдь, кажется, все улыбается мнѣ, вѣдь, я будто-бы счастлива! Но чего-же я, собственно, желаю? Почему весь міръ представляется мнѣ столь смѣшнымъ? Не преувеличиваетъ-ли это моя излишняя чувствительность?.. Вчера мнѣ пришлось быть на кладбищѣ въ 10 часовъ вечера. Какая очаровательная картина! Луна обливала своимъ свѣтомъ надгробные кресты и камни. Впечатлѣніе было сильное: казалось, я окружена духами мертвыхъ. Не сумѣю даже высказать того, какое странное чувство овладѣло мною: кладбище успокоило меня; я чувствовала себя веселою, счастливою, мнѣ тамъ было хорошо. Если-бы я могла, я охотно провела-бы тамъ всю ночь...

«Еще одно разочарованіе. У меня была подруга, которую я любила отъ всего сердца, давала ей множество доказательствъ моей дружбы, привязанности. А она? Нѣтъ въ мірѣ ни любви, ни дружбы; нѣтъ ничего святого, одинъ лишь только гешефтъ: на немъ весь свѣтъ стоитъ. Я несчастна, я такъ вѣрила, такъ хочу вѣрить и на каждомъ шагѣ встрѣчаю лишь разочарова-

ніе. Мнѣ грустно... больно... Скука, скука... Въ театрѣ мнѣ, правда, везетъ, но внѣ театра — печаль, скука, упадокъ духа. Жизнь я веду несносную; никто, положительно никто не по-сѣщаетъ меня, я сама также мало бываю, а люди всегда найдутъ что-нибудь противъ меня. Ахъ, эта жизнь, эта жизнь, если-бы скорѣе окончилась она! Жизнь не для меня, о, нѣтъ! я не живу, я прозябаю, не могу долѣе, нѣтъ! Боже, что происходитъ во мнѣ? Это невыносимо... обиды я никогда не прощу, никогда, никогда! Никто меня не знаетъ...

«Не родиться—это самое большое счастье; разъ родившись—вторая степень счастья—по возможности ранѣе возвратиться къ небытію. Чудная мысль! Если-бы я была богата, смѣялась-бы, ахъ, смѣялась-бы я тогда надъ всѣми и надъ каждымъ. Сколько-бы людей искало тогда руки моей! Какъ-бы всѣ любили меня, обожали, вѣдь и теперь весьма многіе любятъ меня, исключительно ради интереса. Путешествовала-бы я тогда много; помогала-бы бѣднымъ, этимъ, дѣйствительно, бѣднымъ: я сдѣлалась-бы тогда вполне счастливою. Отчего у меня нѣтъ столько, чтобы я могла помогать неимущимъ? Замужъ я никогда-бы не пошла, да, никогда. Здѣсь, во Львовѣ, я живу, какъ монахиня: никто у меня не бываетъ и я мало у кого. Но долго я не могу такъ жить: такая жизнь не для меня. Я нуждаюсь въ впечатлѣніяхъ, въ обществѣ, впрочемъ, въ чемъ-бы то ни было, лишь-бы не сидѣть цѣлыми днями и не вышивать или играть, — это убиваетъ меня. Если-бы я долѣе жила въ этомъ уединеніи, я потеряла-бы и талантъ. Когда я выйду куда-нибудь за городъ, увижу небо въ прекрасный день или въ чудный вечеръ, я не могу опредѣлить, что происходитъ со мною... я чувствую себя счастливою, декламирую, пою... Была я разъ вечеромъ на кладбищѣ. Какъ тамъ было прекрасно: казалось... но нѣтъ, я не сумѣю описать этого чувства... Я чувствовала тогда въ себѣ талантъ; я желала, чтобы всѣ, бывшіе тогда со мною, удалились, а я осталась-бы одна и помолилась горячо у одной изъ могилъ... молилась-бы и... декламирала-бы... На слѣдующій день послѣ этого вечера я играла. Боже, какъ я тогда играла! Какъ никогда еще въ жизни. Какъ я хотѣла-бы влюбиться: любовь — это весьма интересная для меня загадка. Я воображаю себѣ любовь такой прекрасной, такой прелестной... Первый поцѣлуй... Но что-же я пишу?.. Если-бы кто-нибудь прочиталъ это, что онъ подумалъ-бы? Испорченная актриса?..»



Да, читатель, вы видите, что и здѣсь душа мечется изъ стороны въ сторону, «какъ пьяная муха» по выраженію Бар-тенева, она ищетъ удовлетворенія и въ философахъ, отъ которыхъ получаетъ глупые отвѣты о подавленіи разума,— ищетъ и въ любви, но встрѣчаетъ или отвратительныя покушенія, показывающія, какъ еще низокъ въ обществѣ уровень взглядовъ на женщину, или безумную бурю души, считаемую любовью, которую даетъ Бартеневъ, страдаемый тою же тоской и скукой по настоящей жизни. Ей рисуется, что она была-бы счастлива съ матерью, тамъ она жила-бы любовью, сердцемъ, пользовалась-бы сердечными совѣтами. Но она ошибается: да, она была счастлива около матери, но тогда она была ребенкомъ. Это время невозвратно. Это счастье можетъ быть дано только новою матерью, которую приобретаемъ мы, становясь зрѣлыми, и эта мать есть общество, и когда оно болѣе созрѣетъ, оно и дастъ смыслъ и содержаніе жизни, какъ родная мать...

Дай Богъ, чтобы это время наступило скорѣе, а теперь будемъ жадно и горячо ловить и отмѣчать признаки нашего духовнаго роста, нашего нравственнаго развитія и неизбежно идущей за нимъ, всеисцѣляющей самодѣятельности.

Л. О.

### Смерть Николая Васильевича Шелгунова.

Н. В. Шелгуновъ, какъ человѣкъ, принадлежалъ къ числу самыхъ симпатичнѣйшихъ людей, какихъ мы когда-либо знали. Умеръ онъ въ бѣдной квартирѣ, на 2-мъ дворѣ, по Вознесенскому проспекту, въ 4-мъ этажѣ. Эти ужасные петербургскіе дворы онъ описалъ въ своемъ послѣднемъ фельетонѣ въ «Русской Мысли» (№ 7), называя ихъ справедливо колодцами, на днѣ которыхъ лежатъ помойныя и выгребныя ямы, и въ которыхъ воздухъ никогда не освѣжается. Послѣдній свой фельетонъ онъ долженъ былъ уже продиктовать, но сколько въ немъ еще силы, молодости, вѣры, не смотря на то, что Шелгунову было уже давно за

60 лѣтъ, и мучительная, смертельная болѣзнь (ракъ) терзала его почти абсолютнымъ голоданіемъ и мучительными болями! Что поражало въ немъ больше всего, это именно необыкновенная сила духа, господство его, такъ сказать, надъ плотью, надъ тѣломъ: почти умирающій, онъ вдругъ воскресалъ отъ какого-либо отраднaго извѣстія, отъ какого-нибудь адреса, полученнаго отъ его почитателей, изъ котораго онъ убѣждался, что работа его цѣнится, приноситъ пользу. Самъ онъ былъ человѣкъ крайне скромный; малѣйшій пустякъ, сдѣланный для него кѣмъ-либо, вызывалъ въ немъ глубокую, искреннюю благодарность.

---

## НАУЧНЫЕ РЕФЕРАТЫ.

---

### Почти разумныя движенія у растений.

Къ числу фактовъ, описанныхъ Дарвиномъ въ его знаменитомъ соч. «О движеніяхъ растений», можно добавить слѣдующее: въ американскомъ журналѣ «Garden and Forest», Ингерсолль описываетъ одинъ сортъ виноградной лозы на Мадерѣ, который во время своего роста обнаруживаетъ признаки какъ-бы настоящаго ума. Когда лоза достигаетъ 18 дюймовъ длины, то, отъ тяжести вершины, она начинаетъ падать изъ горшка, стоящаго на столѣ. «Это она дѣлаетъ постепенно, съ остановками и, повидимому, безсознательно. Ингерсолль сравниваетъ ея движенія въ это время съ движеніями, свойственными полусонному дремлющему ребенку. Затѣмъ, находясь уже вблизи пола, она начинаетъ своей повернутой вверхъ конечностью описывать эллипсы, имѣющіе приблизительно 3 дюйма въ діаметрѣ. Достигнувъ 27 дюймовъ длины, она описываетъ петлю, имѣющую форму полумѣсяца въ 17 дюймовъ шириной въ теченіе около двухъ часовъ. При дальнѣйшемъ ростѣ, ея движенія совершаются съ меньшей правильностью, а въ то-же время она начинаетъ поникать и вянуть, какъ-бы уставъ и потерявъ надежду отыскать что-нибудь, вокругъ чего могла бы обвиться. Однажды былъ опредѣленъ и измѣренъ путь ея оконечности и оказался длиною въ 6 футовъ и 9 дюймовъ. Наконецъ, лозѣ дана была подпорка и вскорѣ послѣ этого она «начала расти опять, какъ-будто выздоровѣвъ отъ того состоянія, близкаго къ смерти, въ какомъ она была 6 дней назадъ».

Другая лоза, въ теченіе нѣсколькихъ дней облачной погоды, отмоталась сама отъ подставки и отклонилась къ свѣту



подъ угломъ почти въ 45 градусовъ къ горизонту. Когда ее вновь замотали вокругъ подставки, она неизмѣнно покидала ее въ теченіе всего времени облачной погоды. Когда наступили ясные дни, то и она не проявляла никакого стремленія уклоняться отъ подпорки или прекращать завивающееся возростаніе. Попытки завернуть ее въ сторону, противоположную той, куда она заворачивалась сама, встрѣтили съ ея стороны упорное сопротивленіе. «Всѣ наблюденія, говоритъ авторъ, показываютъ, кажется, какъ много сходства между животнымъ и растеніемъ относительно чувствительности не только къ переменамъ свѣта и температуры, но и къ насильственному принужденію. Если имъ мѣшать или принуждать ихъ,—все равно, какъ-бы это ни дѣлалось нѣжно,—вопреки ихъ естественнаго способа роста, — то замедляется все ихъ развитіе, и здоровье лозы нарушается въ очень замѣтной степени. Растенія кажутся какъ-бы чувствующими созданіями, а сходство движеній и ихъ цѣлей у растений и низшихъ животныхъ, даютъ подтвержденіе теоріи о единствѣ жизни обоихъ царствъ».

### Современные взгляды на чахотку.

(Д-ровъ Burt'a и Hambleton'a <sup>1)</sup>).

Для того, чтобы человѣкъ заболѣлъ чахоткой, теперь считаютъ необходимымъ два условія: во 1-хъ внѣдреніе въ организмъ, такъ называемыхъ, чахоточныхъ бациллъ, т. е., крохотныхъ существъ, видимыхъ только подъ микроскопомъ и имѣющихъ совершенно отличную форму отъ другихъ микроорганизмовъ, такъ что ихъ легко отличить въ мокротѣ больного; во 2-хъ необходимо, при этомъ, чтобы тѣло было разстроено, — что благопріятствуетъ развитію бациллъ. Иными словами, необходимы не только сѣмена, но и благопріятная почва для нихъ. И если нѣтъ того или другого, то болѣзнь не происходитъ. Такъ какъ мы никогда не можемъ знать, не вводимъ-ли въ организмъ зародышей съ пищей или возду-

---

<sup>1)</sup> Первый помѣстилъ свою работу въ Нью-Йоркской медіц. газетѣ «New-York Medical Record», второй сдѣлалъ докладъ въ послѣднемъ засѣданіи Британской Научной Ассоціаціи.

хоть, то должны заботиться о томъ, чтобы не дать собою для нихъ благопріятной почвы. А какъ легко ввести въ организмъ ея зародыши, видно изъ того, что они могутъ попасть въ насъ и съ молокомъ отъ коровы, и съ виномъ, на кожицѣ котораго (если онъ продается открытымъ) находили значительное количество туберкулезныхъ бацилл (см. объ этомъ замѣтку въ газетѣ «Врачъ») и тысячами другихъ путей: вѣдь, эти бациллы и ихъ зародыши выдѣляются массами въ мокротѣ больныхъ, и когда мокрота высохнетъ они разносятся въ воздухѣ, причиняя зараженіе. И такъ, остается одно: отнимать у нихъ почву. «Первое слѣдствіе этого, — говоритъ д-ръ Burt, въ газетѣ «New-York Medical Record», — поднять тонусъ тканей и жидкостей тѣла, въ которыхъ они купаются, до той санитарной высоты, на которой они сами явятся наилучшими борцами противъ зародышей. Бактерія не растетъ на такой почвѣ». Теперь почти увѣрены, что наследственна не самая чахотка, а то пониженное качество тканей тѣла и крови, въ которыхъ поглощенные зародыши находятъ себѣ пищу. Если оба родителя происходятъ отъ чахоточныхъ семей, дѣти ихъ имѣютъ мало шансовъ избѣгнуть болѣзни, но «дѣти съ хорошей наследственной кровью, хотя-бы у одного изъ родителей, — имѣетъ полныя основанія считать себя предохраненнымъ отъ болѣзни, — говоритъ Burt, — если оно разумно питается и ведется. Такихъ дѣтей слѣдуетъ одѣвать соответственно, очень заботливо питать и побуждать проводить большую часть ихъ жизни на открытомъ и хорошемъ воздухѣ».

Другой врачъ, д-ръ Hambleton, президентъ лондонскаго «Общества Политехническаго Физическаго Развитія» (Polytechnic Physical Development Society) уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ доказывалъ, какое огромное значеніе имѣетъ физическое развитіе на уменьшеніе чахотки и вообще истощенія. Результаты дальнѣйшихъ своихъ изслѣдованій онъ сообщилъ въ послѣднемъ засѣданіи Британской Научной Ассоціаціи. Его теорія состоитъ въ томъ, что чахотка (consumption) прямо происходитъ отъ тѣхъ условій, которыя понижаютъ дыхательную способность (или емкость, capacity) ниже извѣстной точки, въ пропорціи остальнаго тѣла, и что это можетъ быть и предупреждено, и излѣчено путемъ принятія мѣръ, основанныхъ на этомъ объясненіи природы чахотки. Онъ представилъ таблицы, показывающія измѣренія ста изъ двухсотъ членовъ его общества, которые уже получили уве-

личеніе грудной клѣтки на одинъ дюймъ, и болѣе значительное увеличеніе было получено также въ степени движеній. Увеличеніе было получено какъ въ малыхъ, такъ и въ большихъ грудныхъ клѣткахъ, у людей высокихъ, и у людей небольшого роста, ниже и выше двадцати одного года и при помощи и безъ помощи гимнастическаго обученія. Пациенты принадлежали болѣе чѣмъ къ 50 различнымъ занятіямъ и работамъ, которымъ они отдавали отъ 8 до 12 часовъ въ сутки. Различія въ ростѣ груди, которое у нихъ получалось въ теченіе года, было также значительно. Среди членовъ общества было нѣсколько выдающихся учениковъ гимназій, отдававшихъ много времени приготовленію уроковъ. Въ такихъ случаяхъ авторъ часто замѣчалъ значительное уменьшеніе объема груди. Объемъ уменьшался также у людей, черезъ-чуръ занятыхъ работой, конторской и счетной частью и т. п., или въ тѣхъ случаяхъ, когда они не заботились объ исполненіи даннаго имъ режима. De facto, наблюдаемое увеличеніе или уменьшеніе груди было въ прямомъ отношеніи съ соотвѣтствующей переменной въ условіяхъ окружающей среды. Но это отношеніе между объемомъ груди и условіями, которымъ оно подчинено, проявлялось не только въ обыкновенной рутинѣ дневной жизни. При лѣченіи чахотки авторъ получалъ увеличеніе отъ 2 до 3 дюймовъ и выше. Увеличеніе объема грудной клѣтки сопровождалось соотвѣтственнымъ увеличеніемъ качества движенія и жизненной емкости (vital capacity), и переменной въ типѣ груди—отъ типа больного къ типу здороваго.

### Противорѣчить-ли ученіе о силѣ детерминизму?

Джемса Кролля и Оливера Лоджа.

Въ одномъ изъ послѣднихъ ММ англійскаго научнаго журнала «Nature» (отъ 26 марта), напечатана замѣтка одного изъ выдающихся современныхъ физиковъ, Оливера Лоджа по вопросу, возбужденному новымъ сочиненіемъ Джемса Кролля <sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> The Philosophical Basis of Evolution. By James Kroll. London, 1891. Философская основа эволюціи.



недавно умершаго. Этотъ вопросъ, собственно говоря, давно уже былъ поднятъ во Франціи Дельбёфомъ, который и пытался примѣнить его къ теоріи свободной воли.

Кроллъ, котораго наши читатели знаютъ по его сочиненію «Происхожденіе звѣздъ», переведившемуся въ нашемъ журналѣ, останавливается, между прочимъ, на вопросѣ о различіи между произведеніемъ движенія и опредѣленіемъ его направленія. Когда какая-либо молекула должна двинуться, то существуетъ безконечное число направлений, въ которыхъ сила можетъ быть представлена движущей ея <sup>1)</sup>. Но что направляетъ силу—избрать изъ безконечнаго числа различныхъ путей должный путь? Сила производитъ движеніе, но что опредѣляетъ его и даетъ ему такое, а не иное направленіе? «Напр., говоритъ Кроллъ, при образованіи листа на деревѣ, даже двѣ какія-либо молекулы не движутся совершенно одинаковыми (тождественными) путями. Но каждая молекула должна двигаться по отношенію къ объективной идеѣ листа, иначе никакой листъ не образовался-бы. Отсюда возникаетъ великій вопросъ: что такое избираетъ изъ безконечнаго числа возможныхъ направлений, такое направленіе, которое соотвѣтствуетъ данной идеѣ?»

Далѣе Кроллъ утверждаетъ, что сила и направленіе силы—совершенно различныя вещи, — что на приведеніе тѣла въ движеніе требуется расходъ энергіи, а направленіе движенія можетъ измѣняться безъ всякой затраты энергіи. Отсюда Кроллъ выводитъ весьма интересныя слѣдствія для жизни и эволюціи вообще, т. е. нѣкотораго рода творчество, возможное для живыхъ организмовъ, потому что то или другое направленіе движенія совершенно измѣняетъ результаты его и влечетъ обширныя послѣдствія; значить, если-бы для этого измѣненія направленія, а стало быть, и для этихъ послѣдствій не нужно было особаго расхода энергіи, то цѣлый рядъ событий могъ-бы происходить какъ-бы изъ ничего (въ смыслѣ расхода энергіи, напр., единственно въ силу направляющаго

---

<sup>1)</sup> У Дельбёфа это рисуется наглядно въ видѣ шарика, установленнаго на остріѣ конуса и каждое мгновеніе стремящагося скатиться въ какую-либо сторону. Такъ какъ онъ стремится упасть одинаково во всѣ стороны, то его направленіе въ данную сторону не требуетъ, по видимому, никакой силы и можетъ быть совершено волей.

дѣйствія воли, избирающей изъ тысячи движеній то, которое ей болѣе удобно, и т. д.).

Нѣкоторые критики усмотрѣли въ этой теоріи научную ересь, т. е. метафизику. Такъ, напр., критикъ англійскаго журнала «Nature», замѣчаетъ, что вопросъ Кролля сводится, въ сущности, къ старому вопросу: отчего міръ устроенъ такъ, а не иначе? Вообразите, — говоритъ онъ, — вмѣсто образованія листа, какъ болѣе сложнаго, образованіе какого-нибудь кристалла. Почему молекулы, образующія кристаллъ изъ раствора, соединяются въ ту, а не иную кристаллическую форму? «Многіе изъ насъ, — продолжаетъ онъ, — удовольствуются тѣмъ, что сознаются въ своемъ незнаніи и скажутъ, что это тотъ путь, который есть у этихъ молекулъ, и больше ничего. Это — часть устройства природы, подлежащей нашему изученію. Но найдутся другіе, которые захотятъ спуститься до болѣе глубокомысленныхъ (recondite значитъ также — темный) физическихъ началъ. Позвольте намъ, напримѣръ, предположить, что если-бы мы знали все, касающееся основнаго начала физики, состоящаго въ томъ, что сила есть произведеніе массы на ускореніе, то мы нашли-бы въ этомъ неизбѣжно и фигуру даннаго кристалла. Но и въ этомъ случаѣ, д-ръ Кролля могъ-бы спросить: но кто-же опредѣлилъ, что сила должна быть произведеніемъ массы на ускореніе, а не произведеніемъ массы на моментумъ <sup>1)</sup>? Если-бы ему отвѣтили, что таково устройство вещей, онъ снова спросилъ-бы: кто-же опредѣлилъ, что вещи должны быть такъ устроены?» Раздѣлавшись такимъ образомъ съ Кроллемъ, критикъ говоритъ: «всякому очевидно теперь, что хотя вопросъ Кролля поставленъ и новыми словами, но онъ старый, очень старый вопросъ».

Но не такъ отнесся къ этому вопросу Оливеръ Лоджъ, который, какъ физикъ-специалистъ, взялся отвѣчать автору критики, подписавшемуся инициалами. «Нѣкоторые философы, — пишетъ онъ, — которымъ не пришлось быть физиками, чувствуютъ сомнѣніе относительно того, не есть-ли научная ересь то, что я считаю въ книгѣ Кролля одной изъ главныхъ ея доктринъ, а именно, что хотя расходъ энергіи необходимъ для увеличенія скорости движенія матеріи, но для измѣненія ея направленія никакой энергіи не требуется; быть можетъ, не

<sup>1)</sup> Количество движенія. Ред.

сочтутъ нескромнымъ, если я скажу, что это положеніе совершенно правильно.

«Опредѣленіе направленія движенія не требуетъ расхода энергіи или совершенія работы. Энергія можетъ быть проведена по желаемымъ путямъ (channels), по меньшей мѣрѣ, безъ измѣненія какъ ея количества, такъ и количества матеріи. Рельсы, направляющіе поѣздъ, не двигаютъ его и не замедляютъ его неизбѣжно; они не имѣютъ никакого существеннаго дѣйствія на его энергію, кромѣ направляющаго дѣйствія. Сила не дѣйствуетъ, не работаетъ, (does not work) подъ прямымъ угломъ къ движенію.

«Такимъ образомъ, функція живыхъ организмовъ состоитъ въ направленіи пути передачи или перехода энергіи, но она ничего не добавляетъ къ ея количеству. Въ живомъ организмѣ энергіи не больше, чѣмъ въ мертвомъ, совершенно также, какъ въ горящемъ огнѣ ея не больше, чѣмъ въ томъ, который сейчасъ будетъ зажженъ. Тутъ въ первомъ случаѣ дѣятельность перевода или преобразованія (энергіи), а въ другомъ остановка, недѣятельность; но законъ сохраненія энергіи тутъ не можетъ ничего возразить противъ жизни, или мысли животнаго, контролирующей движеніе молекулъ; хотя онъ можетъ вполнѣ возразить противъ того, что движеніе произведено de novo (совершенно вновь) актомъ воли. Жизнь есть не энергія, она должна опредѣлять пути энергіи. Это ея естественная и главная функція. Она есть управитель, а не рабочій. Работаетъ пища и топливо, а жизнь направляетъ. Она завѣдуетъ контролемъ надъ тормазами и затворами каналовъ; она не есть пружина въ часахъ, а то прикосновеніе, которое пускаетъ ихъ въ ходъ. Ее лучше всего сравнить съ пламенемъ: жизнь есть искра, зажигающая пламя.

«Отличіе между движеніемъ генеративнымъ и движеніемъ направляющимъ, очевидно, полезно помнить. Если кто-нибудь полагаетъ, напримѣръ, что произвольное измѣненіе погоды предполагаетъ противорѣчіе закону сохраненія энергіи, то я полагаю—онъ ошибается» <sup>1)</sup>.

Намъ кажется, что во всѣхъ этихъ примѣрахъ почтеннаго

---

<sup>1)</sup> Извѣстно, что погоду можно перемѣнить произвольно, напр., вызвать дождь выстрѣломъ пушки, взрывомъ динамита и т. п., который даетъ иное направленіе воздушнымъ теченіямъ.



ученаго, исключая примѣра съ рельсами, есть одно недоразумѣніе: чтобы пустить въ ходъ часы, чтобы искра зажгла порохъ и т. д., все-же необходимо, чтобы была въ прикосновеніи, какъ и въ искрѣ, нѣкоторая энергія. Правда, само прикосновеніе ничего не прибавляетъ къ энергіи пружины, движущей часы, и несомнѣнно результатъ,—напр., пожаръ цѣлаго города, — не соотвѣтствуетъ по количеству той ничтожной энергіи, какая есть въ искрѣ. Намъ кажется, всѣ примѣры Оливера Лоджа доказываютъ только эту,—тоже весьма важную,—мысль, что жизнь можетъ создавать гигантскіе внѣшніе результаты, освобождать внѣ себя и въ себѣ огромные запасы энергіи, пуская въ ходъ неизмѣримо малое, безконечно-малое количество энергіи. Но сказать, что этой первоначальной энергіи нѣтъ вовсе—едва-ли возможно.

Намъ представляются болѣе убѣдительными доводы Дельбѣфа, который предполагалъ слѣдующее: молекула находится или въ покоѣ или въ движеніи; у насъ есть нѣкоторая безконечно-малая доля энергіи, способная сообщить ей, въ первомъ случаѣ, толчокъ къ движенію, во второмъ случаѣ, измѣнить направление ея движенія. Но если мы удержимся въ данное мгновеніе пустить въ ходъ эту энергію, а пустимъ ее въ ходъ въ слѣдующее мгновеніе, то результаты могутъ быть безконечно различныя. Такимъ образомъ, однимъ выжиданіемъ момента мы можемъ совершать событія. Но выжиданіе момента, по мнѣнію Дельбѣфа, не требуетъ ни малѣйшей затраты энергіи. Если-бы это послѣднее положеніе было доказано вполне научно, то вопросъ могъ-бы считаться рѣшеннымъ. А оно, повидимому, скорѣе можетъ быть доказано, чѣмъ положеніе Кролля и Лоджа. Но даже и здѣсь еще вопросъ: можетъ-ли оно быть доказано? Мы думаемъ, что вопросъ о свободной волѣ, т. е., независимой отъ предшествующей затраты энергіи, пока долженъ рѣшаться только въ томъ смыслѣ, что воля можетъ, пользуясь безконечно-малой энергіей, производить безконечно-большіе результаты, вслѣдствіе способности разума предвидѣть событія, направлять движенія или-же, пользуясь задержкой собственнаго движенія въ виду ожидаемаго момента, производить совершенно новое теченіе событій по своему желанію. Центромъ-же свободной воли является именно это желаніе, оно и только оно, какъ субъективная оцѣнка предвѣщаемыхъ событій, оцѣнка по отношенію къ нуждамъ, радостямъ или болямъ нашего «я» или субъекта, лежитъ въ

источникъ событій, совершаемыхъ нами. Но эта оцѣнка ожидаемаго событія, какъ желательнаго или нежелательнаго для «я», какъ пріятнаго или непріятнаго, зависитъ отъ устройства и даннаго состоянія нашего «я», нашей индивидуальности, стало быть, не есть какой-либо особый расходъ энергіи. А тутъ-то и лежитъ первый импульсъ. Стало быть, если гдѣ искать центра свободной воли,—понимаемой какъ начало перемѣны, исходящее только изъ «я»,—то его именно надо искать въ нашей способности субъективной оцѣнки всѣхъ явленій, — какъ совершающихся, такъ и ожидаемыхъ, т. е., оцѣнки въ смыслѣ ихъ пріятности или непріятности, желательности или нежелательности для нашего «я», иначе говоря, въ чувствованіи, такъ какъ чувствованіе (боли и удовольствія) и есть эта оцѣнка. Затѣмъ, непосредственное чувствованіе замѣняется простымъ воспоминаніемъ его, представленіемъ его—въ сочетаніи съ тѣмъ явленіемъ, съ которымъ оно ассоціировалось и которое мы желаемъ или повторить вновь, если оно было пріятно, или, наоборотъ, хотимъ избѣжать его, если оно было непріятно.

---

**Кончины Ея Высочества Великой Княгини ОЛЬГИ ТЕОДОРОВНЫ и Его Высочества Великого Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СТАРШАГО.**

Состояніе здоровья Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ольги Теодоровны давно внушало серьезныя опасенія. Неизлѣчимый порокъ сердца, возникшій лѣтъ пятнадцать тому назадъ, послѣ заболѣванія острымъ ревматизмомъ, обуславливалъ постоянную заботу и необходимость врачеванія для успокоенія дѣятельности сердца.

Въ концѣ ноября прошлаго года, при возвращеніи изъ Крыма, съ Ея Высочествомъ сдѣлался обморокъ, съ опасными явленіями въ дѣятельности сердца. Вслѣдствіе этого, забота о необходимости спокойствія значительно возросла. Великая Княгиня въ теченіе минувшей зимы не присутствовала ни на одномъ балѣ, ни на одномъ выходѣ во дворцѣ Эти-же причины обусловили въ этомъ году отъѣздъ Ея Высочества ранѣе обыкновеннаго на югъ, въ имѣніе «Ай-Тодоръ», близъ Ялты. Тому-же содѣйствовало и еще одно весьма важное обстоятельство.

Въ воскресенье, 24-го марта изъ-за границы пришла вѣсть, что Великій Князь Михаилъ Михайловичъ обвинчался безъ разрѣшенія Государя Императора и безъ родительскаго благословенія. Этимъ извѣстіемъ, въ связи съ ожиданіемъ кары, которая не могла не послѣдовать, былъ внезапно нанесенъ жестокий ударъ больному сердцу и высокому семейному самолюбію, Ея Высочество Великая Княгиня не могла болѣе найти покоя. Многочисленные свѣтскія соболѣзнованія не могли, конечно, содѣйствовать покою. Оставалось одно — уѣхать.



Отъѣздъ изъ Петербурга, первоначально назначенный на среду, 27-го марта, былъ ускоренъ и состоялся во вторникъ, въ 11 ч. 45 м. пополудни.

Первый день путешествія былъ проведенъ Ея Высочествомъ въ весьма бодромъ настроеніи. Послѣ волненій столичной жизни, оставлявшей всегда, подъ конецъ зимняго сезона, нѣкоторое утомленіе, Ея Высочество почувствовала себя какъ-то особенно хорошо и спокойно.

Ночь со среды на четвергъ была проведена Ея Высочествомъ тревожно, почти безъ сна, а къ утру оказалось повышение температуры до 38,8 при неровномъ пульсѣ—110 ударовъ въ минуту. Голосъ почти совсѣмъ пропалъ, глотаніе было очень затруднено. Ея Высочество жаловалась на значительную боль въ шейныхъ мускулахъ и въ горлѣ. Вслѣдствіе всего этого, а также по отсутствію аппетита, Великая Княгиня не кушала утренняго чая и не завтракала.

Хотя врачомъ Никитинымъ, состоящимъ при Ихъ Императорскихъ Высочествахъ въ продолженіе 34 лѣтъ, еще ночью были приняты всѣ мѣры, указываемыя медицинскою практикою и неоднократно оказывавшіяся достаточными при прежнихъ заболѣваніяхъ Ея Высочества, но, въ виду близости Харькова, Ея Высочеству было предложено остановиться тамъ для вызова одного изъ извѣстныхъ харьковскихъ докторовъ. Великой Княгинѣ, однако, не угодно было согласиться на это, и поѣздъ двигался безостановочно.

Однако, озабоченный продолжающимися симптомами неправильной дѣятельности сердца, г. Никитинъ передалъ лицамъ свиты, сопровождавшимъ Ея Высочество, о своихъ опасеніяхъ и о желательности консультаціи, вслѣдствіе чего вскорѣ было рѣшено вернуться въ Харьковъ, не докладывая о томъ Великой Княгинѣ, чтобы не испугать Ея Высочество.

Въ купѣ, занимаемомъ Великой Княгиней, были опущены шторы, чтобы Ея Высочество не могла замѣтить по внѣшнимъ предметамъ обратнаго движенія поѣзда, который и тронулся назадъ въ 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> час. пополудни (по петербургскому времени) со станціи Алексѣвка, откуда телеграфировано въ Харьковъ для вызова на вокзалъ профессора университета доктора Оболенскаго, а также въ Петербургъ Августѣйшему супругу Ея Высочества.

Во время обратнаго хода поѣзда Великая Княгиня постепенно была подготовляема къ мысли о консультаціи и къ воз-

вращенію въ Харьковъ, рѣшенному отвѣтственными лицами свиты безъ доклада о томъ Ея Высочеству. Великая Княгиня приняла это сообщеніе ласково и, когда было доложено о близости Харькова и затѣмъ о прибытіи доктора Оболенскаго, тотчасъ согласилась принять его.

По изслѣдованію, произведенному профессоромъ Оболенскимъ около 8 час. вечера, оказалось слѣдующее: температура 38,8, пульсъ 106 ударовъ въ минуту, ровный, достаточно полный, безъ перебоевъ; дыханіе ровное, спокойное; миндалевидныя железы и язычекъ опухли, безъ налетовъ, слизистая оболочка глотки красна, слегка отечна. При ларингоскопическомъ изслѣдованіи, въ высшей степени затруднительномъ, вслѣдствіе невозможности сполна открыть ротъ и сильной чувствительности зѣва, удалось обнаружить красноту голосовыхъ связокъ и легкую ихъ отечность. Ея Высочество говорила шепотомъ, глотаніе было крайне болѣзненно. Шейныя мышцы оказались болѣзненными при легкомъ надавливаніи. Сердце увеличено въ поперечномъ направленіи. Общее состояніе Ея Высочества въ данную минуту, исключая дѣятельности сердца, найдено удовлетворительнымъ. Слабость обуславливалась, по мнѣнію профессора Оболенскаго, повышенной температурою и тѣмъ, что Ея Высочество не принимала пищи, вслѣдствіе упомянутой болѣзненности глотки и глотательныхъ мышцъ.

О результатахъ изслѣдованія немедленно было телеграфировано Великому Князю Михаилу Николаевичу.

Въ Харьковѣ Великая Княгиня пробыла нѣкоторое время въ вагонѣ, причемъ желѣзно-дорожнымъ начальствомъ были приняты всѣ мѣры для устраненія шума отъ движенія поѣздовъ, отъ свистковъ машинъ и т. п. Но потомъ больную перенесли въ царскія комнаты вокзала, гдѣ было просторнѣе и больше воздуха.

Кромѣ харьковскихъ профессоровъ Оболенскаго и Груббе, въ консультаціяхъ о болѣзни принималъ участіе и д-ръ Левъ Бертенсонъ, въ послѣднее время постоянно пользовавшій Великую Княгиню. Не смотря на всѣ усилія врачей, около 3-хъ часовъ пополудни начался почти непрерывный бредъ, причемъ отрывочныя выраженія относились преимущественно до предмета нервнаго потрясенія, испытаннаго въ Петербургѣ за два дня до отъѣзда.

Послѣ вторичнаго совѣщанія докторовъ, около 6-ти часовъ пополудни, всякая надежда была потеряна.

Дѣятельность сердца продолжали поддерживать подкожными вырыскиваніями камфоры и эфира. Пробовали давать внутрь растворъ мускуса въ шампанскомъ, но это было оставлено, такъ какъ видимо было непріятно Ея Высочеству. Жажда утолялась кусочками льда, который Великая Княгиня проглатывала особенно охотно.

Около восьми часовъ вечера наступило безсознательное состояніе, появился холодный потъ, дыханіе становилось все чаще, упадокъ дѣятельности сердца указывалъ на приближеніе рокового исхода.

Доктора, посѣтившіе Ея Высочество около 9 часовъ, могли только констатировать, что всѣ средства, находившіяся въ ихъ распоряженіи, истощены. Призванный соборный протоіерей Павловъ тихо напутствовалъ молитвою умирающую Великую Княгиню.

Въ 11 час. 45 минутъ, дыханіе вдругъ начало быстро падать, появился едва слышный хрипъ, и въ 11 час. 50 минутъ, по петербургскому времени, Великая Княгиня тихо почилла.

Вотъ что мы находимъ въ «протоколѣ вскрытія тѣла въ Бозѣ почившей Великой Княгини Ольги Θεодоровны:

#### **Протоколъ вскрытія тѣла въ Бозѣ почившей Великой Княгини Ольги Θεодоровны.**

Тысяча восемьсотъ девяносто перваго года, апрѣля второго, въ двѣнадцать съ половиною часовъ пополудни, въ Императорскихъ покояхъ харьковскаго вокзала произведено вскрытіе тѣла въ Бозѣ почившей Великой Княгини Ольги Θεодоровны, въ присутствіи нижеподписавшихся лицъ, причѣмъ найдено слѣдующее:

Серце увеличено въ объемѣ и въ поперечномъ размѣрѣ, покрыто умѣреннымъ количествомъ жира по направленію бороздъ; лѣвое венозное отверстіе значительно сужено и съ трудомъ пропускаетъ верхушку указательнаго пальца. Двустворчатая заслонка утолщена, тверда, сухожильнаго цвѣта. Отверстіе аорты не измѣнено, но эндокардъ представляется утолщеннымъ. Стѣнки желудочковъ истощены, блѣдно-жел-



таго цвѣта, дряблой консистенціи—явные признаки жирового перерожденія.

Легкія. Въ правомъ плевритическомъ мѣшкѣ серозно-фибринозный выпотъ, въ количествѣ четырехъ унцій. Реберная плева покрыта фибринозными, рыхлыми сгустками, равно и соотвѣтственная часть плевы правой половины грудобрюшной преграды. Ткань праваго легкаго проходима для воздуха, и только нижняя часть нижней доли переполнена кровью. Лѣвое легкое и его плева не представляютъ измѣненій.

Печень увеличена въ объемѣ и представляетъ явленія значительнаго застоя крови и жирового перерожденія клѣтокъ.

Въ почкахъ значительный застой крови.

Остальные органы, въ виду того, что не представляли при жизни никакихъ болѣзненныхъ явленій, не были вскрыты, тѣмъ болѣе, что разсѣченіе ихъ значительно повредило-бы успѣшному балъзамированію.

Заключеніе. Вскрытіемъ обнаружено: 1) хроническое воспаленіе внутренней оболочки сердца, повлекшее за собою суженіе лѣваго венознаго отверстія и недостаточность двустворчатой заслонки (порокъ сердца); 2) острое воспаленіе праваго плевритическаго мѣшка, съ образованіемъ выпота (экссудативный плевритъ).

Смерть Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны послѣдовала отъ паралича сердца, вслѣдствіе органическаго порока его, и послѣдній толчекъ къ названному параличу былъ данъ острымъ плевритомъ.

Вскрытіе производилъ профессоръ фیزیологической анатоміи Императорскаго Харьковскаго университета, статскій совѣтникъ Митрофанъ Поповъ.

При вскрытіи присутствовали: заслуженный профессоръ Императорскаго Харьковскаго университета, тайный совѣтникъ Вильгельмъ Груббе, дѣйствительный статскій совѣтникъ профессоръ Императорскаго Харьковскаго университета Иванъ Оболенскій, консультантъ Николаевскаго военнаго госпиталя и лѣчебницы Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Маріи Александровны герцогини Эдинбургской, статскій совѣтникъ Левъ Бертенсонъ; приватъ-доцентъ анатоміи Императорскаго Харьковскаго университета, прозектръ, надворный совѣтникъ Алексѣй Константиновичъ Бѣлоусовъ; помощникъ про-

зектора при Императорскомъ Харьковскомъ университетѣ, лѣ-  
каръ Николай Михеевичъ Кондаковъ. («Пр. В.»).

## Великій Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ СТАРШІЙ.

### Некрологъ.

«Его Императорское Высочество Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій родился 27-го іюля 1831 года и въ этотъ-же день былъ назначенъ шефомъ л.-гв. уланскаго полка, а также назначенъ состоять и въ л.-гв. саперномъ батальонѣ. Въ 1839 году 26-го іюня Великій Князь Николай Николаевичъ вступилъ въ ряды кадетъ перваго кадетскаго корпуса.

2-го іюля 1846 года Великій Князь былъ произведенъ въ первый офицерскій чинъ подпоручика. Затѣмъ, 13-го октября 1847 года—въ поручики; 30-го августа 1848 года—въ капитаны. Состоя въ чинѣ капитана, Его Высочество въ теченіе 1849—1850 годовъ командовалъ въ лагерѣ военныхъ учебныхъ заведеній сводною ротою гвардейскихъ подпрапорщиковъ и воспитанниковъ Пажескаго Его Величества корпуса. Въ 1849 году Великій Князь былъ назначенъ шефомъ полковъ: 45-го драгунскаго тверскаго и 9-го гренадерскаго. Въ 1850 году 23-го апрѣля Великій Князь былъ назначенъ въ флигель-адъютанты, а 23-го октября этого-же года произведенъ въ полковники. Въ 1851 году германскій императоръ Вильгельмъ I назначилъ Великаго Князя Николая Николаевича шефомъ прусскаго кирасирскаго № 5 полка. Съ цѣлью изученія порядковъ службы при командованіи кавалерійскимъ дивизиономъ, 28-го ноября 1851 г. Его Высочество былъ прикомандированъ къ лейбъ-гвардіи конному полку. Въ 1852 году австрійскій императоръ Францъ-Іосифъ назначилъ Великаго Князя шефомъ австрійскаго гусарскаго № 2 полка. Состоя въ званіи генераль-инспектора по инженерной части, Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій удостоился получить Высочайшую признательность за саперныя работы и быструю наводку моста въ Высочайшемъ присутствіи въ этомъ-же году. Въ сентябрѣ 1852 года Его Высочество былъ назначенъ шефомъ астраханскаго кирасирскаго, нынѣ 22-го драгунскаго полка. Въ 1852 году Великій

Князь былъ произведенъ въ первый генеральскій чинъ—чинъ генераль-маіора, съ назначеніемъ генераль-инспекторомъ по инженерной части и командиромъ 1-й бригады бывшей первой легкой гвардейской кавалерійской дивизіи.

Въ тяжелую годину крымской кампаніи Его Императорское Высочество Великій Князь Николай Николаевичъ, посланный Государемъ Императоромъ къ защитникамъ Севастополя съ Монаршимъ благоволеніемъ и словомъ, вступилъ въ ряды доблестныхъ защитниковъ города, гдѣ собственнымъ примѣромъ неустрашимости, мужества и храбрости подавалъ примѣръ многимъ. Въ воздаяніе отличной и примѣрной храбрости, оказанной Его Высочествомъ въ сраженіи при Инкерманскихъ высотахъ 24-го октября 1854 года, пожалованъ орденомъ св. Георгія 4-й степени. Возвратясь изъ крымской кампаніи 27-го марта 1855 года, Великій Князь былъ назначенъ членомъ государственнаго совѣта, а затѣмъ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ этого-же года былъ назначенъ шефомъ 6-го сапернаго батальона. За успѣшное укрѣпленіе подступовъ къ крѣпости Выборгъ и за осмотры береговыхъ укрѣпленій въ Финляндіи 16-го іюня этого же года, объявлено Великому Князю Николаю Николаевичу Монаршее благоволеніе. 22-го іюня этого же года Его Высочество былъ назначенъ шефомъ 2-го батальона стрѣлковаго полка Императорской Фамиліи и л.-гв. конно-піонерскаго эскадрона. Въ 1856 году Великій Князь назначенъ генераль-адъютантомъ съ назначеніемъ шефомъ александрійскаго гусарскаго (нынѣ 15-го драгунскаго) полка и 3-й саперной роты л.-гв. сапернаго батальона и удостоенъ Высочайшаго рескрипта за собственноручнымъ подписаніемъ Его Величества. Въ этомъ-же году, за успѣшное исполненіе инженерныхъ работъ по укрѣпленію кронштадтскаго рейда, объявлена искренняя признательность Его Величества.

Въ августѣ 1855 года Великій Князь Николай Николаевичъ былъ произведенъ въ генераль-лейтенанты и назначенъ почетнымъ президентомъ Николаевской инженерной академіи и начальникомъ бывшей 1-й легкой гвардейской кавалерійской дивизіи. Затѣмъ, въ 1857 году Его Высочество былъ назначенъ начальникомъ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи, съ оставленіемъ въ прочихъ званіяхъ и должностяхъ. Въ 1858 году, 26-го сентября, Великій Князь былъ назначенъ шефомъ 1-го кавказскаго сапернаго баталіона, съ именованіемъ этого баталіона именемъ Его Высочества. Въ 1859



году, 12-го апрѣля, Великому Князю былъ ввѣренъ въ командование гвардейскій кавалерійскій корпусъ, а 30-го августа 1860 года онъ назначенъ генераль-инспекторомъ, съ оставленіемъ въ должности командира корпуса. Съ 19-го апрѣля по 31-е июня 1861 года Его Высочество назначенъ командующимъ отдѣльнымъ гвардейскимъ корпусомъ и 30-го августа 1862 года—командиромъ отдѣльнаго гвардейскаго корпуса, съ зачисленіемъ въ лейбъ-гвардейскій конный полкъ. Въ 1863 году, 23-го января, Его Высочество былъ занесенъ въ списки кондукторской роты Николаевского инженернаго училища, а 6-го августа 1864 года зачисленъ въ л.-гв. Преображенскій полкъ. Въ теченіе этихъ лѣтъ Великій Князь не разъ удостоивался Высочайшей признательности и благодарности, а 7-го августа 1864 года удостоился получить Высочайшій рескриптъ, гдѣ говорится:

«Твердость и отчетливость всѣхъ движеній и построеній, правильность и мѣткость стрѣльбы, бодрый и веселый видъ солдатъ и особенное усердіе ихъ къ исполненію своихъ обязанностей свидѣлствуютъ о совершенномъ знаніи ими своего дѣла, о превосходной системѣ ихъ образованія и постоянной заботливости объ нихъ начальства».

Вслѣдъ за рескриптомъ, Его Высочество былъ назначенъ главнокомандующимъ войсками гвардіи и с.-петербургскаго военного округа и немного спустя генераль-инспекторомъ кавалеріи.

Принимая дѣятельное участіе въ работахъ главнаго комитета по устройству и образованію войскъ, Его Высочеству, за полезные и обширные труды этого комитета, объявлена 7-го мая 1867 года искренная признательность Его Величества. Такого-же выраженія Монаршей милости удостоился Великій Князь 20-го марта 1869 г., за труды Его Высочества въ Высочайше утвержденной комиссіи по разсмотрѣнію вопроса о перевооруженіи нашей арміи. По окончаніи лагернаго сбора этого-же года, Его Высочество получилъ Высочайшій рескриптъ, въ которомъ, между прочимъ, говорится, что указываемый Его Высочествомъ общій характеръ занятій войскъ, содѣйствуя лучшему боевому образованію ихъ, вполне соответствуетъ главной цѣли лѣтнихъ лагерныхъ сборовъ. Далѣе говорится:

«Съ искреннимъ удовольствіемъ я видѣлъ также, что Ваше Высочество, постоянно присутствуя въ лагеряхъ, были

съ тѣмъ вмѣстѣ и непосредственнымъ руководителемъ войскъ, въ точномъ исполненіи данной имъ программы, и войска, воодушевленные вашимъ близкимъ участіемъ къ нимъ, твердо и сознательно шли по указанному имъ пути».

Въ рескриптахъ слѣдующихъ лѣтъ свидѣтельствовалась также неутомимая дѣятельность Великаго Князя и тѣ-же отеческія заботы о солдатѣ, о его образованіи, положеніи и даже дальнѣйшей участи, по выходѣ его въ отставку.

Въ началѣ русско-турецкой войны 1-го ноября 1876 года Великій Князь Николай Николаевичъ былъ назначенъ главнокомандующимъ дѣйствующею арміею. Во время разгара войны 17-го апрѣля 1877 года Его Высочество былъ назначенъ шефомъ 53-го пѣхотнаго Волынскаго полка. Высочайшіе смотры и случайныя встрѣчи войскъ дѣйствующей арміи Государемъ Императоромъ, въ виду ихъ бодрости и полной боевой готовности были поводомъ неоднократныхъ Монаршихъ благоволеній и рескриптовъ на имя Великаго Князя.

Переправа черезъ р. Дунай, совершенная въ присутствіи Государя Императора, подъ прямымъ руководствомъ Великаго Князя, повлекла за собою пожалованіе Его Высочеству ордена св. великомученика и Побѣдоносца Георгія 2-й степени. За взятіе столь долго державшейся Плевны и плѣненіе Осман-паши съ его арміею Государь Императоръ лично возложилъ на Великаго Князя орденъ св. великомученика и Побѣдоносца Георгія 1-й степени. По окончаніи войны Высочайшимъ приказомъ отъ 16-го апрѣля 1878 года, въ ознаменованіе важныхъ заслугъ, оказанныхъ Престолу и Отечеству въ теченіе послѣдней войны съ Турціею, Великій Князь былъ произведенъ въ генераль-фельдмаршалы съ оставленіемъ въ прежнихъ должностяхъ и званіяхъ. О дѣятельности, неутомимости, энергіи, а вмѣстѣ и сердечной заботливости, доходившей до самопожертвованія въ теченіе всей послѣдней войны, говорить не приходится. Ихъ знаетъ вся Россія. Затѣмъ, постоянныя заботы и труды Его Высочества по переформированію, перевооруженію и по пересмотру положеній о полевомъ устройствѣ войскъ, а равно ежегодное исполненіе обязанности главнаго посредника на маневрахъ — свидѣтельствовалось Монаршими рескриптами и выраженіями Монаршей признательности. Въ 1889 году, въ день двадцатипятилѣтняго юбилея со дня назначенія Великаго Князя генераль-инспекторомъ кавалеріи, Его Высочество удостоился получить Монаршіи рескриптъ. Въ

этомъ рескриптѣ засвидѣтельствованы всѣ труды Его Высочества къ приведенію нашей кавалеріи на ту высокую степень совершенства, на которой она теперь находится. Наконецъ, въ прошломъ году, Великій Князь Николай Николаевичъ, за исполненіе обязанности главнаго посредника на знаменитыхъ двухстороннихъ маневрахъ на Волыни, гдѣ подъ руководствомъ Великаго Князя маневрировала 150,000 армія, удостоился Монаршей благодарности, выраженной въ милостивомъ рескриптѣ.

Это былъ послѣдній актъ столь плодотворной дѣятельности Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго. Чувствуя себя не совсѣмъ здоровымъ, Его Высочество послѣ маневровъ уѣхалъ въ Крымъ. Благотворный климатъ этого края не помогъ недугу: Великій Князь скончался въ ночь съ 12-го на 13-е апрѣля». ( «Пр. В.» ).

---



## НОВЫЯ КНИГИ.

---

*А. Н. Барановъ. Осенью. Разказы и сказки. Казань, 1891 г. (375 стр.).*

Нѣтъ большей радости, какъ сообщить читателю о появленіи въ свѣтъ новаго недюжиннаго таланта, и такую радость чувствуемъ мы сейчасъ, написавъ имя А. Н. Баранова въ заголовкѣ нашей замѣтки. Г. Барановъ — лицо совершенно неизвѣстное въ нашей петербургской литературѣ; по крайней мѣрѣ, мы не помнимъ, чтобы читали какое-либо произведеніе, подписанное этимъ именемъ. Его книжечка издана въ Казани, въ качествѣ «преміи» къ газетѣ «Казанскія Вѣсти», и его разказы, вѣроятно, печатались въ этой газетѣ, но мы смѣло можемъ сказать, что каждый изъ его разказовъ былъ бы съ удовольствіемъ принятъ любой петербургской редакціей, столько въ нихъ наблюдательности, вдумчивости, правды, хотя и нѣсколько мрачной правды, но что — же съ этимъ дѣлать, если жизнь, повидимому, наталкивала автора на горькія, невеселыя думы и наблюденія. Первымъ въ сборникѣ помѣщенъ разказъ «Чудаки». Сапожникъ, — хозяинъ маленькой и бѣдной мастерской, — разсказываетъ автору, о томъ, «какихъ только нынче народовъ нѣтъ — уму непостжимо!» И затѣмъ, передаетъ о своемъ знакомствѣ съ двумя «чудаками», которыхъ онъ даже и опредѣлить не можетъ иначе, какъ этимъ словомъ «чудаки». — Старый человѣкъ обозвалъ-бы ихъ «юродивыми», продолжаетъ сапожникъ: «А нѣтъ, нѣтъ, не юродивый!.. Юродивый что? Божій человѣкъ, мозгами рѣшенный, а чудакъ совсѣмъ напротивъ: понятія у него даже не въ примѣръ много... Мы, вотъ, живемъ. Что живемъ? День да ночь — сутки прочь. Худо-ли, хорошо-ли, а кто къ чему приставленъ, такъ и живи. Не нами

заведено, не нами и кончится... А чудакъ - то совсѣмъ напротивъ».

Болѣе всего сапожника поразили одинъ фактъ, замѣченный имъ во всѣхъ «чудакахъ»: «даже удивленія достойно: что изъ нашего брата, что изъ господъ, а загвоздка - то все одна»!..

И чтобы пояснить свою мысль, сапожникъ сперва рассказываетъ о «чудакахъ» изъ «ихъ брата», о нѣкомъ Сенькѣ, который, повидимому, ничѣмъ не отличался отъ другихъ рабочихъ и также пьянствовалъ временами, какъ всѣ, — но былъ особенно ловокъ къ своему мастерству, даже особую краску выдумалъ для каблуковъ. Единственнымъ исключеніемъ его было то, что онъ нигдѣ не уживался больше недѣли, хотя хозяева имъ очень дорожили, а не уживался вслѣдствіе своей неискоренимой потребности протестовать противъ всякой гадости и несправедливости хозяевъ, у которыхъ онъ жилъ: «Тебѣ и во всю ночь работай?—кричить онъ хозяину—«что намъ отдыхать-то надо, ай нѣтъ? Не крѣпостные! Ты - бы, пожалуй радъ!» или: «Ты насъ чѣмъ недѣлю-то кормишь? Гнильѣмъ? Ты хозяинъ—ладно, мы мастеровые—опять-же хорошо. Мы работаемъ, а ты насъ корми... По закону, что слѣдуетъ. Лишняго не требуемъ: щи-такъ-щи, каша-такъ-каша... А ты что дѣлаешь? Помоями кормишь? Такъ опять-же мы не свиньи»... и т. д.

Другой «чудакъ» изъ «благородныхъ». Это просто какой-то молодой господинъ, пришедшій однажды къ сапожнику съ просьбою поучить его шить сапоги, а когда ученіе пошло на ладъ, то и совсѣмъ поселившійся у сапожника. Фигура этого интеллигентнаго «чудака», желающаго опроститься, замѣчательно реально, правдиво и задушевно нарисована г. Барановымъ. Его разговоры съ рабочими и хозяиномъ, попытка его вложить въ нихъ стремленія къ новой, болѣе сознательной, болѣе духовной жизни, попытки, разбивающіяся о грустное, но упорное возраженіе: «у насъ этого невозможно!» сочувствіе Сеньки-чудака этому интеллигентному чудаку и ихъ дружба, наконецъ, печальный уходъ этого чудака, когда, во время безработицы, онъ замѣчаетъ, что только обременяетъ хозяина и его семью, относящихся къ нему съ душевнымъ сожалѣніемъ и любовью... все это проникнуто такой теплотой, такой скрытой душевной драмой, отъ которой сердце сжимается, и слезы

выступаютъ на глаза. Интеллигентный чудакъ кончаетъ впрочемъ, счастливо, устроившись гдѣ-то въ деревнѣ, «на землѣ».

Второй разсказъ: «Въ хаотическомъ состояніи» рисуетъ просто компанію «интеллигентовъ», собирающихся другъ къ другу попить чайку и потолковать о высокихъ матеріяхъ. Автору поразительно удается при этомъ выразить тотъ хаосъ идей, обрывковъ убѣжденій и взглядовъ, какой царитъ теперь среди нашей интеллигенціи. Сквозь эти споры не только рисуется полный умственный хаосъ cadaго, но даже полная невозможность сойтись на чемъ-либо одномъ, потому что у всѣхъ нѣтъ никакой одной основной идеи или вѣрованія, или авторитета, на почвѣ которыхъ было-бы возможно общее, живое единеніе. За то отдѣльныя самолюбія—вырастаютъ выше мѣры: каждый, послѣ двухъ-трехъ словъ другого, считаетъ этого другого дуракомъ и начинаетъ относиться къ нему свысока, испытывая то-же взаимно отъ своего собесѣдника. Передать своими словами это «вавилонское смѣшеніе языковъ» нѣтъ возможности. Надо прочесть его въ глубоко-талантливомъ изложеніи г. Баранова, чтобы понять, какая въ этомъ тяжелая правда: читая его разсказъ, вы чувствуете, что сотни разъ слышали такіе разговоры, что это — сама жизнь, но только схваченная глубоко и освѣщенная яркимъ свѣтомъ сознанія.

Не менѣе превосходенъ третій разсказъ: «Неудачникъ», гдѣ передается возвращеніе въ семью неудачника-юноши, пустившагося въ жизнь не по протореннымъ путямъ, а думавшаго отыскать въ ней какой-нибудь свой, новый особенный путь. Это типъ того-же «чудака» изъ интеллигенціи, котораго мы видѣли въ первомъ разсказѣ, но, быть можетъ, въ тотъ моментъ, когда онъ долженъ былъ уйти отъ сапожника. Какъ удивительно ярко изображены авторомъ—положеніе его въ бѣдной семьѣ и эта семья, состоящая изъ отца, бѣднаго стараго чиновника казенной палаты и матери, — горячо любящей старушки, но измученной нуждой, лишеніями. Мать старается скрыть отъ сына эти лишенія, мелкіе но тѣмъ болѣе назойливые долги въ лавочку, и т. п., удваивающіеся съ пріѣздомъ несчастнаго неудачника, но сынъ невольно слышитъ ея разговоры объ этомъ съ отцомъ, упреки отца, да и у нея самой невольно срываются съ губъ восторженные разсказы о томъ или другомъ изъ бывшихъ товарищей сына, «прекрасно устроившихся, помогающихъ отцамъ и матерямъ» и т. д. Все это до того истерзало сына, что, наконецъ, онъ готовъ взять любую



работу, поступить на какое угодно мѣсто. И вотъ, отецъ приводитъ къ себѣ однажды столоначальника мѣстной казенной палаты, отъ котораго зависитъ дать мѣсто писца нашему «неудачнику»; столоначальника и еще двухъ приглашенныхъ съ нимъ мелкихъ чиновниковъ начинаютъ угощать и ублажать. Эта сцена нарисована такъ, что подъ нею подписаль-бы свое имя лучшій изъ нашихъ писателей. Подъ внѣшнимъ комизмомъ напускной важности стараго столоначальника, чувствующаго себя «на высотѣ положенія», вы переживаете страшную драму, закипающую въ дуплѣ юноши, еще не потерявшаго чувства собственного достоинства. Онъ думалъ ранѣе, что сталъ «другимъ», что все перенесетъ, но когда столоначальникъ, важничая надъ его отцомъ и матерью, дѣлаетъ ему внушенія и чуть не цѣлый допросъ, когда, напиваясь постепенно, онъ начинаетъ жестоко оскорблять отца, а тотъ все терпитъ и лебезить, чтобы не разсердить начальство,—юноша не выдерживаетъ и гонитъ начальство вонъ, послѣ чего и отецъ кричитъ на сына: «вонъ, мерзавецъ!» Сцена прощанія съ отцомъ и матерью, которые продолжаютъ горячо любить сына, но не въ состояніи оставить его при себѣ, — сцена, когда отецъ догоняетъ сына ужъ на дорогѣ, чтобы надѣть на него образокъ, «материнское благословеніе», наконецъ, размысленія сына, когда онъ вышелъ за городъ и упалъ въ траву около первой попавшейся рощи, — все это глубоко трогаетъ душу, наводитъ на рядъ тяжелыхъ вопросовъ и заставляетъ многое понять въ новѣйшихъ стремленіяхъ «чудаковъ» къ землѣ, къ ремесленному, ручному труду и т. п. Остальные пять рассказовъ не менѣе прекрасны. Сказки—весьма остроумны. Вообще мы советуемъ читателямъ не ограничиваться нашей по необходимости бѣглой замѣткой, а достать непременно книжку г. Баранова и перечитать ее отъ доски до доски: она дастъ имъ много глубокихъ сердечныхъ минутъ, наведетъ ихъ на многія хорошія, хотя и грустныя думы.

**А. Давидъ-Соважо: Реализмъ и натурализмъ въ литературѣ и искусствѣ.** Трудъ, увѣнчанный парижской академіей моральныхъ и политическихъ наукъ. Переводъ А. Серебряковой. Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва. Ц. 2 руб. (352 стр.).

Мы уже говорили въ прошлой книжкѣ о тѣхъ богатыхъ складахъ, какіе дѣлаетъ г. Солдатенковъ, какъ издатель, въ

сокровищницу нашей литературы. Сочиненіе Соважо было-бы однимъ изъ лучшихъ вкладовъ, если-бы этотъ вкладъ не былъ кощунственно испорченъ переводчицей, которая сдѣлала его почти неудобочитаемымъ, а въ иныхъ мѣстахъ и совершенно безграмотнымъ. Приведемъ два—три образца безграмотности: «чтобы насладиться созерцаніемъ старушки, склонившейся надъ горшкомъ, уплетая свой отшельнической обѣдъ». Позвольте вамъ объяснить, почтеннѣйшая г-жа Серебрякова, что по самымъ элементарнымъ правиламъ грамматики, извѣстнымъ даже ученику 2-го класса гимназіи, ваше придаточное предложеніе, начинающееся дѣепричастіемъ («уплетая»), можетъ относиться, по смыслу русскаго языка ни какъ не къ старушкѣ, а къ тому кто наслаждается созерцаніемъ ея, такъ что ваша фраза значить вотъ что: «чтобы, уплетая свой отшельнической обѣдъ, насладиться созерцаніемъ старушки, склонившейся надъ горшкомъ» и т. д. Это не описка. Мы можемъ указать въ книгѣ множество такихъ-же оборотовъ <sup>1)</sup>. Не менѣе безграмотны и слѣдующія фразы: «не грубому мѣщанину, который вѣситъ мнѣ сахаръ въ разнокалиберномъ галстухѣ и жилетѣ». Или: «красивому бездѣльнику страны въ красномъ поясѣ и зеленыхъ перьяхъ». Замѣтьте, всѣ эти три перла взяты нами съ одной и той-же 156 стр., сколько-же ихъ во всей книжкѣ!

Какъ вамъ нравится это «бездѣльникъ страны», да еще «страны въ красномъ поясѣ и зеленыхъ перьяхъ?!» — просто не находишь словъ, чтобы выразить съ достаточной силой то негодованіе, которое возбуждаютъ подобныя переводчицы, берущія губить, прямо уничтожать для читателей превосходныя иностранныя книги! Какъ объяснить себѣ эту смѣлость и развязность въ людяхъ, очевидно не знающихъ даже элементарныхъ началъ русской грамматики? Нечего и говорить, что относительно смысла книги переводчица не имѣла никакого понятія, отчего и вся книга вышла неудобопонимаемой; что вы, напримѣръ, поймете въ слѣдующій тирадѣ: «уловить въ травѣ или стволахъ тѣ тайны комбинацій, посредствомъ которыхъ природа говоритъ уму человѣка, воспроизводитъ тонкій переломъ и спускающуюся кривую линію и волнистую тѣнь обрушившейся земли, съ легкостью и тонкостью (?) разстановки,

<sup>1)</sup> Напр., тутъ-же рядомъ на стр. 158, стр. 3-я сверху.

которая уравниваетъ тактъ паденія дождя (?!), открывать, даже въ самыхъ повидимому ничтожныхъ..» и т. д., и т. д. Что это такое? Вѣдь, это ума помраченіе!!

И такъ переведена вся книга <sup>1)</sup>!

Жаль г. Солдатенкова, которому мы готовы посовѣтовать просто—сжечь это изданіе и, заказавъ новый переводъ книги Соважо, издать ее снова. А книга, дѣйствительно, этого заслуживаетъ. Въ ней читатели нашли-бы (если-бы не ужасный переводъ г-жи Серебряковой) превосходное изложеніе историческаго развитія реализма и натурализма, сравненіе французскаго современнаго натурализма двухъ типовъ (безразличнаго и дидактическаго) съ русскимъ реализмомъ Толстого и Достоевскаго и интересную критику всѣхъ этихъ современныхъ оттѣнковъ реализма заграницей и у насъ. Классификація разныхъ типовъ реализма у Соважо очень оригинальна и глубока: къ реализму безразличному онъ относитъ тѣхъ поборниковъ искусства, которые, требуя только вѣрности дѣйствительности, не задаются никакими сознательными побочными цѣлями, кромѣ тѣхъ, какія даются въ наслажденіи отъ самаго искусства, — какъ искусства,—въ смыслѣ языка, образовъ, звуковъ, сочетанія красокъ и т. д. Сюда онъ относитъ Флобера, школу поэтовъ «парнасцевъ» и т. д. Что-же касается Э. Зола, то его, какъ и художника Курбѣ, онъ относитъ къ типу дидактическихъ реалистовъ, которые точно также стремятся быть вѣрными дѣйствительности, или факту, но имѣютъ при этомъ побочную цѣль—учить людей самою жизнью, открытіемъ роковыхъ законовъ жизни, или-же, какъ думалъ Прудонъ,—раскрытіемъ передъ глазами общества тѣхъ уродствъ и безобразій, которыя въ обыденной жизни проходятъ незамѣченными. Такъ, напр., въ картинѣ Курбѣ «Похороны» насъ поражаетъ, положимъ, то равнодушное кощунство, съ какимъ привыкли совершать этотъ обрядъ французскіе клержимены.

Преимущества русскаго реализма Соважо, (знакомый, повидимому, только съ Толстымъ и Достоевскимъ,—съ послѣднимъ даже не изъ первыхъ рукъ) видитъ въ томъ, что наши реалисты не исключаютъ изъ своихъ художественныхъ изобра-

---

<sup>1)</sup> Подобнаго безграмотнаго и невѣжественнаго перевода мы не запомнимъ со времени перевода «Саламбо», изданнаго г. Суворинымъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, причемъ переводчица была тоже какая-то дама, скрывшаяся однако, подъ инициалами.



женій таинственныхъ, мистическихъ началъ, существующихъ въ жизни. Напр., у Толстого въ «Войнѣ и мирѣ» изображаются впечатлѣнія отъ смерти князя Андрея, у Достоевскаго въ «Преступленіи и наказаніи» вы чувствуете высшій законъ совѣсти, господствующій надъ людьми, и т. д. Между тѣмъ, какъ у Зола и ему подобныхъ, вы не должны искать ничего, кромѣ анатоміи и физиологіи тѣла; гдѣ кончается то, что можетъ быть объяснено позитивно, тамъ кончается и ихъ искусство. Это—позитивизмъ О. Конта, перенесенный въ область романа. Кстати замѣтимъ тутъ, что Соважо цитируетъ въ одномъ мѣстѣ выдержку изъ критической статьи Леметра, предполагая повидимому, что Леметръ цитируетъ подлинныя слова Достоевскаго изъ «Преступленія и наказанія», тогда какъ на самомъ дѣлѣ, эти прекрасныя слова принадлежатъ самому Леметру, хотя и навѣяны ему психологическимъ анализомъ, который дѣлаетъ Достоевскій Раскольникову. Этимъ, конечно, объясняется то, что Соважо говоритъ о «Преступленіи и наказаніи», будто-бы этотъ романъ ничѣмъ не отличался-бы отъ обыкновенныхъ французскихъ мелодрамъ, если-бы въ немъ не было идеи высшаго закона. Очевидно, онъ не читалъ романа, а знаетъ только его фабулу и анализъ Леметра (стр. 204). Это—большое упущеніе для серьезной книги, да еще представленной на академическую премію. У Толстого Соважо знаетъ, повидимому, только «Войну и миръ», о Гоголѣ, Гончаровѣ, Островскомъ, онъ не имѣетъ, кажется, понятія. Вообще нельзя не замѣтить по этому поводу, что невѣжественность французскихъ ученыхъ поразительна! Этимъ только и можно объяснить, что въ одномъ мѣстѣ авторъ называетъ нашъ реализмъ «первобытнымъ», хотя въ другомъ, какъ мы видѣли, ставить его выше французскаго, но тутъ-же дѣлаетъ ему упрекъ въ томъ, что онъ не умѣлъ дать «личность», въ смыслѣ нравственно свободной личности: «какъ не высоко понятіе о нравственности (въ русскомъ реализмѣ), оно все-же неполно, такъ какъ русскій реализмъ стѣсняетъ человѣческую свободу. Его герои безсильны, какъ онъ думаетъ,—управлять людьми и событіями и, мало того, они не въ силахъ даже управлять сами собою».

Этотъ выводъ Соважо будетъ понятенъ, если мы припомнимъ, что онъ подъ именемъ «русскаго реализма» подразумѣваетъ только «Войну и миръ» (тирады Толстого о подчиненіи геніевъ—массамъ и случайностямъ) и «Преступленіе и наказаніе» (въ которомъ герой управляется большой *idée—fixe*).

*Георґъ Веберъ: Всеобщая исторія. Томъ XIII. Восемнадцатое столѣтіе. Переводъ Э. Циммермана. Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва 1891 г.*

Восемнадцатый вѣкъ представляется столь-же выдающеюся эпохой въ смыслѣ развитія въ Европѣ политическихъ идей и учреждений, какъ XVI столѣтіе,—въ смыслѣ развитія религиозныхъ идей и зарожденія науки и философскаго мышленія. Веберъ, какъ и Шлоссеръ, излагаетъ подробно литературную и философскую основу тѣхъ знаменательныхъ событій, которыя совершились въ это выдающееся столѣтіе. Одна изъ крупнѣйшихъ главъ посвящена «культурной и умственной жизни Англіи», изъ которой, какъ извѣстно, главнымъ образомъ, умственные вѣянія эпохи перешли въ тогдашнюю Францію. Затѣмъ, излагается литература просвѣщенія во Франціи: Вольтеръ, Руссо, Монтескье, Дидро, энциклопедисты, матеріализмъ и его крайности: Гольбахъ, Гельвецій... Сжато, но подробно изложено, затѣмъ, образованіе Сѣверо-Американскаго союза, какъ извѣстно, повліявшее не мало на послѣдующія грандіозныя событія во Франціи. Послѣ изложенія исторіи и литературы Германіи, авторъ посвящаетъ послѣднія главы (около 300 страницъ) исторіи французской революціи. Изложеніе его сжато, но образно, характеристики мѣтки и довольно глубоки, такъ что книга читается съ захватывающимъ интересомъ. Выдающеюся личностью перваго періода революціи Веберъ считаетъ Мирабо и старается пролить на него нѣсколько новый свѣтъ: онъ видитъ въ немъ горячаго и искренняго патріота, желавшаго удержатъ свою родину отъ крайностей революціи, въ строгихъ предѣлахъ конституціонной монархіи. Но бурная и порочная молодость отняла у него нравственное довѣріе и двора, и короля, и отчасти націи. Кромѣ того, обремененный огромными долгами, оставшимися ему отъ его тяжелаго прошлаго, онъ долженъ былъ прибѣгать къ денежнымъ субсидіямъ отъ короля, и это, въ свою очередь, нарушало довѣріе къ нему и двора, и національнаго собранія. Всѣмъ этимъ и было обусловлено, по мнѣнію Вебера, то обстоятельство, что ни его огромный талантъ, ни его пророческія предвидѣнія событій, не разъ излагавшіяся имъ въ докладныхъ запискахъ къ королю, не имѣли тѣхъ практическихъ результатовъ, на которые онъ рассчитывалъ, и не могли остановить потока событій. Веберъ, повидимому, вѣрить, что если-бы слушались Мирабо, если-бы онъ былъ сдѣ-

ланъ первымъ министромъ, то ужасныя событія, свидѣтелемъ которыхъ была затѣмъ Европа, могли-бы не совершиться. Самъ Мирабо страшно терзался за свое прошлое, отнявшее у него то довѣріе и престижъ, которые даютъ силу политическому дѣятелю. Когда Мирабо умеръ, то всѣ партіи почувствовали, что со сцены сошла могучая сила ума, знанія и таланта, которая одна еще могла-бы бороться съ мятежными элементами. Съ его смертью, по словамъ Вебера, было признано всѣми, что часъ монархической Франціи пробилъ.

*Джонъ Ингрэмъ: Исторія политической экономіи.* Переводъ съ англійскаго подъ редакціей проф. И. Янжула. Изд. К. Т. Солдатенкова. Цѣна 1 р. 80 к. (322).

Имя Ингрэма пользовалось у насъ извѣстностью лѣтъ десять тому назадъ, когда въ одномъ изъ журналовъ была переведена его весьма интересная работа: «Современное состояніе политической экономіи». Въ этой работѣ, Джонъ Ингрэмъ подвергалъ критикѣ существующія направленія въ политической экономіи и проводилъ при этомъ слѣдующіе новые взгляды на эту науку, взгляды, имѣющія тѣсное родство съ воззрѣніями О. Конта на задачи социологіи: 1) Изученіе экономическихъ явленій въ цѣломъ обществѣ, должно соединяться съ изученіемъ и другихъ сторонъ общественнаго организма. 2) Необходимо избѣгать стремленія къ крайнему отвлеченію и торопливымъ обобщеніямъ. 3) Методъ у политической экономіи долженъ быть историческій, а не дедуктивный и апріорный. 4) Абсолютная форма выраженія экономическихъ законовъ и практическихъ требованій этой науки должна быть, по возможности, ослаблена.

Съ точки зрѣнія этихъ основныхъ положеній, разработана авторомъ и его исторія политической экономіи, которая, къ сожалѣнію, не захватываетъ цѣлаго ряда ученій, принадлежащихъ, такъ называемымъ, социалистамъ. Это произошло потому, что Ингрэмъ писалъ первоначально свою книгу для Британской энциклопедіи, для которой отдѣлъ о социалистахъ былъ заказанъ другому лицу, (Кёркѣпъ, Thomas Kirkup.). Ингрэмъ указываетъ лишь въ нѣсколькихъ словахъ ихъ значительное вліяніе на политическую экономію и на нѣкоторые измѣненія во взглядахъ экономистовъ (см. стр. 212). Несмотря на столь важный пробѣлъ, нельзя не привѣтствовать появленія этой книги въ русскомъ переводѣ.

---



## *ОТЪ РЕДАКЦІИ.*

„Происхожденіе Міра“ соч. Гауе отложена до слѣдующей книжки, въ виду того, что рисунки, относящіяся къ тексту не были готовы къ выходу книжки.

---

Слѣдующая книжка журнала выйдетъ по обыкновенію двойной (№ 5 и 6 вмѣстѣ) въ половинѣ Іюня. См. объ изданіи „Русскаго Богатства“, на послѣдней страницѣ обложки.

---

тахъ, торговля ими очень распространена, а во Франціи, хотя и меньше, чѣмъ въ Англіи, число «абстенцій» (отказовъ отъ подачи голоса) показываетъ, какое ничтожное значеніе приписывается голосованію. Тотъ политическій «шиффоньеръ» (буквально: тряпичникъ), подбирающій и утилизирующій эти обрывки, есть уайръ-пуллеръ (буквально: человекъ, управляющій маріонетками, Wire-puller <sup>1)</sup>), на предъидущей стр. слово «интриганъ» — передаетъ тотъ-же терминъ). Однако, я полагаю, что въ Англіи черезъ-чуръ сильна привычка считать дѣятеля этого рода только организаторомъ, изобрѣтателемъ и предпринимателемъ. Особенный механизмъ, который онъ строитъ, имѣетъ несомнѣнно важное значеніе. Форма этого механизма, возникшаго недавно въ нашей странѣ, очень похожа на систему Виелеемскихъ методистовъ <sup>2)</sup>; но одна система существуетъ для поддержанія духа пламеннаго благочестія, другая для поддержанія партійнаго духа въ состояніи блага калѣнія. Заправители маріонетокъ непонятны, если мы не примемъ во вниманіе одной изъ могущественнѣйшихъ силъ, воздѣйствующихъ на человѣческую природу, а именно: партійное чувство. Это чувство есть, по всей вѣроятности, скорѣе плодъ переживанія первобытной борьбы человѣчества, чѣмъ слѣдствіе сознательныхъ умственныхъ различій между людьми. Въ сущности, это есть то самое чувство, которое въ извѣстныхъ состояніяхъ общества ведетъ къ гражданской, межплеменной или международной войнѣ; и оно столь-же всеобще, какъ и человѣчество. Его легче можно изучить въ болѣе неразумныхъ проявленіяхъ, чѣмъ въ тѣхъ, къ которымъ мы привыкли. Говорятъ, австралійскіе дикари проѣдутъ больше половины австралійскаго материка, чтобы принять въ битвѣ сторону тѣхъ сражающихся, которые носятъ одинаковый тотэмъ съ ними. Двѣ ирландскія партіи, враждовавшія другъ съ другомъ на всемъ островѣ, говорятъ, возникли сперва изъ-за спора о цвѣтѣ одной коровы. Въ Южной Индіи, цѣлые ряды опасныхъ битвъ постоянно возникаютъ изъ соревонованія партій, которыя знаютъ другъ о другѣ

<sup>1)</sup> Мы не нашли слова, подходящаго на русскомъ языкѣ къ этому выраженію, хотя сознаемъ, что слово «интриганъ» не передаетъ вполне точно мысли Мэна. Поэтому оставимъ просто слово уайръ-пуллеръ. Ред.

<sup>2)</sup> Виелеемисты, орденъ XIII ст., существовавшій въ Кембриджѣ. Позднѣе (во 2-й половинѣ XVII в.), орденъ того-же названія былъ въ Гватемалѣ; послѣдователи Гусса также назывались этимъ именемъ. Ред.

только то, что нѣкоторыя изъ нихъ принадлежатъ къ партіи правой стороны, а другія къ партіи лѣвой. Разъ въ годъ, множество англійскихъ лэди и джентльменовъ, не имѣющихъ никакихъ серьезныхъ основаній предпочитать одинъ университетъ другому, носятъ темный или свѣтло-голубой цвѣта, чтобы выразить этимъ свои пожеланія успѣха оксфордскому или кэмбриджскому университетамъ въ партіяхъ крикета или въ состязаніяхъ на лодкахъ. Различіе партій, въ точномъ смыслѣ слова, должно обозначать умственное, моральное или историческое предпочтеніе; но эти различія весьма мало проникаютъ въ народъ, а массой членовъ партіи они едва-ли понимаются и скоро забываются. «Гвельфы» и «Гибелины» когда-то имѣли смыслъ, но еще долго спустя послѣ того, какъ никто не зналъ, въ чемъ состоитъ разниа между ними, находились люди, терпѣвшіе вѣчное изгнаніе изъ своей родины за принадлежность къ той или другой изъ этихъ партій. Нѣкоторыя лица принадлежатъ къ «тори» или «вигамъ» по убѣжденію <sup>1)</sup>, но тысячи тысячъ избирателей вотируютъ просто за желтыхъ, голубыхъ или пурпуровыхъ, привлеченные по большей части воззваніями какого-нибудь популярнаго оратора.

Вотъ при посредствѣ этой-то естественной склонности брать чью-либо сторону, — и дѣйствуетъ уайръ-пуллеръ (двигатель маріонетокъ). Безъ нея они были-бы безсильны. Ихъ дѣло — раздуть ея пламя; поддерживать постоянно дѣйствіе ея на человѣка, объявившаго себя однажды членомъ партіи; сдѣлать уклоненіе отъ нея труднымъ и непріятнымъ. Его искусство напоминаетъ искусство проповѣдниковъ нонконформизма, которые усиливали значеніе корпораціи обыденныхъ религіозныхъ людей, убѣждая ихъ носить особую форму или принимать военный титулъ, — или искусство человѣка, который создаетъ успѣхъ обществу умѣренности (трезвости), убѣдивъ его членовъ носить вездѣ и открыто голубую ленту. При долгомъ успѣхѣ, эти выдумки не могутъ обойти ни одну изъ партій, а ихъ воздѣйствія на всѣ партіи и ихъ вожаковъ и на всю господствующую демократію должны стать въ высшей степени серьезными и продолжительными. Первое изъ

---

<sup>1)</sup> Названіе двухъ партій англійскаго парламента, вошедшихъ во всеобщее употребленіе во второй половинѣ XVII в. (1679) при избраніи пріемниковъ Карлу II. Виги — обыкновенно поборники свободы и реформъ, тори — поклонники консервативныхъ началъ.



этихъ воздѣйствій будетъ, я полагаю, состоятъ въ томъ, что сдѣлаютъ эти партіи очень похожими другъ на друга, и въ концѣ-концовъ, дѣйствительно, почти неразличимыми, хотя вожаки могутъ спорить между собою, а члены ненавидѣть другъ-друга. Ближайшимъ образомъ, каждая партія будетъ дѣлаться все болѣе и болѣе однородной (гомогенной), а тѣ мнѣнія, которыя она исповѣдуетъ, и та политика, которая является проявленіемъ этихъ мнѣній, будутъ все меньше и меньше отражать мысль какого-либо вожака, а только тѣ идеи, которыя кажутся этому вожаку способными пріобрѣсть наибольшую благосклонность наибольшаго числа приверженцевъ. Въ концѣ-концовъ, система «уайръ-пуллерства», когда оно разовьется въполнѣ, приведетъ неизбѣжно къ постоянному расширенію избирательной площади. То, что называется всеобщей подачей голосовъ, очень и очень упало во мнѣніи не только философовъ, слѣдующихъ Бентаму, но и апріорныхъ теоретиковъ, принимавшихъ, что всеобщая подача голосовъ была неизбѣжнымъ спутникомъ республики,—но которые нашли, что на практикѣ она была естественной опорой захвата власти (тираніи). Однако, расширеніе избирательнаго права,—хотя теперь ужь болѣе не вѣрятъ, что оно хорошо само по себѣ,—занимаетъ нынѣ постоянное мѣсто въ числѣ орудій у партій и, конечно, должно быть любимымъ оружіемъ «уайръ-пуллера». Аѳинскіе государственные люди, которые будучи побѣждены въ спорахъ аристократическихъ кликъ, «привлекали къ своей партіи народъ», представляютъ тѣсную параллель съ современными политиками, проводящими по-семейное избраніе въ городахъ, чтобы «провести» (dish) одну сторону, а въ графствахъ, чтобы «провести» другую.

Позвольте намъ теперь предположить, что борьба партій, стимулированная до крайности современными изобрѣтеніями уайръ-пуллера, произвела избирательную систему, при которой всякій взрослый мужчина, а быть можетъ, и взрослая женщина имѣетъ голосъ. Позвольте предположить, что новый механизмъ извлекъ голоса отъ каждого изъ этихъ избирателей. Какъ долженъ быть выраженъ результатъ? Онъ состоитъ въ томъ, что будетъ получено среднее мнѣніе обширнаго большинства, и что это среднее мнѣніе становится базисомъ и знаменемъ всего управленія и закона. Есть хотя и незначительный, опытъ, позволяющій судить о томъ направленіи, въ которомъ дѣйствовала-бы такая система, но онъ не для тѣхъ, которые увѣрены, что исторія

началась съ ихъ рожденія. Всеобщая подача голосовъ бѣлымъ мужскимъ населеніемъ Соединенныхъ Штатовъ считаетъ себѣ уже 50 лѣтъ; бѣлымъ и чернымъ населеніемъ—около 20 лѣтъ. Франція отбросила всеобщую подачу голосовъ послѣ господства террора; она дважды воскресала во Франціи для того, чтобы на ней могла основаться наполеоновская тиранія, и она была введена въ Германію, для того, чтобы можно было подтвердить личную власть Бисмарка. Но одна изъ самыхъ странныхъ изъ всѣхъ вульгарныхъ идей состоитъ въ томъ, будто-бы очень широкое народное голосованіе могло-бы или захотѣло-бы двинуть прогрессъ, новыя идеи, новыя открытія и изобрѣтенія, новыя искусства и жизнь. Такое избирательное право обыкновенно ассоціируется съ радикализмомъ, и несомнѣнно среди его наиболѣе вѣроятныхъ результатовъ было-бы широкое разрушеніе существующихъ учреждений; но есть шансы, что, при продолжительномъ дѣйствіи, оно произвело-бы вреднѣйшую форму консерватизма и прописало-бы обществу такое лекарство, сравнительно съ которыми Эльдонинъ <sup>1)</sup> былъ-бы благотѣльнымъ бальзамомъ. Въ самомъ дѣлѣ, къ какому концу или цѣли и къ какому идеальному состоянію направленъ процессъ санкціонированія закона среднимъ мнѣніемъ цѣлаго общества? Конецъ, достигаемый этимъ, тождествененъ съ концомъ, достигаемымъ римско-католической церковью, которая придаетъ такое-же священное значеніе среднему мнѣнію христіанскаго міра. «*Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus*» (то, что признано всегда, вездѣ и всѣми), таковъ канѣнъ Винцента Лермина. «*Securus judicat orbis terrarum*» (только рѣшеніе всего шара земного можно считать обезпеченнымъ), таковы были слова, прозвучавшія въ ушахъ Ньюмэна <sup>2)</sup> и произведшія на него такое вліяніе. Но предполагалъ-ли кто-нибудь и когда-нибудь въ смыслѣ этихъ словъ, чтобы они были принципами прогресса? Основы законодательства, на которыя они указываютъ, вѣроятно, положили-бы конецъ всѣмъ общественнымъ и политическимъ дѣятельностямъ, и остановили-бы все, что когда-либо было ассоціиро-

---

<sup>1)</sup> Вѣроятно, авторъ имѣетъ въ виду одного изъ давнихъ представителей торійской партіи, графа Эльдона. Ред.

<sup>2)</sup> Англійскій богословъ и пасторъ, перешедшій потомъ въ католицизмъ (1845 г.) и сдѣлавшійся ревностнымъ его распространителемъ въ Англіи. Ред.

вано съ либерализмомъ. Минутное размышленіе убѣдить каждаго компетентно-образованнаго человѣка, что это вовсе не черезъ-чуръ произвольное предположеніе. Пусть они обратятъ свою мысль къ великимъ эпохамъ научныхъ изобрѣтеній и общественныхъ перемѣнъ въ теченіе двухъ послѣднихъ столѣтій, и сообразятъ: что случилось-бы, если-бы всеобщая подача голосовъ была установлена въ одну изъ нихъ? Всеобщая подача голосовъ, изгоняющая нынѣ свободную торговлю изъ американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, конечно, запретила-бы прядильную машину (джени) и механическій ткацкій станокъ. Она, конечно, воспретила-бы молотильную машину. Она воспрепятствовала-бы принятію Григоріанскаго календаря; и она возстановило-бы Стюартовъ. вмѣстѣ съ толпой, которая въ 1780 г. сожгла домъ и типографію лорда Мансфелда, она осудила-бы на смерть католиковъ, она изгнала-бы диссентеровъ вмѣстѣ съ толпой, которая сожгла домъ и типографію д-ра Пристлея въ 1791 г. Есть, вѣроятно, не мало людей, которые, не отрицая этихъ условій въ прошедшемъ, молча признаютъ, что никакихъ такихъ ошибокъ не можетъ случиться въ будущемъ, такъ какъ для этого общество уже достаточно просвѣщено, и будетъ еще просвѣщеннѣе, благодаря народному образованію. Но, не сомнѣваясь въ выгодахъ народного образованія съ другихъ точекъ зрѣнія, замѣчу, что его очевидная тенденція состоитъ въ распространеніи популярныхъ общихъ мѣствъ, въ связываніи ими мысли въ то время, когда она легко поддается впечатлѣніямъ, и, такимъ образомъ, въ приведеніи средняго мнѣнія къ единообразію (стереотипу). Слѣдовательно, хотя и возможно, что всеобщая подача голосовъ не вынудила-бы у правительства тѣхъ самыхъ законоположеній, которыя она неизбѣжно продиктовала-бы ему сто лѣтъ назадъ; но намъ неизвѣстно, сколько зародышей общественнаго и матеріальнаго улучшенія таится въ нѣдрахъ времени, и насколько они могутъ столкнуться съ народнымъ предубѣжденіемъ, которое въ будущемъ сдѣлается всемогущимъ. Въ самомъ дѣлѣ, уже достаточно данныхъ, доказывающихъ, что даже и теперь существуетъ значительный антагонизмъ между демократическимъ мнѣніемъ и научными истинами, — въ ихъ приложеніи къ человѣческимъ обществамъ. Центральное мѣсто политической экономіи было прежде всего занято теоріей народонаселенія. Эта теорія теперь обобщена Дарвиномъ и его послѣдователями и, будучи установлена, какъ принципъ пере-



живанія наиболѣе приспособленныхъ, она стала центральной истиной во всей біологической наукѣ. Но, очевидно, что она не нравится толпѣ и отодвинута на задній планъ тѣми, кому толпа позволяетъ руководить ею. Она долго была весьма непопулярна во Франціи и на континентѣ Европы, а среди насъ, предложенія признать ее посредствомъ облегченія бѣдности переселеніями видимо были вытѣснены проектами, основанными на мнѣніи, что законодательными опытами надъ обществомъ, данное пространство страны всегда можетъ быть сдѣлано способнымъ поддерживать въ благосостояніи то населеніе, которое по историческимъ причинамъ сдѣлалось на немъ осѣдлымъ.

Быть можетъ, есть надежда, что эта оппозиція между демократіей и наукой, которая, конечно, не общаетъ долговѣчности народному правительству, можетъ быть нейтрализована вліяніемъ образованныхъ вожаковъ. Кажется, было-бы не особенно шаткимъ предположеніе, что тотъ, кто-называетъ себя другомъ демократіи, только благодаря своей вѣрѣ въ то, что она всегда будетъ находиться подъ мудрымъ руководствомъ,—есть, на самомъ дѣлѣ,—вѣдомо или невѣдомо для себя,—врагъ демократіи. Но во всякомъ случаѣ, признаки нашего времени вовсе не благопріятствуютъ предсказанію о будущемъ направленіи огромныхъ массъ государственными людьми, болѣе мудрыми, чѣмъ сами эти массы. Отношеніе политическихъ вожаковъ къ политическимъ послѣдователямъ, кажется мнѣ, должно испытать двойную перемѣну. Вожаки могутъ быть такъ способны и краснорѣчивы, какъ никогда, а нѣкоторые изъ нихъ, конечно, могутъ явиться не имѣющими себѣ предшественниковъ въ «отличномъ пользованіи общими мѣстами и въ легкости ихъ примѣненія». Но они обязаны открыто, съ явной нервностью прислушиваться къ тѣмъ внушеніямъ, которыя даются низшими умами. Съ другой стороны, ихъ послѣдователи, которые въ дѣйствительности являются правителями, явно становятся нетерпѣливыми, при видѣ колебаній своихъ номинальныхъ вождей и споровъ своихъ представителей. Мнѣ очень желательно держаться вдалекѣ отъ вопросовъ, обсуждаемыхъ двумя большими англійскими партіями, но мнѣ рѣшительно кажется, что во всей континентальной Европѣ, и въ нѣкоторой степени въ Соединенныхъ Штатахъ, парламентскіе дебаты становятся все болѣе и болѣе формальными и поверхностными, они болѣе и болѣе способны подвергнуться окончательному сокращенію, и истинные источники политики болѣе и болѣе ограничиваются клубами и ас-

соціаціями, стоящими далеко ниже уровня высшаго образованія и опыта. Существуетъ одно государство, или точнѣе, группа государствъ, политическія условія которой заслуживаютъ особаго вниманія. Это—Швейцарія, страна, въ которой человѣкъ изучающій политику, можетъ всегда съ пользою отыскать самыя послѣднія формы и результаты демократическихъ опытовъ. Около сорока лѣтъ тому назадъ, какъ разъ въ то время, когда Гротъ далъ міру первые томы своей «Исторіи Греціи», онъ написалъ «Семь писемъ о современной политикѣ Швейцаріи», объясняя, что его интересъ къ Швейцарскимъ кантонамъ возросъ отъ того, что они представляютъ «нѣкоторое сходство, котораго нельзя найти ни въ какомъ другомъ мѣстѣ Европы», съ древними греческими государствами. Если Гротъ писалъ свою исторію, имѣя въ душѣ одну какую-нибудь цѣль болѣе, чѣмъ другую, то эта цѣль состояла въ томъ, чтобы доказать примѣромъ Аѣинской демократіи, что обширныя народныя правительства, далеко не заслуживая упрека въ непостоянствѣ, иногда отличались крайней прочностью привязанности, они готовы слѣдовать совѣту мудраго вождя, въ родѣ Перикла, платясь цѣною значительныхъ страданій, и даже могутъ быть приведены не мудрымъ вожакомъ, въ родѣ Никіа, къ крайнему разрушенію. Но у него была проницательность, которая помогла ему различить въ Швейцаріи особо—демократическое учрежденіе, которое, по всѣмъ вѣроятностямъ должно было искупать демократію освобождать себя отъ благоразумнаго и независимаго руководства. Онъ говоритъ съ строгимъ осужденіемъ о постановленіи конституціи Люцерна, по которому всѣ законы, прошедшіе черезъ законодательный совѣтъ, должны были подвергаться «veto», или санкціи народнаго голосованія во всемъ кантонѣ. Первоначально, это было изобрѣтеніемъ ультра—католической партіи и стремилось нейтрализовать мнѣніе католическихъ либераловъ, направивъ противъ него среднее мнѣніе всего кантональнаго населенія. Годъ спустя, послѣ того, какъ Гротъ напечаталъ свои «Семь писемъ», произошла французская революція 1848 г., а черезъ три года, насильственное ниспроверженіе демократическихъ учреждений, основанныхъ французскимъ національнымъ собраніемъ, было санкціонировано тѣмъ же самымъ способомъ подачи голосовъ, который онъ осуждалъ, явившимся подъ именемъ плебисцита. Аргументы французской либеральной партіи противъ плебисцита, въ теченіе двадцати лѣтъ грубаго деспотизма, которому онъ отдалъ во

владѣніе Францію, всегда являлись для меня аргументами, на самомъ дѣлѣ, противъ самаго принципа демократіи. Послѣ несчастій 1870 г., Бонапарты и плебисциты стали одинаково предметами глубочайшей непопулярности; но, кажется, невозможно сомнѣваться, что Гамбетта, посредствомъ своей агитаціи въ пользу «scrutin de liste», пытался вернуть плебисцитарную систему голосованія настолько, насколько это было возможно. Между тѣмъ, эта система возникла въ измѣненномъ видѣ, какъ одно изъ самыхъ характеристическихъ швейцарскихъ учреждений. Одинъ пунктъ федеральной конституціи предусматриваетъ, что, если пятьдесятъ тысячъ швейцарскихъ гражданъ, имѣющихъ право голоса, требуютъ пересмотра конституціи, то вопросъ о томъ, должна-ли быть пересмотрѣна конституція, долженъ быть поставленъ на голосованіе швейцарскаго народа: «да» или «нѣтъ». Другое постановленіе утверждаетъ, что по петиціи тридцати тысячъ гражданъ каждый федеральный законъ и каждый федеральный декретъ, который не является безъотлагательнымъ, долженъ выдержать «referendum», т. е., подвергнуться народному голосованію. Эти постановленія, по которымъ, если извѣстное число голосователей требуетъ особыхъ мѣръ, или дальѣйшей санкціи уже принятаго постановленія, то они должны подвергаться голосованію цѣлой страны,—представляются мнѣ обладающими значительной будущностью въ обществахъ, управляемыхъ демократически. Когда Лабушеръ въ 1882 г. говорилъ въ Палатѣ Общинъ, что народъ утомился отъ потопа словопреній и захочетъ когда-нибудь замѣнить ихъ прямымъ совѣтомъ самихъ избирателей, то для поддержки его мнѣнія у него было больше фактовъ, чѣмъ, быть можетъ, звали объ этомъ его слушатели.

Здѣсь мы имѣемъ, стало быть, большую непрочность присущую народнымъ правительствамъ, и именно непрочность, выводимую изъ принципа Гоббса, что свобода есть власть, раздробленная на куски. Народныя правительства могутъ дѣйствовать только путемъ процесса который заключаетъ въ себѣ, какъ слѣдствіе, крайнее раздробленіе политической власти на мельчайшія крохи.

И такимъ образомъ, тенденція этихъ правительствъ, поскольку они расширяютъ свой избирательный базисъ, направляется къ мертвому уровню вульгарнаго мнѣнія, который они принуждены принять, какъ образецъ законодательства и политики. Несчастія, которыя, по всей вѣроятности, должны про-



исходить отъ этого, скорѣе связаны съ бѣдствіями крайняго консерватизма, чѣмъ съ несчастіями крайняго радикализма. Въ самомъ дѣлѣ, насколько человѣческая раса обладаетъ опытомъ, человѣческія усовершенствованія никогда не были проведены тѣми политическими обществами, которыя какимъ-либо образомъ были похожи на, такъ называемыя нынѣ, демократіи. Штрауссъ говоритъ (а имѣя въ виду его дѣятельное участіе въ жизни, это, быть можетъ, есть послѣднее мнѣніе, какого можно было ожидать отъ него): «Исторія—глубоко аристократична». <sup>1)</sup> Могутъ быть довольно узкія олигархіи и настолько подозрительныя, что онѣ душили мысль такъ сполна, какъ восточные деспоты, являющіеся въ то-же время религіозными первосвященниками; но прогрессъ человѣчества до сихъ поръ возбуждался возвышеніемъ и паденіемъ аристократій, образованіемъ одной аристократіи внутри другой, или-же послѣдовательностью одной аристократіи за другою. Существовали, такъ называемыя, демократіи, которыя оказали неоцѣнимыя услуги цивилизаціи, но онѣ были только особой формою аристократіи. Недолговѣчная афинская демократія, при покровительствѣ которой искусства, науки и философія такъ чудесно двинулись впередъ, была только аристократіей, возникшей на развалинахъ другой, болѣе узкой. Тотъ блескъ, который привлекалъ всякаго оригинальнаго генія тогдашняго міра къ афинамъ, строился на суровомъ обложеніи подвластныхъ городовъ; а искусные труженники, работавшіе при Фидіѣ и строившіе Парѳенонъ, были рабы.

Непрочность народныхъ правительствъ, состоящая въ случайной легкомысленной разрушительности, часто обсуждалась, но она настолько ясна, что требуетъ менѣе вниманія. Затѣмъ, самый интересный вопросъ, который они возбуждаютъ, состоитъ въ томъ, къ какимъ соціальнымъ результатамъ обѣщаетъ привести человѣчество прогрессивное развитіе существующихъ учреждений? Я буду опять цитировать Лабушера, слова котораго не теряютъ значенія, хотя его можно подозрѣвать въ нѣкоторомъ злорадствѣ, когда онъ утверждаетъ откровенно то, что многіе, пользующіеся тѣми-же самыми политическими лозунгами, какъ и онъ, колеблются высказы-

---

<sup>1)</sup> Мнѣніе Штраусса кажется раздѣляетъ Эрнестъ Ренанъ. Оно встрѣчается дважды въ одномъ и томъ-же его произведеніи «Калибанъ»: *Toute civilisation est d'origine aristocratique* (стр. 77). «*Toute civilisation est l'oeuvre des aristocrates*» (стр. 91).

вать публично и, въ чемъ вѣроятно, мысленно трепещутъ сознаться даже себѣ:

«О демократахъ говорятъ, что они мечтатели, а почему? Потому что они утверждаютъ, что, если-бы власть была помѣщена въ рукахъ многихъ, то многіе употребили-бы ее для собственнаго блага. Не есть ли еще болѣе сумасбродный сонъ—предполагать, что многіе будутъ обладать въ грядущемъ властью и стануть употреблять ее не для обезпеченія того, что они считаютъ своими интересами, но для служенія интересамъ другихъ?.. Не воображаютъ-ли, что работники въ нашихъ обширныхъ мануфактурахъ, такъ удовлетворены ихъ теперешнимъ положеніемъ, что стануть сбѣгаться къ баллотировальнымъ ящикамъ, чтобы внести свои голоса за систему, которая раздѣляетъ насъ социальнo, политически и экономически, на классы, а ихъ помѣщаетъ на дно, съ котораго едва-ли возможно подняться?.. Настолько-ли доля (земледѣльческаго работника) счастлива у кого-либо, что онъ будетъ покорно и чистосердечно подавать свой голосъ за человѣка, который скажетъ ему, что она никогда не измѣнится къ лучшему?.. Мы знаемъ, что ремесленники и земледѣльческіе работники приступаютъ къ обсужденію политическихъ и социальныхъ задачъ съ свѣжими и энергическими мыслями... Въ данную минуту, мы требуемъ уравнинія привелегій... Нашимъ ближайшимъ требованіемъ будетъ новое распредѣленіе избирательныхъ округовъ дешевые выборы, жалованье членамъ (депутатамъ) и уничтоженіе наслѣдственныхъ законодателей. Когда наши требованія исполнятся, мы будемъ благодарны, но мы не должны останавливаться. Напротивъ: выковавъ орудіе демократическаго законодательства, мы должны воспользоваться имъ<sup>1)</sup>).

Лица, которыя обвиняли Лабушера въ мечтаніяхъ, потому именно, что онъ предсказывалъ вѣроятный ходъ и опредѣлялъ естественные принципы будущаго демократическаго законодательства,—кажутся мнѣ очень несправедливыми къ нему. Его предвидѣніе политическихъ обстоятельствъ чрезвычайно разумно; и я могу только соглашаться съ нимъ, думая, что было-бы абсурдомъ предполагать, будто-бы, если обремененные тяжелой работой и неимущіе, ремесленники и земледѣльческіе рабочіе, стануть носителями власти, и если они могутъ найти агентовъ, черезъ которыхъ для нихъ станетъ возможнымъ пользоваться ею, то они не будутъ употреблять ее на проведеніе того, что они считаютъ своими собственными интересами. Но въ изслѣдованіи независимомъ ни отъ страха, ни отъ энтузіазма, возбуждаемыхъ демократическими учрежденіями въ нѣкоторыхъ

---

<sup>1)</sup> Fort nightly Review, марта 1, 1883 г.

лицахъ или классахъ, а именно въ изслѣдованіи того, содержатъ-ли эти учрежденія какой-либо зародышъ разложенія или истощенія, — соображенія Лабушера становятся въ высшей степени интересными какъ разъ тамъ, гдѣ они останавливаются. Какова должна быть сущность того законодательства, посредствомъ котораго доля ремесленниковъ и земледѣльческихъ рабочихъ должна быть не только измѣнена къ лучшему, но замѣнена какимъ-бы то ни было положеніемъ или состояніемъ, которое они считали-бы возможнымъ дать самимъ себѣ своей собственной верховной властью? Слова Лабушера, въ выше приведенномъ отрывкѣ и въ другихъ частяхъ его статьи, подобно словамъ многихъ лицъ, согласныхъ съ нимъ въ вѣрованіи, что правительство можетъ безконечно увеличивать человѣческое благоденствіе, несомнѣнно выражаютъ мнѣніе, что сумма богатствъ (good things) въ мірѣ практически не ограничена въ количествѣ, что она, такъ сказать, заключена въ обширныхъ запасныхъ складахъ или житницахъ, изъ которыхъ въ настоящее время она распредѣляется неравными долями и въ несправедливыхъ пропорціяхъ. Эту-то несправедливость и неравенство исправить въ нѣкій день демократическій законъ. Однако я не намѣренъ отрицать, что, въ различное время въ теченіе исторіи человѣчества, ограниченныя олигархіи захватывали себѣ черезъ чуръ много изъ міровыхъ богатствъ, или что ложная экономическая система иногда уменьшала всю совокупность производства богатствъ, а своимъ косвеннымъ дѣйствіемъ, производила его нераціональное распредѣленіе. Однако, нѣтъ вещи болѣе извѣстной, чѣмъ та, что воображаемая картина, которая привлскаетъ энтузіастовъ благодѣтельностью демократическаго правленія, вполнѣ ошибочна, и что, если-бы масса человѣчества сдѣлала попытку передѣленія общаго запаса богатствъ, она походила-бы не на истцовъ, настаивающихъ на справедливомъ раздѣленіи капитала, а на мятежную команду корабля, угощающуюся его провизіей, насыщающуюся по горло мясомъ и отравляющую себя жидкостями, но запрещающую кораблю плыть въ портъ. Одна изъ простѣйшихъ экономическихъ истинъ состоитъ въ томъ, что наибольшая часть мірового богатства постоянно уничтожается потребленіемъ, и что, если-бы она не возобновлялась вѣчнымъ трудомъ и рискованными предпріятіями, то или человѣческая раса, или общество, сдѣлавшее опытъ оставленія его безъ возвращенія, изсякло-бы или бы было приведено къ крайнему предѣлу уничтоженія.



Это положеніе, хотя оно зависить отчасти отъ истины, которую по мнѣнію Джона Стюарта Милля, <sup>1)</sup> обыкновенно не знаетъ ни кто, кто не удѣлялъ предмету нѣкотораго размышленія, однако можетъ быть иллюстрировано очень просто. Одно время экономисты горячо обсуждали вопросъ, какимъ образомъ страны, опустошенныя самой разрушительной войной, возобновляютъ съ неожиданной быстротой эти опустошенія? «Непріятель опустошаетъ страну огнемъ и мечомъ, разрушаетъ или увозитъ почти все существующее въ ней движимое богатство; всѣ жители разворены; но черезъ нѣсколько лѣтъ все почти въ такомъ-же видѣ, какъ было и до войны». Милль, тамъ же, слѣдуя Чомерсу (Chalmers) даетъ убѣдительное объясненіе, что въ подобномъ случаѣ не происходитъ ничего, чего не случается и при всякихъ иныхъ обстоятельствахъ: «То, что уничтожено непріателемъ, въ недолгое время было-бы уничтожено и самими жителями; богатство, столь быстро воспроизводимое ими, они должны были-бы воспроизводить и воспроизвели-бы во всякомъ случаѣ и, вѣроятно, въ столь-же недолгое время». Дѣйствительно, фондъ, которымъ поддерживается жизнь человѣческой расы и въ частности каждаго общества, не находится никогда въ статическомъ состояніи. Онъ въ этомъ отношеніи не болѣе какъ облака въ небѣ, которыя вѣчно разлагаются и вѣчно возобновляются вновь. «Каждая вещь, которая производится,—потребляется: и та, которая сберегается и та, о которой говорить, что она должна быть потреблена; и первая такъ-же скоро, какъ и послѣдняя. «Богатство человѣчества есть результатъ непрерывнаго процесса, повсюду сложнаго и деликатнаго, и особенно на Британскихъ островахъ. Пока этотъ процессъ происходитъ подъ существующими вліяніями, его не могутъ прервать, какъ мы видѣли, ни землетрясеніе, ни наводненіе, ни война; и съ каждымъ его шагомъ, богатство, которое уничтожается и оживаетъ, имѣетъ тенденцію возрастать. Но если мы измѣнимъ характеръ или уменьшимъ силу этихъ вліяній, увѣрены-ли мы, что богатство, вмѣсто возрастанія, не разрушится или не исчезнетъ вовсе? Милль указываетъ на единственное исключенія въ возможности воскресенія страны послѣ войны. Страна можетъ быть обезлюжена, и если нѣтъ людей для веденія производства, то

---

<sup>1)</sup> Милль. «Основанія Политической Экономіи», т. I, гл. 5, § 7, стр. 99 (русскаго перевода).

процессъ воспроизведенія остановится. Но не можетъ-ли онъ быть остановленъ какими-либо средствами, имѣющими меньшую важность, чѣмъ истребленіе населенія? Опытъ, къ счастью рѣдкій теперь въ мірѣ, показываетъ, что богатство можетъ очень приблизиться къ гибели посредствомъ уменьшенія энергіи мотивовъ у людей, производящихъ его. Вы, такъ сказать, можете вынуть сердце и душу изъ работниковъ до такой степени, что они не будутъ пещись о работѣ. Іеремія Бентамъ наблюдалъ, около столѣтія тому назадъ, что турецкое правительство въ его время причинило обнищаніе нѣкоторыхъ изъ богатѣйшихъ областей въ мірѣ, гораздо больше своимъ дѣйствіемъ на мотивы, чѣмъ путемъ своихъ положительныхъ требованій; и мнѣ всегда представлялось, что разрушеніе обширныхъ богатствъ, скопленныхъ подъ властью Римской Имперіи,—одного изъ наиболѣе упорядоченныхъ и дѣятельныхъ правительствъ,—и въ средніе вѣка, погруженіе Западной Европы въ нищету и бѣдность можетъ быть объяснено только тѣмъ-же самымъ началомъ. Паденіе производства путемъ ослабленія мотивовъ было нѣкогда обыденнымъ явленіемъ на Востокѣ; и этимъ объясняется для всѣхъ, изучающихъ исторію Востока, почему, во все теченіе ея, репутація государственныхъ людей соединяется тамъ съ репутаціей хорошихъ финансистовъ. Въ первое время Компаніи Восточной Индіи, деревни, разоренныя тяжелыми налогами, постоянно обращали на себя вниманіе правительства. Однако, ихъ платежи оказались вовсе не чрезмѣрными, съ точки зрѣнія обыкновенныхъ англійскихъ податныхъ принциповъ; но они были довольно велики въ томъ отношеніи, что ослабляли мотивы, побуждающіе къ труду, такъ что ихъ почти невозможно было собрать. Это явленіе не есть удѣлъ одного только Востока, гдѣ, конечно, мотивы, побуждающіе къ труду, легче подвергаются вліянію, чѣмъ въ обществахъ Запада. Во Франціи, не дальше какъ въ концѣ прошлаго столѣтія, огромная часть крестьянъ бросила обрабатывать свои земли, и значительное число рабочихъ перестало трудиться вслѣдствіе той безнадёжности, которая была порождена въ нихъ обширными реквизиціями революціоннаго правительства въ эпоху террора; и, какъ и слѣдовало ожидать, пришлось прибѣгнуть къ уголовнымъ законамъ, чтобы вновь вернуть ихъ къ обычнымъ занятіямъ <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> Тэнъ: Происхожденіе теперешней Франціи, *Origines de la France Contemporaine*, т. III. См. о рабочихъ стр. 75, а о земледѣльцахъ стр. 511.

Мнѣ кажется, совершенно возможно, какъ показалъ Гербертъ Спенсеръ, въ своей замѣчательной небольшой книжкѣ <sup>1)</sup>, воскресить даже въ наше дни податную тиранію, заставлявшую нѣкогда даже европейскія населенія сомнѣваться въ томъ, стоитъ-ли жизнь того, чтобы ее поддерживать путемъ лишеній и труда <sup>2)</sup>. Обѣщаніемъ части фиктивныхъ богатствъ, скрытыхъ въ воображаемомъ денежномъ сундукѣ (какъ говоритъ Милль), содержащемъ будто-бы все богатство человѣчества, — вы только соблазнили-бы часть населенія отдаться временной лѣни. Вы только обезкуражили-бы тѣхъ, кто добровольно работалъ-бы и сберегалъ, обложивъ ихъ податью *ad misericordiam*, ради самыхъ почтенныхъ филантропическихъ цѣлей. Такъ какъ въ глазахъ работающей и сберегающей части человѣчества нѣтъ ни малѣйшей разницы отъ того, будетъ-ли она обременена налогами отъ лица азіатскаго деспота, или отъ феодальнаго барона или отъ демократическаго законодателя, и будетъ-ли она обложена этимъ налогомъ въ пользу корпораціи, называющейся обществомъ или для эгоистической выгоды отдѣльной личности, называющейся королемъ или сеньеромъ. Вотъ здѣсь-то, значить, и возникаетъ вопросъ относительно народнаго правительства. Какъ оно будетъ дѣйствовать на силы, являющіяся двигателями въ каждомъ обществѣ? Какими мотивами замѣнить оно тѣ, которыя вліяютъ теперь на человѣка? Мотивы, которые въ настоящее время возбуждаютъ человѣчество къ труду и заботамъ, для возобновленія богатства въ все большемъ и большемъ количествѣ, — имѣютъ такое свойство, что предполагаютъ непремѣнно неравенство въ распредѣленіи этого богатства. Это тѣ пружины дѣятельности, которыя приводятся въ движеніе трудной и постоянной борьбой за существованіе, частной но благодѣтельной войной между людьми <sup>3)</sup>, заста-

<sup>1)</sup> The Man versus the State, 1884, (франц. переводъ: L'individu contre l'Etat, 1885).

<sup>2)</sup> Гербертъ Спенсеръ показываетъ, что налогъ въ пользу бѣдныхъ нѣкогда поглощалъ половину поземельнаго дохода, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ 1832 г. собственники отступались отъ своихъ арендныхъ платъ, фермеры отъ договоровъ, пасторы отъ десятины и земли, отведенной имъ въ пользованіе.

<sup>3)</sup> Не входя въ критику другихъ положеній автора, редакція не можетъ не замѣтить теперь-же, что взглядъ, выраженный въ этихъ словахъ, диаметрально—противоположенъ христіанскому ученію о любви къ ближнему; христіанство именно и вывело человѣчество изъ этой вѣчной, животной борьбы и войны каждаго съ каждымъ, указавъ совершенно противоположные пути: взаимной помощи, даже жертвы «за ближняго». Это мѣсто особенно характеризуетъ откровенную точку зрѣнія Мэна.



вляющей, однако, человѣка взбираться на плечи другого и сбегать то положеніе, до котораго онъ возвысится на основаніи закона переживанія наиболѣе приспособленныхъ (fittest).

Доказательства этихъ истинъ получаются нами изъ тѣхъ областей земного шара, въ которыхъ поверхностные мыслители болѣе всего ожидаютъ увидѣть торжество совершенно противоположныхъ началъ. Соединенные Штаты справедливо назывались отечествомъ лишенныхъ наслѣдства, но если-бы эмигранты, побѣжденные въ борьбѣ за существованіе подъ небомъ своей родины, не продолжали подъ другимъ небомъ этой-же самой борьбы, въ которой они ранѣе оказались побѣжденными, то не могло-бы существовать такихъ подвиговъ, совершенныхъ ими, какъ обработка обширной американской территоріи отъ одного конца до другого и съ одной стороны до другой. Нѣтъ большей ошибки, какъ мысль, что этотъ результатъ могъ быть достигнутъ посредствомъ демократическаго законодательства. Этотъ результатъ былъ достигнутъ путемъ естественнаго подбора <sup>1)</sup> наиболѣе сильныхъ. Правительство Соединенныхъ Штатовъ, которое я изслѣдую въ другой части этой книги, опирается теперь на всеобщую подачу голосовъ, но это есть исключительно политическое правительство. Это—такое правительство, при которомъ всякія принудительныя ограниченія, исключая политическихъ, сводятся къ минимуму. До сихъ поръ почти не приходилось видѣть общества, гдѣ «слабые» были-бы болѣе безжалостно выталкиваемы за дверь (pushed to the wall) гдѣ имѣвшіе успѣхъ были-бы столь единообразно сильны, и гдѣ, въ такое краткое время, возникло-бы столь огромное неравенство частныхъ богатствъ и домашней роскоши. А, въ то-же время, не было никогда страны, въ которой, въ цѣломъ, лица отставшія отъ другихъ въ этомъ общественномъ ристалищѣ, страдали-бы столь мало отъ своей неуспѣшности. Весь этотъ благотѣльный успѣхъ есть плодъ признанія принципа народонаселенія и постоянной эмиграціи, какъ единственнаго лекарства отъ его излишка. Онъ весь имѣетъ своимъ фундаментомъ святость договора и прочность частной собственности: первое есть орудіе, а второе — вознагражденіе успѣха во всеобщей борьбѣ. Но, однако, все это суть такіе принципы и учрежденія, которые

---

<sup>1)</sup> Буквально: by natural sifting—посредствомъ естественнаго просѣиванія.  
Ред.

третируются англійскими друзьями «рабочаго» и «земледѣльца» — кажется, не выше того, чѣмъ ихъ предки третировали земледѣльческія и промышленныя машины. Американцы-же держатся пока того мнѣнія, что частная энергія можетъ и должна дать для человѣческаго счастья гораздо больше, чѣмъ общественное законодательство. Однако, ирландцы, даже въ Соединенныхъ Штатахъ, держатся иного взгляда, и этотъ ирландскій взглядъ, очевидно, начинаетъ здѣсь пользоваться успѣхомъ. Но будущность народнаго правительства въ значительной степени зависитъ отъ того, станетъ-ли грядущее демократическое законодательство слѣдовать этому новому взгляду. Существуетъ два рода побудительныхъ двигателей, — и только два, — благодаря которымъ до сихъ поръ производилось и воспроизводилось огромное количество предметовъ, необходимыхъ для человѣческаго существованія и комфорта. Одинъ изъ нихъ привелъ къ культивированію Сѣверныхъ Штатовъ Американскаго Союза, отъ Атлантическаго до Восточнаго Океана, другой въ значительной степени содѣйствовалъ промышленному и земледѣльческому прогрессу Южныхъ Штатовъ (бывшихъ рабовладѣльческихъ), а встарину былъ причиной чудодѣйственнаго благосостоянія Перу, при Инкахъ <sup>1)</sup>. Одна система есть система экономической борьбы, или конкуренціи; другая состоитъ въ ежедневно задаваемомъ урокъ, который, быть можетъ, распредѣлялся и равномерно, и правильно, но къ выполненію котораго принуждали тюрьмой или бичемъ. Насколько мы можемъ судить на основаніи опытныхъ данныхъ, мы принуждены сдѣлать выводъ, что каждое общество должно принимать либо ту, либо другую систему, или оно придетъ путемъ обнищанія къ голоду.

Такимъ образомъ, я показалъ, что народныя правительства современнаго типа еще не доказали до сихъ поръ своей прочности, сравнительно съ другими формами политическаго управленія, и что они заключаютъ въ себѣ нѣкоторые источники слабости, которые не обѣщаютъ ихъ обезпеченности ни въ близкомъ, ни въ отдаленномъ будущемъ. Мой главный выводъ можетъ быть утверждаемъ только отрицательно: въ настоящее время не существуетъ достаточныхъ доказательствъ, которыя подтверждали-бы общее убѣжденіе въ вѣроятности безконечно-

---

<sup>1)</sup> Подробности о принудительной организаціи труда въ Перу см. въ соч. Летурно: «Эволюція собственности», изданномъ нами въ русскомъ переводѣ.

видѣли раньше сдѣлалось любимой темой и піэтистическихъ и рационалистическихъ кружковъ разсматривать красоту и порядокъ природы въ ихъ нравственномъ вліяніи на человѣка <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Какъ типическое сочиненіе въ этомъ смыслѣ, я назову книгу Зульцера, уже упомянутую выше. (I. G. Sulzer «Unterredungen über die Schönheit der Natur nebst desselben moralischen Betrachtungen über besondere Gegenstände der Naturlehrer»). Предисловіе экземпляра Лейпцигской университетской бібліотеки, находящагося у меня въ рукахъ, помѣчено 1869 годомъ; предыдущія изданія были посвящены Бодмеру: вѣроятно, автору показалось, что эта книга недостойна такого великаго человѣка. На этомъ экземплярѣ находится характеристическая надпись, сдѣланная г-жею фонъ-Шталь-Гольштейнъ, красивымъ женскимъ почеркомъ: «Взглядъ на природу поднимаетъ къ религіознымъ мыслямъ, которыя служатъ связью между ею и безконечнымъ и крѣпче привязываютъ насъ къ ея чудесамъ и красотамъ». Эта книга весьма интересна, какъ изображеніе вкуса того времени. Она описываетъ, какъ нѣкто, будучи человѣкомъ мало впечатлительнымъ къ красотамъ природы, подъ руководствомъ друга сдѣлался ея ревностнымъ поклонникомъ. Харитъ рассказываетъ, какъ Эвкратъ разбудилъ его раннимъ утромъ и повелъ его на ближайшій холмъ, когда солнце только что восходило. Чистый воздухъ, согласное пѣніе птицъ, обширный видъ съ лѣсами, деревьями и прудами «трогаетъ» его, и Эвкратъ объясняетъ ему, что созерцаніе природы есть «естественнѣйшее удовольствіе», что оно заставляетъ земледѣльца забывать свое горе и свое рабство и, наполняя его духъ отрадой, позволяетъ ему пѣть среди тяжелой работы. «Это удовольствіе всегда для насъ ново, и наше сердце всегда для него открыто, насколько оно свободно отъ суетности и отъ бурныхъ наклонностей. Развѣ ты не знаешь, что огорченные и, въ особенности, влюбленные находятъ въ немъ для себя лучшее утѣшеніе? Развѣ больного освѣжаетъ и ободряетъ что-либо болѣе, чѣмъ отрадный солнечный свѣтъ?»... Онъ обращаетъ вниманіе своего спутника на «измѣнчивость въ красотѣ природы», на «пріятную гармонію столь многихъ тысячъ цвѣтовъ», на «мягкость природы, которая такъ доступна для души» и совѣтуетъ избѣгать «бурности страстей»: «Каждый ручеекъ есть образъ нашей души; пока онъ тихо бѣжитъ въ своихъ берегахъ, вода его чиста; прекраснѣйшая трава и тысячи цвѣтовъ окаймляютъ его; но когда онъ надувается и бѣжитъ бурно, это украшеніе уносится, и вода дѣлается мутной. Духъ нашъ долженъ быть свободенъ, если мы хотимъ чувствовать кроткое удовольствіе природы. Она—святилище, доступное только для невинныхъ душъ... Подобно тому, какъ вода, будучи бурной, не показываетъ уже на своей поверхности ни образа неба, ни образа ближайшей мѣстности, а лишь тихій потокъ позволяетъ видѣть эту прекрасную картину, точно также и кроткіе образы природы отражаются лишь въ тихихъ душахъ!!» Краснорѣчиво изображаетъ онъ сладкое восхищеніе, какое доставляютъ ему журчаніе ручья, разнообразное пѣніе птицъ, запахъ цвѣтовъ, какъ онъ по цѣлымъ часамъ бродитъ въ лѣсу, и «тогда всѣ чувства откры-



Но эстетическаго раздѣленія и расчлененія разнообразныхъ впечатлѣній природы мы здѣсь почти вовсе не встрѣчаемъ; значительнѣйшія изъ этихъ раздѣленій мы находимъ ни у кого другого, какъ у Канта въ его «Наблюденіяхъ надъ чувствомъ прекраснаго и возвышеннаго» <sup>1)</sup>, относящихся къ 1764 г. Онъ различаетъ въ болѣе утонченномъ ощущеніи отъ впечатлѣнія природы, впечатлѣнія двоякаго рода — возвышеннаго и прекраснаго. «То и другое пріятно затрогиваютъ насъ, но весьма различнымъ образомъ. Видъ горъ, снѣжныя вершины которыхъ поднимаются за облака, описаніе бури... нравятся намъ, но съ примѣсю ужаса; напротивъ, видъ цвѣтистыхъ луговъ, долинъ съ змѣящимися ручьями, покрытыхъ пасущимися стадами, описаніе Элизіума... также вызываютъ пріятное ощущеніе, но оно весело и радостно. Для того, чтобы первое впечатлѣніе могло дѣйствовать на насъ съ достаточной силой,

---

ваются прелестнымъ впечатлѣніемъ природы», и она кажется ему «лучами блаженнаго отблеска той первоначальной красоты, зрѣлище которой должно рано или поздно доставить блаженство нашему духу». Они вступаютъ на великолѣпный лугъ, надъ которымъ «амфитеатромъ» возвышается лѣсъ; Харитъ объясняетъ на растеніяхъ гармонію въ многообразіи, а на животныхъ, — «какъ уклоненія одного вида отъ другого почти незамѣтны» и т. д. Эвкратъ вскорѣ признаетъ, что «нельзя достаточно прославить природу, и что ея искусство, дѣйствительно, безконечно велико». Однажды вечеромъ, онъ рассказываетъ (3 Unterr., S. 70): «Мы вышли изъ небольшого лѣса на открытое поле, когда солнце только что собиралось закатиться. Мѣстность и красота вечера казались созданными именно для того, чтобы ласкать сердце пріятнѣйшими ощущеніями. Мы созерцали нѣкоторое время на концѣ лѣса заходящее солнце, которое бросало на насъ послѣдніе лучи черезъ вѣтви буковъ. Вскорѣ мы увидели, какъ все готовилось къ покою. Земледѣлецъ медленно возвращался съ тяжелой работы въ свою хижину, пастухъ гналъ свое блеющее стадо въ хлѣвъ. Птицы съ полей перелетали въ кусты, и вся природа, казалось, подготавлилась къ ночному покою. Все, что мы видели, могло пробуждать въ насъ лишь самую чувствительную отраду». Его сердце вдрагиваетъ отъ благоговѣнія передъ Творцомъ; ему кажется, что онъ находится среди величественнаго храма, — «въ которомъ всѣ созданія лежатъ въ глубокомъ молитвенномъ преклоненіи». Его грудь такъ полна мыслей и ощущеній, что онъ не можетъ ихъ выразить; «по цѣпи земныхъ существъ онъ поднимается до безконечнаго»; полный благоговѣнія и смиренія онъ преклоняется передъ великимъ Творцомъ величественной природы.

<sup>1)</sup> Sämtliche Werke herausgegeben von Rosenkranz, 4 Teil. Leipzig 1838.

мы должны обладать чувствомъ возвышеннаго, а для того, чтобы исполнѣ наслаждаться послѣднимъ,—чувствомъ прекраснаго» <sup>1)</sup>). Высокіе дубы, одинокія тѣни въ священныхъ рощахъ и ночь, онъ называетъ возвышенными; день и цвѣточный коверъ, низкія изгороди и деревья, вырѣзанныя фигурами (!)—прекрасны. «Умы, обладающіе чувствомъ возвышеннаго, въ спокойной тишинѣ лѣтнаго вечера, когда дрожащій свѣтъ звѣздъ проникаетъ черезъ тѣни ночи и одинокій мѣсяцъ стоитъ передъ глазами, постепенно приходятъ къ высокимъ мыслямъ о дружбѣ, о презрѣніи къ міру, о вѣчности. Блестящій день вливаетъ въ насъ дѣловую ревность и чувство веселости. Возвышенное трогаетъ, прекрасное восхищаетъ». Но и въ сферѣ возвышеннаго онъ указываетъ еще различныя формы. «Чувство его сопровождается иногда нѣкоторымъ ужасомъ или грустью, въ другихъ случаяхъ — спокойнымъ восторгомъ, а въ иныхъ—возвышеннымъ пониманіемъ красоты. Первое я называю устрашающе—возвышеннымъ, второе—городнымъ и третье—великолѣпнымъ. Полное уединеніе имѣетъ возвышенный, но и устрашающій характеръ. Поэтому, большія, пространныя пустыни, какъ напр., огромная пустыня Гамо (Гоби) въ Татаріи, во всѣ времена давали поводъ помѣщать туда страшные призраки, и оборотней. Возвышенное, во всякомъ случаѣ, должно быть большимъ и простымъ; прекрасное можетъ быть и малымъ и прикрашеннымъ». Онъ старается опредѣлить и романтическое въ природѣ, хотя еще весьма неопредѣленно: «Свойство ужасающе—возвышеннаго, когда оно исполнѣ неестественно, есть причудливость. Насколько возвышенность или красота переходитъ за извѣстную среднюю мѣру, ихъ обыкновенно называютъ романтическими». <sup>2)</sup>).

<sup>1)</sup> П. 400.

<sup>2)</sup> S. 107. «Романическій» и причудливый для него еще тождественныя понятія; такъ, (462) онъ говоритъ о странномъ вкусѣ среднихъ вѣковъ, который породилъ «странный родъ героическихъ фантастовъ, которые себя называли рыцарями и искали приключеній, турнировъ, поединковъ и романическихъ поступковъ». Подобно тому, какъ Кантъ называетъ романтическое «неестественнымъ» и превосходящимъ извѣстную среднюю мѣру, Ж. П. Рихтеръ называетъ это «прекраснымъ безъ ограниченія»; Гёте гораздо ближе къ нашему воззрѣнію, когда онъ въ «Изрѣченіяхъ въ прозѣ» (Трет. отд.) говоритъ: «Такъ называемое ро-

Онъ привѣтствуетъ жаворонка, онъ прославляетъ радугу: «Прекрасное дитя солнца... Образъ надежды надъ черными облаками... Надежды — краски, преломленные лучи и дѣти слезъ, правда — солнце» <sup>1)</sup>. Съ какимъ чувствомъ проведено здѣсь сліяніе человѣческой жизни съ жизнью природы! Въ стихотвореніи «На морѣ у Неаполя» онъ восхищается окружающимъ его величіемъ: «Утомленный тяжелымъ зноемъ лѣта, я сѣлъ внизу у прохладнаго моря. Волны катились, цѣлѣя край сѣраго берега... И надо мною высоко, въ струяхъ голубого эфира, шептало дерево... Стройная, прекрасная царица деревьевъ Пивія, уносила меня въ область золотыхъ грезъ». Въ «Воспоминаніи о Неаполѣ» онъ жалуется: «Да, исчезли они, они исчезли, тѣ короткіе, тѣ прекрасные часы, какіе и я пережилъ въ Позилиппо. Прелестное сновидѣніе изъ гротовъ, скалъ, холмовъ, острововъ, прекраснаго отраженія солнца, озеръ, моря — ты отлетѣло отъ меня». Очарованіе величественнаго вечера на морѣ кажется ему неподдающимся выраженію: «Когда

---

романтическое извѣстной страны есть тихое чувство возвышеннаго въ формѣ прошлаго, или, — что равносильно, — уединеніе, отрѣшенность», хотя здѣсь недостаточно выяснено специфическое впечатлѣніе величественнаго горваго пейзажа въ отличіе отъ уединенія и отрѣшенности неизмѣримыхъ пустынныхъ пространствъ или пустынь. На Канта опирается Шиллеръ въ своемъ превосходномъ разсужденіи «О возвышенномъ», гдѣ онъ высказываетъ: «Чувство возвышеннаго есть смѣшанное чувство. Это — соединеніе болѣзненнаго чувства, высшая степень котораго есть ужасъ и радостнаго чувства, которое можетъ подниматься до восторга, и хотя оно не есть настоящее удовольствіе, но утонченными душами предпочитается всѣмъ другимъ удовольствіямъ. Видъ неограниченныхъ далей и необозримыхъ высотъ, обширный океанъ подъ ногами и еще болѣе обширный океанъ надъ головою, отвлекаютъ духъ, воспріимчивый къ возвышенному, отъ узкихъ сферъ дѣйствительнаго и отъ давящаго рабства физической жизни». Такимъ образомъ, романтическое есть только усиленіе возвышеннаго.

<sup>1)</sup> Гёте пишетъ (Der junge Goethe von Bernays I, 53): «Свѣтъ есть правда, но солнце не есть правда, откуда вытекаетъ свѣтъ. Ночь есть неправда. И что такое красота? Она не свѣтъ и не ночь. Сумерки, гдѣ рождаются правда и неправда. Нѣчто среднее». Прекрасныя, глубокія слова. Въ прекрасномъ сливаются вмѣстѣ противоположенія идеи и дѣйствительности, какъ свѣтъ и тѣни въ сумеркахъ. Въ то-же время эти слова могутъ служить девизомъ романтиковъ, идеаломъ красоты которыхъ также былъ сумракъ, т. е. мистическое сочетаніе грезъ и жизни, фантазіи и разума, вслѣдствіе чего сумракъ ведетъ къ туманной полутѣмѣ и ночной неопредѣленности всѣхъ очертаній.



въ тихое море кротко погружалась вечерняя заря и, мѣсяцъ съ сонмомъ своихъ звѣздъ, все свѣтлѣе, поднимался на небо, ахъ, тогда текли съ новымъ желаніемъ невинныя юношескія слезы; только вздохъ говорилъ, а все молчало». Настоящее поэтическое воззрѣніе на природу выказываетъ онъ въ стихотвореніи «Ночь», въ которомъ прославляетъ ее, священную, спокойную мать созвѣздій: «Тебя ожидаетъ уже жаждущая земля, и ея цвѣты устало склоняють голову, чтобы насладиться изъ твоей чаши хотя-бы только двумя каплями небесной росы; а вмѣстѣ съ ними склоняется устало и моя переполненная образами душа». Ужасъ передъ безконечностью проникаетъ его пѣсню и сообщаетъ ей возвышенный полетъ: «Звѣздами усыпанная, золотомъ вѣнчанная богиня, ты, на черной, широкой одеждѣ которой сверкають тысячи міровъ... Священное молчаніе, наполняющее теперь міръ, тихій потокъ, который торжественно катится въ вѣчныхъ берегахъ безконечнаго творенія... Моря безконечности обнимають мой духъ, небо всѣхъ небесъ! Тихое, какъ ночь, море свѣтлыхъ картинъ, какъ океанъ, полное огненныхъ искръ»... Въ «Ночи Св. Іоанна» онъ восклицаетъ также: «Безконечна ты, неисчерпаема ты, прекрасная мать-природа»!

Но и Гердеръ не былъ свободенъ отъ чувствительности своего времени, какъ это видно изъ переписки его съ его невѣстой Каролиной Флаксландъ <sup>1)</sup>; въ перепискѣ замѣтно, какое вліяніе оказывалъ на него Руссо. Гердеръ (59) пишетъ: «Лучшіе часы для меня, когда я безъ всякаго общества брожу по красивому лѣсу, плотно примыкающему къ Бюккебургу, или лежу на насыпи вала, въ тѣни моего сада, или, наконецъ,—такъ какъ уже три дня у насъ превосходный, а вчера былъ прекраснѣйшій въ мірѣ лунный свѣтъ,—то въ эти часы прекрасной, дремлющей ночи, наслаждаюсь пѣніемъ соловья», и въ другомъ мѣстѣ: «Я не знаю болѣе сладкихъ часовъ, какъ тѣ, которые я провожу въ зелѣномъ уединеніи,—я живу и въ лѣсахъ, и въ церкви такъ романтично—одиноко, какъ могутъ жить только поэты, влюбленные и философы». А его невѣста признается: «Во мнѣ и около меня—все радость; каждый цвѣтокъ, растеніе, или что-бы то ни было въ природѣ, ка-

---

<sup>1)</sup> Aus Herder's Nachlasz, herausgegeben von Düntzer und Ferd. Gotter. v. Herder, 3 Bd., Frankfurt a. M. 1857.

жется мнѣ прекраснымъ съ тѣхъ поръ какъ я знаю тебя, мой возлюбленный» (38)... «Я рано ушла въ мою комнату,—мѣсяцъ почти совсѣмъ затмевался облаками, и ночь, отъ кваканья лягушекъ, казалась столь меланхоличной, что я долго не могла отойти отъ окна; вся моя душа была въ облакахъ и во мракѣ, я думала о тебѣ, мой возлюбленный, милый; и эти мысли и вздохи довели меня до слезъ» <sup>1)</sup>, и: «Нравятся-ли вамъ также добрые и милые хлѣбные ко-

---

<sup>1)</sup> Слезы, вообще, у нихъ играютъ большую роль. Ср. S. 66, 113 и др. Выраженія: «Моя плачущая душа, ваша прекрасная душа, ваша чувствительная душа, вашъ чувствительный взоръ», встрѣчаются очень часто. «Чувствительный» считается почетнымъ опредѣленіемъ, напр., стр. 91: «Меркъ сдѣлалъ что-то для Лилы; Лила — дѣвица фонъ-Циглеръ,—необыкновенно чувствительная дѣвушка; Меркъ въ полномъ восторгѣ отъ нея»; (с. 181): «Эта дѣвушка—чувствительнѣйшее, благороднѣйшее, прекраснѣйшее сердце»; (182): «О, прекрасная душа! Она—кроткая, мечтательная дѣвушка; она выстроила для себя гробницу въ своемъ саду»... Каролина проводила «блаженные утренніе часы» за одами Клопштока, (154), что не должно насъ удивлять: для нея «онѣ небесное царство, онѣ позволяютъ ей заглянуть въ Элизіумъ». И Вертеровская Лотта все вздыхаетъ о «Клопштокѣ», и этого достаточно, чтобы выразить ея чувствительность. Чувствительность превращается въ меланхолію у несчастнаго Ленца, что можно видѣть изъ его писемъ къ Зальцману въ книгѣ Штебера (Stoeber: «Lenz und Friederike von Sesenheim», Basel 1842); я заимствую оттуда (S. 68), слѣдующее мѣсто, характеризующее его чувство природы: «Кроткая меланхолія весьма легко мирится съ нашимъ благополучіемъ, и я надѣюсь, даже увѣренъ, что она, рано или поздно, разрѣшится въ чистую и продолжительную радость, какъ сумрачное лѣтнее утро разрѣшается въ безоблачный полдень. И я не терплю теперь недостатка въ частыхъ солнечныхъ взорахъ... Я прикипаю теперь къ груди природы съ удвоеннымъ жаромъ; обвиваютъ-ли ея чело солнечные лучи или холодные туманы, ея материнскій обликъ всегда улыбается мнѣ, и часто я покушаюсь, вмѣстѣ съ старымъ Юніемъ Бруттомъ, повергнуться на землю и нѣмымъ поцѣлуемъ возблагодарить ее за ласку. На самомъ дѣлѣ, я нахожу на лугу около Ландау ежедневно новыя красоты, и самый холодный сѣверный вѣтеръ не можетъ заставить меня отступитъ отъ нихъ. Если-бы я обладалъ кистью божественнаго живописца, я тотчасъ-же нарисовалъ-бы вамъ нѣкоторыя стороны этого превосходнаго амфитеатра природы: такъ живо отпечатлѣлся онъ въ моемъ воображеніи — съ горами, поддерживающими небо,—съ долинами, наполненными деревьями у ихъ подножія, какъ-будто спящими тамъ, подобно Іакову у подножія своей небесной лѣстницы.

лосья? Я никогда не прохожу мимо поля безъ того, чтобы не поглядить колосья рукой».

---

Гёте, какъ въ фокусѣ, собираетъ въ себѣ отдѣльные лучи того чувства природы, какое выражалось лирикой до него и въ эпоху современную ему; но онъ поднялся выше всего неестественнаго и болѣзненно чувствительнаго, лежавшаго въ направленіи тогдашняго вкуса и, на первыхъ порахъ, оказавшаго и на него свое вліяніе и, такимъ образомъ, явился освободительнымъ, спасительнымъ геніемъ новѣйшей культуры. Нѣмецкая лирика достигаетъ въ немъ своей вершины, но и нѣмецкое чувство природы нашло въ немъ самаго жизненнаго, правдиваго, индивидуальнаго и, въ то-же время, универсальнаго истолкователя. Онъ соединяетъ наивность Гомера и симпатизированіе Шекспира съ мечтательностью Руссо и меланхоліей Оссіана; величайшія противоположности онъ превращаетъ въ универсальную гармонію силою своей оригинальности, которая воспринимаетъ въ себя самые разнообразныя моменты направленія того времени; хотя она сама, отчасти, направляется ими, но лишь для того, чтобы проникнуть ихъ собственнымъ духомъ, переработать и очистить отъ всякихъ примѣсей. Сколько лживаго, притворнаго, пустого и сантиментально-мечтательнаго было въ любовной лирикѣ его времени, и какъ она была бѣдна тѣми симпатизирующими сравненіями и метафорами, которыя приводятъ въ соотношеніе или тѣсно сливаютъ внутренній міръ и жизнь природы. А у Гёте все — жизнь и природа. «Природа хотѣла знать, какой у нея видъ и создала Гёте», т. е. другими словами, въ микрокосмѣ Гёте отражается макрокосмъ новѣйшаго времени. Онъ универсально новый человѣкъ, какимъ никто не былъ до него, и, какъ у величайшаго лирика въ свѣтѣ, у него есть взглядъ и сердце для природы, какіе послѣ него были лишь у немногихъ. Онъ не жилъ жизнью фантастическихъ грёзъ, какъ многіе эллигическіе и идиллическіе поэты XVIII вѣка; онъ чувствовалъ себя свѣжо и крѣпко на почвѣ дѣйствительности и отъ самаго дѣтства въ немъ жило «живое чувство ко всему существующему»; какъ онъ самъ говоритъ въ «Поэзіи и Правдѣ».

Ни одинъ поэтъ, не исключая и Клопштока не выказываетъ такого богатства новыхъ выраженій въ своемъ языкѣ; всякое опредѣленіе, какое онъ въ новомъ значеніи придаетъ



существительному, заимствовано изъ собственныхъ наблюдений природы и отличается пластической вѣрностью. Сколько прелести и силы, сколько истинно-поэтическаго воззрѣнія заключается въ его прилагательныхъ и причастіяхъ, когда онъ полевой шиповникъ называетъ «прекраснымъ какъ утро», весеннюю погоду «розовой», горы «облачно-небесными». Когда онъ называетъ день «всесвѣтящимъ», листья «зелено-свѣтлыми», октябрьскій туманъ «дымящимся», облака «катыющимися», молніи «благословляющими», розы и лиліи «утренне-росистыми», когда онъ придаетъ западному вѣтру «влажные крылья» и заставляетъ высокія ели «мелодично шумѣть», а водопадъ «мелодично сбѣгать внизъ». Какое искреннее и вѣстѣ съ тѣмъ кристаллизированное воззрѣніе на природу заключается въ такихъ сочетаніяхъ: «волнодышащій», «буредышащій», «влажно - ясный», или въ существительныхъ: «сладкая кротость неба», «паръ цвѣтовъ», «пурпурныя облака», «любовный взглядъ солнца», «лунныя сумерки», «золотыя облака», «облачный паръ», «долина тумана», «долина тѣни», «жизненные волны» и т. д. Каждое изъ нихъ дѣйствуетъ непосредственностью поэтическаго вдохновенія и пробуждаетъ рядъ образовъ и мыслей, какъ-будто въ немъ заключается цѣлое стихотвореніе. Какъ характерно изображается сѣверная атмосфера немногими строками съ мѣткими опредѣленіями: «Тамъ на Сѣверѣ меня встрѣтилъ сѣроватый день, небо мутно и тяжело опускалось надъ моей головой, міръ безъ красокъ и образовъ лежалъ вокругъ усталаго». Особенную жизненность и богатство такихъ живописныхъ опредѣленій выказываетъ Вертеръ: «Когда я лежу въ высокой травѣ у падающаго ручья, когда милая долина дымится около меня и т. д... Гдѣ-то гремитъ въ сторонѣ и величественный дождь шумитъ по землѣ, а освѣжающее благоуханіе поднимается къ намъ въ совершенно тепломъ воздухѣ», или: «Былъ великолѣпнѣйшій солнечный восходъ! Роняющіи капли лѣсъ и освѣженная долина лежали около меня... Когда тихая рѣчка скользила между шепчущими тростниками и стражала прелестныя облака, которыя легкій вечерній вѣтеръ убаюкивалъ на небѣ... Когда ты поднимаешься на гору въ прекрасный лѣтній вечеръ, тогда взгляни по направленію къ кладбищу, на мою могилу!.. Какъ вѣтеръ качаетъ высокую траву въ свѣтѣ закатающагося солнца» и т. д. Сколько

жизни и движенія въ тихую, мирную картину вносятъ глаголы «шумѣть», «ронять капли», «убаюкивать», «качать»!

По самому характеру пѣсни, ей не свойственны сравненія въ видѣ распространенныхъ предложеній съ формами «подобно тому» или «какъ», но и въ этомъ случаѣ, Гёте, въ своихъ стихотвореніяхъ даетъ много прекрасныхъ образцовъ, взятыхъ изъ природы. Свою возлюбленную называетъ онъ «золотисто-прекрасной, какъ утреннія облака на тѣхъ высотахъ», и говоритъ ей: «Я такъ привыкъ тебя видѣть, какъ видятъ звѣзды, какъ смотрятъ на мѣсяцъ, радуются на нихъ и внутри, въ спокойной груди не шевелится даже самаго отдаленнаго желанія обладать ими»; «какъ весна даетъ мнѣ цвѣты, такъ я даю поцѣлуи»; «подобно тому, какъ зимой сѣмя медленно прорастаетъ, а лѣтомъ поднимается полное жизни и зрѣетъ, также и моя привязанность къ тебѣ»... Ближе подходятъ къ сравненіямъ слѣдующіе обороты: «Нѣжное стихотвореніе, это—радуга, которая показывается только на темномъ фонѣ»... «Что отличаетъ боговъ отъ людей? То, что отъ первыхъ стремится много волнъ, вѣчный потокъ, а насъ поднимаетъ волна, поглощаетъ волна и мы погружаемся». А въ «Стеллѣ» (актъ 3): «Ты не чувствуешь, что такое—небесная роса жаждущему, который изъ пустого, песчанаго міра возвращается на твою грудь»; — или тамъ-же (актъ 5): «У меня было свободно на душѣ, чисто, какъ весеннее утро». Въ «Фаустѣ» жизнь символизируется слѣдующимъ образомъ: «водонадъ, шумящій по утесу отражаетъ человѣческое стремленіе: въ его радужномъ отблескѣ мы видимъ жизнь». И когда Вертеръ чувствуетъ, что все его существо колеблется между бытіемъ и небытіемъ и ему кажется, что около него все погибаетъ, и міръ исчезаетъ вмѣстѣ съ нимъ, тогда «прошлое блеситъ, какъ молнія, надъ темной бездной будущаго». (II, 15 ноября). Какой грандіозный образъ! Какой поразительный взглядъ, истолковывающій разомъ и прошлое и настоящее!

Чаще сравненій онъ употребляетъ метафоры, сконцентрированные сравненія, какъ напр., «море мечты», «море благоуханій», «волна борьбы», «потокъ генія», «тигровые когти отчаянія», «солнечный лучъ прошлаго»; «О, дай чистому дыханію любви повѣять тихой прохладой на жаръ твоей груди», говоритъ Ифигенія Тоасу; а Элеонора жалуется, говоря о Тассо: «Пусть онъ уйдетъ! Но, какой сумракъ падаетъ передо мной; потокъ на легкихъ волнахъ безъ весла принесъ насъ

сюда». Но лирика Гёте особенно богата исполненными опредѣленнаго настроенія, истинно поэтическими одушевленіями природы. Болѣе, чѣмъ у кого-либо, у Гёте можно видѣть, какъ внутренняя жизнь, переполняющая грудь, выступаетъ, чтобы и мертвую природу одушевить полнотою жизни, въ особенности, когда сердце полно любовью, которая показываетъ міръ въ новомъ свѣтѣ, облакаетъ его розовымъ ореоломъ и, также какъ въ собственной груди, повсюду предполагаетъ или угадываетъ такое-же чувство, такую-же любовь. Такъ, все живетъ и смѣется и все вмѣстѣ, и въ отдѣльности полно жизни и любви, все блескитъ и ликуетъ отъ радости въ удивительной «Майской пѣснѣ» и въ «Ганимедѣ». Въ стихотвореніи «На озерѣ» онъ поетъ:

«Какъ сладко, мать-природа, вновь  
Упасть на грудь твою!  
Волна ладью въ размѣръ весла  
Качаетъ и несетъ...  
Прочь, ты сонъ, хоть золотой!—  
Здѣсь любовь и жизнь со мной!  
На волнахъ сверкаютъ  
Тысячи звѣздъ, сотрясенныхъ,  
Въ дымномъ небѣ таютъ  
Призраки горъ отдаленныхъ.  
Вѣтерокъ струится  
Надъ равниною водъ,  
И въ заливъ глядится  
Дозрѣвающій плодъ».

(перев. Фета).

Въ стихотвореніяхъ Гёте можно указать прекраснѣйшія олицетворенія изъ всѣхъ сферъ природы: то солнце гордо царитъ на небѣ, то раскаленное солнце выглядываетъ надъ крутой вершиной или манитъ огненной любовью или купается въ морѣ, какъ мѣсяцъ, то солнце, какъ мать, согрѣваетъ своимъ тепломъ ягоды винограда. Утро поэтъ воспріимаетъ такъ: «Утро пришло, его шаги спугнули тихій сонъ, молодой день поднялся съ восторгомъ». О мѣсяцѣ: «надъ моимъ полемъ мягко распространяется твой взглядъ», про облачную ночь,—«вечеръ уже убаюкивалъ землю, и на горахъ висѣла ночь, мѣсяцъ съ холма облаковъ жалостно выглядывалъ изъ тумана», или звѣзды,—«высокія звѣзды обращаютъ ко мнѣ свои свѣтлые глаза». У него даже скала живетъ: «твердая скала раскрываетъ свою грудь» и т. д., ручей: «Ты спѣшишь съ радостнымъ, легкимъ



чувствомъ внизъ»... «Когда съ неприступной, Гранитной стѣны Струится лучъ чистый кристалла — чудесно Катится тогда онъ По гладкой скалѣ, То въ искрахъ алмаза Летя къ облакамъ... Вода свирѣпѣетъ И, пѣною мутной Киля по ступенямъ, Ввергается въ бездну.» (перев. Арефьева). Буря: «По изъ мрачной и туманной дали Злая буря грозно налетаетъ, Бьются птицы, рѣя надъ водою; Предъ порывомъ бури безпощадной Мудрый кормчій паруса спускаетъ». (перев. Н. Холодовскаго).

Даже и цвѣты у него одушевлены: «Тамъ киваютъ колокольчики, бѣлые, какъ снѣгъ, и подснѣжники гордо поднимаютъ бѣлые носики» <sup>1)</sup>.

Но все это только отрывки. Попробуемъ составить себѣ наглядное представленіе о воззрѣніяхъ Гёте на природу изъ всей совокупности его произведеній—и прослѣдимъ для этого отдѣльныя фазы его умственного развитія и, сообразно послѣднему, тѣ измѣненія, какія представляетъ его поэтическое отношеніе къ природѣ. Уже въ раннюю пору его душевной жизни, когда она еще только развѣтывалась, мы находимъ самое сердечное отношеніе къ природѣ. Еще въ 1766 г., онъ пишетъ изъ Лейпцига <sup>2)</sup>: «Вы пріятно живете въ М. Я также живу здѣсь. Одиноко, одиноко, вполне одиноко. Величайшій изъ великановъ, уединеніе, положило отпечатокъ нѣкоторой грусти на мою душу. Мое единственное удовольствіе, когда я вдали отъ всѣхъ, могу лежать у ручья около кустовъ и думать о моихъ милыхъ»; полный печали онъ продолжаетъ: «Тогда мое сердце наполняется грустью, мой взоръ мутится все больше, бурно шумитъ передо мною ручей, который недавно журчалъ такъ кротко. Ни одна птица не поетъ въ кустахъ, зеленое дерево засыхаетъ, зефиръ, который, освѣжая меня, недавно вѣялъ, сталъ бурнымъ, превратился въ сѣверный вѣтеръ и разноситъ оторванные листья». Такимъ образомъ, его душа и природа симпатизируютъ другъ другу, находятся въ тѣсномъ взаимномъ отношеніи. Изъ его раннихъ стихотвореній только немногія <sup>3)</sup> отдають дань господствующей

<sup>1)</sup> Da wanken Glöckchen So weisz wie Schnee  
Primeln stolzieren so naseweisz... и. т. д.

<sup>2)</sup> «Der junge Goethe» von Bernays, I, 13.

<sup>3)</sup> Такъ напр., Die Spröde. Die Bekehrte: «Bei dem Glanz der Aeben-

щему вкусу и еще не носят на себѣ своеобразной печати его гениа; такъ, въ пѣснѣ «Ночь» первая строфа съ «Луной» и «Зефирами», но уже слѣдующія строки имѣютъ чисто гётевскій характеръ: «Страхъ, который наполняетъ сердце, отъ котораго таетъ душа, шепчетъ по кустамъ въ прохладѣ»...

Любовь и природа—двѣ струны, которыя у молодого Гёте звучатъ неподражаемымъ согласіемъ. Гдѣ находится возлюбленная «тамъ любовь и благо, тамъ природа»; онъ думаетъ о ней, и когда «блескъ солнца отражается отъ моря, и когда сверканье мѣсяца рисуется въ потокахъ». Страстное чувство природы прорывается въ радостной пѣснѣ Зезенгеймскаго періода въ «Майской пѣснѣ»: «Какъ великолѣпно сіяетъ для меня природа! Какъ блескитъ солнце, какъ улыбается лугъ»<sup>1)</sup>! Любовь всего болѣе расширяетъ грудь поэта и ея отраженіе онъ повсюду замѣчаетъ въ природѣ: «Вырываются цвѣты изъ каждой вѣтки, И тысячи голосовъ изъ кустарника, И радость, и блаженство изъ каждой груди. О земля, о солнце, о счастье и веселье! О любовь, о любовь.—Ты изливаешь дивное благословеніе на освѣженные поля, На весь міръ, въ благоуханіи цвѣтовъ.

Уже въ старческомъ возрастѣ, въ воспоминаніяхъ о прошломъ, воображенію его предстаетъ не только нѣжный образъ Фридерики изъ счастливой поры юности, но и природа, которая ее окружала. Какъ тепло рисуетъ онъ это совмѣстное воспоминаніе въ «Поэзии и Правдѣ» (III): «Ея фигура, ея образъ никогда не выступали плѣнительнѣе, чѣмъ тогда, когда она поднималась по возвышенной тропинкѣ; ея привлекательность, казалась мнѣ, соперничаетъ съ усыпанной цвѣтами землей, а ясность ея лица, съ голубымъ небомъ». Онъ съ восторгомъ говоритъ о наслажденіи, какое доставляютъ различныя времена дня и года въ прекрасной эльзасской странѣ: «Нужно было только отдаваться настоящему, чтобы наслаждаться этой ясностью неба, этимъ блескомъ богатой земли, этими мягкими вечерами, этими теплыми ночами, вблизи воз-

---

dröte Ging ich still den Wald entlang, Damon saz und blies die Flöte,  
Dasz es von den Felsen klang, So la la! » März; Lust und Qual; Lnnu;  
Gegenwart.

<sup>1)</sup> Wie herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

любленной». Когда онъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: «Сѣрое сумрачное утро покрываетъ мое любимое поле, глубоко скрытый въ туманѣ лежитъ около меня міръ», онъ знаетъ, что глаза милой дѣвушки придутъ на помощь природѣ: «Въ одномъ моемъ взглядѣ и солнечный блескъ и счастье».

Какая свѣжая, непосредственная жизнь чувствуется въ прощальной пѣснѣ: «Мое сердце билось; скорѣй на коня»... Ощущеніе вглядывающагося въ ночь, скачущаго ночью пѣвца такъ сильно, сердце его такъ переполнено, что это ощущение сообщается природѣ; все около него получаетъ движеніе, жизнь, ощущеніе; даже у темноты являются глаза, мѣсяцу придается прощальное настроеніе поэта, и вѣтеръ представляется его воображенію въ видѣ крылатого существа:

«Ужь ночь на высяхъ горъ снуется,  
Въ объятыхъ вечера земля,  
И вѣтви дубъ распростирая,  
Какъ исполнивъ во мглѣ стоять,  
И изъ-за листьевъ мгла густая  
Глазами черными глядитъ,  
Весь окруженный облаками,  
Печально мѣсяцъ внизъ смотрѣлъ,  
И вѣтеръ тихими крылами  
Мнѣ въ уши жалобно свистѣлъ,  
И стая призраковъ ходила,  
Но чувства веселы мои.  
Въ моей груди какая сила!  
Какой огонь въ моей крови!»

(пер. М. Каткова).

Подобное-же чувство звучитъ въ другомъ стихотвореніи, но въ болѣе грустномъ тонѣ, внушаемомъ разлукой: «Нѣжное, юношеское горе ведетъ меня въ пустынное поле; мать-земля лежитъ въ тихой утренней дремотѣ. Съ шумомъ качаетъ холодный вѣтеръ оцѣпенѣвшія вѣтви. Потрясающей мелодіей вторитъ онъ моей пѣснѣ, полной страданія. И природа робко тиха и уныла, но въ ней больше надежды, чѣмъ въ моемъ сердцѣ» <sup>1)</sup>).

---

<sup>1)</sup> Ein zärtlich jugendlicher Kummer Führt mich ins öde Feld; es liegt In einem stillen Morgenschlummer Die Mutter Erde. Rauschend wiegt Ein kalter Wind die starren Aeste. Schauernd Tönt er Melodie zu meinem Lied voll Schmerz. Und die Natur ist ängstlich still und trauernd, Doch hoffnungsvoller als mein Herz.



Гете рассказываетъ самъ, какъ онъ во Франкфуртѣ находилъ утѣшеніе для своей любовной тоски. «Вслѣдствіе моего блужданія по окрестностямъ, меня обыкновенно называли странникомъ; этому успокоенію моего духа, какое доставляли мнѣ ясное небо, долины, высоты, поля и лѣса, содѣйствовало мѣстоположеніе Франкфурта...» и «новый міръ открывался для насъ при наступленіи зимы съ бѣганьемъ на конькахъ». Онъ чувствуетъ это наслажденіе подобно Клопштоку: ему было недостаточно проходить на льду весь солнечный день. «Мы продолжали наше движеніе до поздней ночи. Полный мѣсяцъ, выступающій изъ облаковъ надъ ночными обширными, прератившимися въ ледяныя поля, лугами, ночной воздухъ, шумящій навстрѣчу нашему бѣгу, страшный трескъ льда, опускающагося отъ отступающей воды, страшный отзвукъ нашихъ собственныхъ движеній, исполнѣ осуществляли для насъ оссіановскія картины».

Ни на одномъ языкѣ нельзя найти книги, которая была-бы такъ проникнута самой искренней симпатіей къ природѣ, такъ наполнена любовью и благоговѣніемъ къ ней, такъ согрѣта теплымъ чувствомъ и общеніемъ съ ея таинственною жизнью, какъ «Вертеръ». <sup>1)</sup> Гете объясняетъ самъ въ «Поэзіи и Правдѣ» «чудесный элементъ, въ которомъ «Вертеръ» былъ задуманъ и написанъ: я стремился внутренне освободиться отъ всего чуждаго, созерцать съ любовью внѣшній міръ и отдаваться

---

<sup>1)</sup> Лаппадъ исполненъ удивленія къ «несравненному художнику и поэту, вдохновленному чувствомъ природы; онъ въ высшей степени обладаетъ искусствомъ изображать внѣшній міръ и внутренній міръ чело-вѣка; онъ такъ соединяетъ образы видимаго міра съ выраженіемъ внутреннихъ чувствъ, что они изображаютъ одну общую ткань... Всѣ элементы какого-либо предмета или положенія, этому несравненному уму являются разомъ въ ихъ существенной гармоніи...» Онъ удивляется замѣчательному символизму въ «Вертерѣ». «Каждое письмо соответствуетъ времени года, когда оно написано... Идея и образъ отождествляются въ высшемъ дѣйствіи; между внутреннимъ движеніемъ и внѣшнимъ впечатлѣніемъ является полное сліяніе». (Ср. V. 323) Хотя авторъ и видитъ въ поэзіи Гете греческое язычество и пантеизмъ, но онъ признаетъ (336): «Имя Гете означаетъ собой одну изъ величайшихъ эпохъ, одну изъ величайшихъ революцій въ поэзіи, величайшую, какъ мы полагаемъ, со временъ Гомера» и (346): «Гете есть высочайшее поэтическое выраженіе стремленій нашего вѣка къ внѣшнему міру и къ философіи природы».

впечатлѣнію всѣхъ существъ, начиная отъ человѣческихъ до самыхъ низшихъ, какія только доступны намъ. Отсюда возникло чудное сродство съ отдѣльными предметами природы и внутреннее созвучіе, согласіе въ цѣломъ, такъ что каждая переменна мѣстности и странъ или времянь дня и года, или всякихъ возможныхъ случайностей, какъ нельзя глубже затрогивала меня. Взглядъ живописца присоединился къ взгляду поэта; прекрасная сельская мѣстность, оживленная привлекательной рѣчкой, увеличивала мою склонность къ уединенію и благоприятствовала моимъ спокойнымъ, распространявшимся во всѣ стороны наблюденіямъ».

Если вліяніе, оказанное «Новой Элоизой» Руссо на «Страданія Вертера» было несомнѣнно и глубоко <sup>1)</sup>, то именно въ ощущеніи природы здѣсь является замѣтное различіе. Правда мы видимъ у Руссо «взглядъ живописца», но взглядъ поэта далеко не имѣетъ такой глубокой проницательности, какъ въ романѣ Гете. Въ послѣднемъ повсюду выступаетъ національно-нѣмецкій духъ, глубина чувствительнаго нѣмецкаго сердца; внѣшній міръ, пейзажъ не изображается лишь въ видѣ рамки, но всегда сплетается съ настроеніемъ героя. У Руссо всегда преобладаетъ противоположеніе культуры и природы, а въ религіозномъ отношеніи—деизмъ; у Гете природа превращается въ ощущеніе и его поклоненіе, есть пламенный пантеизмъ. И такъ какъ Вертеръ, въ противоположность Элоизѣ, есть, по преимуществу, сочиненное произведеніе искусства, то Гете понималъ какъ нельзя лучше, въ самомъ искусствѣ, какъ страдающій долженъ относиться къ природѣ, какъ въ ней должны отражаться колебанія и смѣна настроеній; онъ сумѣлъ особенно тщательнымъ изображеніемъ отдѣльныхъ мелкихъ чертъ обозначить угрожающее несчастіе и возбуждаемую имъ тревогу. Въ этомъ мастерствѣ изъ новѣйшихъ поэтовъ до нѣкоторой степени, къ нему приближается только Теодоръ Штормъ.

Возрастающая склонность изображается какъ стихійная сила, и дѣйствительно—революціонное начало, проникающее это произведеніе, заключается въ могуществовъ этой страсти, отстаивающей естественное право всякаго сильнаго, теплаго

---

<sup>1)</sup> Лучше всего этотъ вопросъ, между прочимъ, и относительно чувства природы изслѣдованъ Эрихомъ Шмидтомъ въ его превосходной книгѣ «Richardson, Rousseau und Goethe, Jena 1875, S. 173 и слѣд.

истиннаго чувства. Все искусственное, прикрашенное, условное въ мысли, чувствахъ и дѣйствіи—а въ то время все было условно и прикрашено—противно Вертеру; для него всего пріятнѣе міръ дѣтей и простые, бѣдные люди во всей ихъ первобытности («меня раздражаетъ всего больше, когда люди мучать другъ друга и въ особенности, когда молодые люди въ расцвѣтѣ жизни, будучи доступны всѣмъ радостямъ, портятъ свои немногіе хорошіе дни и только слишкомъ поздно убѣждаются въ своей невознаградивой потерѣ») и уединенная, богатая тайными чудесами и прелестями природа. Передъ этимъ истолкованіемъ ея таинствъ, передъ такой интенсивной, совмѣстной жизнью съ ней, передъ такимъ сердечнымъ сліяніемъ духа и природы должно было отступить все, что до того времени нѣмецкіе поэты воспѣвали въ пѣсняхъ и идилліяхъ. Надо замѣтить, что въ романахъ вообще, даже у чувствительныхъ англійскихъ писателей, природа, до тѣхъ поръ не играла никакой роли, а для Вертера она—самая сердечная и вѣрная подруга.

Вертеръ чувствителенъ, сентименталенъ и эта сентиментальность, по мѣрѣ движенія романа, пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе мрачный характеръ оссіановской скорби, юнговской меланхоли, но въ ней всегда выражается сердце, полное однимъ ощущеніемъ, крайне оригинальный и сознающій себя таковымъ характеръ; хотя онъ и погибаетъ отъ мягкости и грусти, но насколько во всѣхъ его изліяніяхъ больше силы и ума, чѣмъ во всѣхъ лунныхъ тирадахъ предшествовавшаго времени! Въ немъ говоритъ цѣльный поэтъ въ пламенной силѣ лучшей поры своей юности.

Подобно Руссо, Вертеръ всего лучше чувствуетъ себя въ уединеніи. Уединеніе въ «райской странѣ» есть «драгоценный бальзамъ» для его чувствительнаго «чувствующаго сердца», съ которымъ онъ обращается, «какъ съ больнымъ ребенкомъ», но «теплая небесная фантазія въ его сердцѣ» согрѣваетъ и освѣщаетъ природу около него, его «любимую долину», «милое весеннее утро», «невыразимую красоту природы». «Вполнѣ погруженный въ живописное ощущеніе», онъ не могъ закрѣпить свои впечатлѣнія карандашомъ: «теперь я не могъ рисовать, не могъ сдѣлать ни одного штриха и никогда не былъ такимъ великимъ живописцомъ, какъ въ эту минуту». И какъ все у него изображено! Онъ не рисуетъ отдѣльно одинъ предметъ за другимъ; все находящееся передъ его глазами сли-



вается съ его ощущеніемъ; онъ чувствуетъ въ одно и то-же время бѣненіе сердца природы, движеніе жизни въ ней и отзвукъ этой жизни въ своей груди: «Когда любимая долина дымится около меня, и высокое солнце покоится на поверхности непроницаемой тьмы моего лѣса и только отдѣльные лучи его прокрадываются внутрь этого святилища, я лежу тогда въ высокой травѣ у ниспадающаго ручья и вблизи земли, тысячи разнообразныхъ травинокъ становятся для меня достойными вниманія; тогда я чувствую ближе къ моему сердцу маленькій міръ, кишачій между стеблями, безчисленные, необъяснимыя формы червячковъ и мошекъ, я чувствую присутствіе Всемогущаго, создавшаго насъ по своему образу, вѣнныя Вселюбщаго, доставляющаго намъ вѣчную радость! Мой другъ, когда въ то время у меня меркнетъ въ глазахъ, и міръ около меня и небо покоятся въ моей душѣ, какъ любимый образъ, тогда я тоскую и думаю: ахъ, если-бъ ты могъ это выразить, могъ вдохнуть въ бумагу то, что такъ полно, такъ тепло живетъ въ тебѣ, чтобы оно стало зеркаломъ твоей души, какъ твоя душа есть зеркало безконечнаго Бога! Мой другъ! Но я теряюсь отъ этого, я подавленъ силою величія этихъ явленій». (I, 10-го мая).

«Все дивное чувство, которымъ его сердце обнимаетъ природу», также не поддается выраженію. Въ чемъ-же заключается тайна этой симпатической любви къ природѣ? Только въ слѣдующемъ: «Когда онъ возвращается въ себя» онъ также находитъ «міръ», т. е., міръ мыслей и чувствъ, который онъ можетъ привести въ извѣстное отношеніе къ міру явленій и который даетъ языкъ нѣмой природѣ; онъ приподнимаетъ покровъ, скрывающій ея формы и чувствуетъ въ природѣ духъ своего духа; онъ въ ней чувствуетъ не только его, но и нѣчто Вѣчное, что сродно его душѣ, онъ чувствуетъ присутствіе «Всемогущаго, Вселюбщаго», «самымъ истиннымъ чувствомъ природы» онъ называетъ любовь. И «потокъ его генія» съ любовью изливается на природу и она становится ему «дорогой, родной, милой», т. е., вся мѣстность, долина, родникъ, величественные орѣшники у почтеннаго пастора и т. д. Также какъ его превлекаетъ наивный дѣтскій міръ, съ которымъ онъ соприкасается «въ невинномъ наслажденіи», его притягиваетъ простая и въ то-же время прекрасная страна: «Удивительно, какъ только я пришелъ сюда и взглянулъ съ холма на прекрасную долину, все кругомъ мнѣ показалось

привлекательно. Тамъ лѣсокъ! Ахъ, если-бы я могъ вмѣшаться въ его тѣни! Тамъ вершины горъ! Ахъ, если-бы я могъ обозрѣть оттуда обширную страну! Тамъ перекрещивающіеся холмы и прелестныя долины! О, если-бъ я могъ потеряться въ нихъ!» Онъ вполне отдается очарованію этой деревенской идилліи: онъ выходитъ изъ дому утромъ, съ восходомъ солнца, сидитъ въ саду своего хозяина, самъ рветъ его горошекъ, въ промежуткахъ читаетъ своего Гомера, выбираетъ себѣ кухонный горшокъ, ставитъ стручки на огонь и т. д.

Съ возрастаніемъ его любовной привязанности, возрастаетъ и «теплое участіе къ природѣ». Отъ 24 іюля онъ пишетъ: «Никогда я не былъ счастливѣе, никогда я не чувствовалъ природу до малѣйшаго камушка, до мельчайшей травинки полиѣе и искреннѣе». Но со времени пріѣзда Альберта любовь превращается для него въ муку и природа становится его мучительницей. 18 августа онъ пишетъ: «Неужели такъ должно быть, что то, что доставляетъ людямъ счастье можетъ дѣлаться источникомъ ихъ бѣдствія. Полное, теплое чувство моего сердца къ живой природѣ, заливавшее меня такимъ блаженствомъ, что окружающій міръ превращался для меня въ рай, становится для меня теперь нестерпимымъ мучителемъ, истязующимъ духомъ, который преслѣдуетъ меня на всѣхъ путяхъ. Когда я недавно смотрѣлъ со скалы на плодородную долину черезъ рѣку до тѣхъ холмовъ, я видѣлъ, какъ все въ ней растетъ и бьетъ ключомъ; когда я видѣлъ дальнія горы, одѣтыя отъ подошвы до вершины высокими, густыми деревьями, долины отѣненныя прекраснѣйшими лѣсами въ ихъ разнообразныхъ изгибахъ, и тихую рѣку, скользящую между шепчущими тростниками и отражавшую прелестныя облака, которыя легкій вечерній вѣтеръ убаюкивалъ на небѣ; когда я слышалъ птицъ, оживляющихъ лѣсъ около меня, и миллионы мошекъ весело играли въ послѣднемъ красномъ лучѣ солнца, и его послѣдній, сверкающій взглядъ освободилъ жужжащаго жука изъ его травы, и движеніе и жизнь около меня обращали мое вниманіе на то, что было подъ моими ногами; и мохъ, извлекающій свою пищу изъ этой твердой скалы, и дрокъ, растущій внизу сухого, песчаного холма, открывали мнѣ внутреннюю, пламенную, священную жизнь природы, — я обнималъ все это моимъ теплымъ сердцемъ, чувствовалъ себя какъ-бы обоготвореннымъ въ этой чрезмѣрной полнотѣ, и величественные образы безконечнаго міра все-

оживляюще двигались въ моей душѣ! Отъ недоступныхъ горъ, черезъ пустыню, къ которой не прикасалась ничья нога, до конца неизвѣстнаго океана, вѣетъ духъ Вѣчнотворящаго, и радуется каждая пылинка, которая Его слышитъ и славитъ». Великолѣпная сцена лѣтняго вечера въ «Фаустѣ» заключается въ зародышѣ въ слѣдующихъ словахъ: «Ахъ, тогда какъ часто желалъ я на крыльяхъ журавля, пролетаваго надо мною, перенестись на берегъ неизмѣримаго моря, выпить кипучаго жизненнаго наслажденія изъ пѣнящагося кубка безконечности и, ограниченный силой моей груди, лишь на одно мгновеніе ощутить каплю блаженства того существа, которое все проникаетъ собою». А теперь онъ видитъ въ природѣ только «бездну вѣчно раскрытой могилы», «пожирающую силу, которая лежитъ скрытою во всемъ», «вѣчно глотающее, вѣчно пережевывающее чудовище». Тихое, грѣющее пламя въ его груди превратилось въ пожирающій огонь. Его внутреннее безпокойство заставляетъ его убѣгать изъ дому: «Я тогда далеко брожу кругомъ по полямъ; мнѣ доставляетъ радость карабкаться на крутую гору, прокладывать тропинку чрезъ непроходимый лѣсъ, черезъ изгороди, царапающія меня, черезъ терновые кусты, раздирающіе мнѣ платье! Тогда мнѣ становится нѣсколько легче»... Онъ хочетъ уйти оттуда и съ мыслью, что онъ въ послѣдній разъ видитъ себя въ любимыхъ мѣстахъ, вполне сознаетъ симпатію, связывающую его съ этой мѣстностью: «Я ходилъ взадъ и впередъ по аллеѣ, которую я такъ любилъ; тайное симпатическое влеченіе часто удерживало меня здѣсь»; сіяніе луны, поднимающейся изъ-за холма покрытаго кустарникомъ, усиливаетъ его тоску. Лотта высказываетъ, подобно Клопштоку: «Я никогда не гуляю при лунномъ свѣтѣ, никогда безъ того, чтобы меня не посѣщала мысль о моихъ умершихъ, чтобы у меня не являлось чувство смерти будущаго» (10 сен.). И въ своемъ страданіи Вертеръ понимаетъ его значеніе: «Такое сердце только у одного меня»; онъ знаетъ *χαρίς ὡς οὐκ* Эврипида *dolendi voluptas* Петrarки, «сладость грусти».

Во второй книгѣ отъ 4-го сентября онъ пишетъ исполненный искренней симпатіи къ природѣ: «Да, это такъ. Также какъ природа склоняется къ осени,—и во мнѣ и кругомъ меня осень. Мои листья желтѣютъ и листья сосѣднихъ деревьевъ уже опали». Соотвѣтственно этому осеннему настроенію, «Оссіанъ вытѣсняетъ Гомера изъ его сердца»: туманная.



богатая образами и поэтическими сравненіями мечтательная поэзія Оссіана замѣщаетъ чистаго, дружески яснаго, наивнаго Гомера. Теперь ему говорить только міръ «пустынной мѣстности, обвѣваемой вѣтромъ бури, приносящимъ въ клубящихся туманахъ духи отцовъ въ сумеречномъ свѣтѣ мѣсяца, при шумѣ лѣснаго потока», т. е. бурная ночь съ бѣгущими облаками, жалобно журчащій лѣсной потокъ, съ трескомъ и стономъ горныхъ елей. Душевная боль одолеваетъ его: «Это сердце теперь мертво, такъ какъ я потерялъ то, что было единственной отрадой моей жизни—священную, оживляющую силу, благодаря которой я создавалъ около себя міры». И когда онъ смотритъ изъ окна и видитъ утреннее солнце, пронизывающее туманъ надъ холмомъ и освѣщающее тихое пространство луга и, вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣку, кротко извивающуюся среди обнаженнаго лѣса, то эта величественная природа кажется ему только картинкой, покрытой лакомъ».

Оссіановское настроеніе выказываютъ и его строки отъ 30-го ноября: «Я хожу къ водѣ въ часы полудня; у меня не было никакой охоты ѣсть. Все было пустынно; сырой, холодный, вечерній вѣтеръ дулъ съ горы, и сѣрыя вечернія облака неслись къ долинамъ». Въ страшную ночь, когда воды рѣки затопили мѣстность, онъ видитъ въ яростныхъ, возбужденныхъ стихіяхъ отраженіе своего волнующагося сердца, эхо, зовущее его въ глубину: «Ночью, около 11 часовъ, я выбѣжалъ изъ дому. Страшное зрѣлище — видѣть какъ со скалы, при лунномъ свѣтѣ, кружатся и падаютъ бушующіе потоки на поля, луга, изгороди и все прочее, и на обширную долину, превращенную въ бурное море, со свистомъ и вѣтромъ. И когда мѣсяцъ выступилъ опять и остановился надъ чернымъ облакомъ, и передо мною рѣка въ страшномъ, величественномъ отраженіи катилась и стонала, тогда на меня напалъ ужасъ и потомъ желаніе. Ахъ, съ распростертыми руками я сидѣлъ надъ пропастью и шепталъ: туда, туда!» Къ своему прощальному письму онъ прибавляетъ: «Горюй-же природа: твой сынъ, твой другъ, твой возлюбленный, приближается къ своему концу».

Какъ мы видимъ, возрѣніе Вертера на природу въ его искренней симпатіи со всѣми отдѣльными явленіями живого міра, окружающаго его, не смотря на постепенное возрастаніе мечтательнаго и сентиментальнаго настроенія, основывается, по преимуществу, на настоящемъ поэтическомъ пантеизмѣ. Оно

поднимается еще выше въ первой части «Фауста», и въ немъ усиливается высота и глубина мистико-философскаго созерцанія. Фаустъ всегда видитъ міръ подъ знакомъ макрокосма:

«Какъ въ цѣломъ части всѣ, послушною толпою  
Сливаясь здѣсь, творять, живутъ одна другою!  
Какъ силы горнія въ сосудахъ золотыхъ  
Разносятъ всюду жизнь божественной рукою  
И чуднымъ взмахомъ крыль лазоревыхъ своихъ  
Витаютъ надъ землею и въ высотѣ небесной—  
И стройно все звучитъ въ гармоніи чудесной!»  
(пер. Холодковского).

И Духъ земли самъ признается:

«Въ бурѣ дѣяній, въ волнахъ бытія  
Я поднимаюсь, я опускаюсь...  
Смерть и рожденіе—вѣчное море».  
(пер. Холодковского).

Не только философская мысль, но и чувство проглядываетъ въ этихъ словахъ:

«При свѣтѣ дня покрыта тайны мглой,  
Природа свой покровъ не сниметъ передъ нами!»  
(пер. Холодковского).

Фаустъ живетъ въ сердечной симпатіи съ природою; такъ, онъ грустно привѣтствуетъ мѣсяцъ:

«О, еслибъ нынѣ, лунный ликъ,  
Ты видѣлъ мой послѣдній мигъ!»  
(пер. Холодковского).

и величественнымъ, весеннимъ настроеніемъ дышать прекрасныя слова его во время прогулки:

«Умчались въ море разбитыя льдины;  
Живою улыбкой сіяетъ весна;  
Весенней красою блистаютъ долины,  
Сѣдая зима ослабѣла: въ тѣснины,  
Въ высокія горы уходитъ она».  
(пер. Холодковского).

и идиллическое вечернее настроеніе, проникнутое спокойствіемъ закатающагося дня:

«Взгляни: ужъ солнце озаряетъ  
Сады и хижинны прощальными лучами.  
Оно уже зашло, скрываясь вдали,  
И вновь взойдетъ, природу пробуждая».  
(пер. Холодковского).

Оно достигаетъ до желанія, до потребности подняться надъ предѣлами земли въ неизмѣримую высь и даль, идти по слѣдамъ солнца, — желанія, грустно прорывающагося въ этихъ словахъ:

«О, дайте крылья мнѣ, чтобъ улетѣть съ земли  
И мчаться вслѣдъ за нимъ, въ пути не уставая!  
И я увидѣлъ-бы средь золота лучей  
У ногъ моихъ весь міръ: и спящія долины,  
И блескомъ золота горящія вершины,  
И съ золотой рѣкой серебряный ручей...  
О, духу такъ легко, отъ тѣла отрѣшась,  
Парить свободными крылами!  
Для всѣхъ людей бываетъ сладкій часъ,  
И духъ нашъ чувствуетъ неясное волненье,  
Когда доносится до насъ  
Весною жаворонка пѣнье,  
Когда съ орлицею своей  
Орелъ надъ темнымъ лѣсомъ вьется,  
И быстро къ родинѣ несется  
Надъ нами стая журавлей».

(пер. Холодковскаго).

Здѣсь пламенное чувство природы, которое заходящее солнце рождаетъ въ душѣ созерцающаго его, соединяется съ міровой жаждой, которая хотѣла-бы таинственную ширину, громадность и красоту міра охватить однимъ взглядомъ, обозрѣть въ смѣломъ полетѣ и измѣрить. Однако, сущность воззрѣнія Гете на природу не только въ эпоху «Вертера» и первой части «Фауста», но и вообще, обозначается всего лучше монологомъ, который, вѣроятно, былъ написанъ не ранѣе весны 1788 года:

«Могучій духъ, ты все мнѣ, все доставилъ,  
О чемъ просилъ я...  
Ты далъ мнѣ въ царство чудную природу,  
Обнять ее, вкусить мнѣ силы даль;  
Не хладное познанье далъ ты мнѣ —  
Дозволилъ ты въ ея святую грудь,  
Какъ въ сердце друга, бросить взглядъ глубокій,  
Ты ввелъ меня въ потокъ могучей жизни,  
Ты научилъ меня родное что-то видѣть  
Въ волнахъ, въ порывахъ вихря, въ тихой рошѣ.

(пер. Холодковскаго).

Чувство природы у Гете есть не только восторженное отношеніе или почтительное благоговѣніе: это — симпатія въ настоящемъ смыслѣ слова; все кругомъ него не чуждо, а



близко, родственно ему: все исходитъ изъ того-же божества, изъ котораго исходитъ и человѣкъ.

«Моря и горы, небо, рѣки!  
Самъ я не ихъ-ли только часть?  
Уже-ль во мнѣ, какъ въ человѣкѣ.  
Не велика къ природѣ страсть?»

(пер. Минаева).

спрашиваетъ Байронъ. Этотъ благоговѣйный поэтический пантеизмъ выраженъ въ словахъ Фауста:

Кто-бъ могъ, скажи, признаться и прямо не бояться  
Сказать: «я вѣрю въ Него»? Онъ, вѣчный Промыслитель  
И міра Вседержитель,  
Не обнимаетъ-ли, любя, весь міръ — меня, тебя, Себя?  
Не сводъ-ли тамъ вверху небесный? Подъ нами не Его-ль земля?  
Не льютъ-ли звѣзды свѣтъ чудесный на землю, рощи и поля?

(пер. Холодковского).

Той-же искренней, симпатической или пантеистической любовью къ природѣ проникнуты стихотворенія, написанныя непосредственно послѣ ветцларскаго періода. Къ нимъ принадлежитъ «Пѣснь Магомета», величественная параллель между геніемъ, пробивающимъ себѣ путь, и потокомъ. Паэось Пиндара и Псалмовъ горитъ въ этой пѣснѣ также, какъ и въ прекрасномъ сравненіи:

«Душа человѣка подобна водѣ:  
Отъ тверди нисходитъ, восходитъ на небо  
И, вѣчно мѣняясь, опять ниспадаетъ къ родимой землѣ».

(пер. О. Арефьева).

въ несравненномъ «Странникѣ», въ «Бурной пѣснѣ странника» и всего болѣе въ «Ганимедѣ»:

«Весна, моя милая, какъ оваряешь  
Меня ты зарею своей предразсвѣтной!»

(пер. Кронеберга).

Грудь вздымающаяся отъ весенней радости хотѣла-бы излиться въ величественный міръ, хотѣла-бы подняться до вселюбящаго Отца. Вполнѣ вѣрно замѣчаетъ Лёперъ <sup>1)</sup>: «Это стихотвореніе есть въ то-же время письмо Вертера (отъ 10-го мая) переложенное въ стихи. Пантеистическая основа его настроенія заключается уже въ «Бурной пѣснѣ странника»: это — не наслажденіе Броккеса, не благоговѣніе Клопштока,

---

<sup>1)</sup> Goethe's Gedichte II, 329.

не эстетическое наслаждение природой и не изслѣдованіе ея, какъ въ позднѣйшее время, но полное погруженіе въ природу, доходящее до полного сліянія съ стихіями, счастливое сочувствіе имъ».

На Цюрихскомъ озерѣ, 15 іюня 1775 г., Гёте пишетъ слѣдующія теплыя строки:

«И силу въ грудь, и свѣжесть въ кровь  
Дыханьемъ вольнымъ лью;  
Какъ сладко, мать-природа, вновь  
Упасть на грудь твою!»

(пер. Фета).

Также поетъ Эльмира въ «Эрвинъ и Эльмиръ»:

«Подъ кровомъ небосвода  
Печаль тоску свою  
Въ тебѣ, о мать-природа,  
Я полной грудью пью»,

(пер. Холодковского).

Одинъ изъ прекраснѣйшихъ перловъ поэзіи Гете — его стихотвореніе той-же эпохи «Осеннее чувство». Была осень въ его любви къ Лили; печаль еще дрожитъ въ его сердцѣ — «вѣчно оживляющая любовь», властвующая въ человѣческой груди, на не менѣе того и въ природѣ:

«Вась (гроздь винограда) грѣетъ, какъ лоно матери,  
Прощальный взоръ солнца; вась обвѣваетъ  
Плодотворящая ласка благого неба.  
Вась освѣжаетъ прохладой волшебное дыханіе дружелюбнаго мѣсяца».

Сильное впечатлѣніе, какое оставляетъ это маленькое стихотвореніе, лирическая душа его, заключается въ симпатическомъ сліяніи впечатлѣнія природы съ минутнымъ душевнымъ настроеніемъ; это стихотвореніе, какихъ самъ Гете создалъ немного. Жизнь природы находитъ то звукъ въ его взволнованной груди и въ то-же время его собственное чувство изливается въ природу, одушевляя и оживляя ее. Насколько онъ подчинялся вліянію настроенія природы, онъ объясняетъ въ письмѣ къ г-жѣ Ф. Штейнъ (1-го мая 1777 г.): «Я очень хорошо спалъ и вполне бодръ, но у меня на душѣ тихій налетъ грусти... Погода вполне соответствуетъ моему настроенію, и я начинаю вѣрить, что атмосфера, въ которой я живу, имѣетъ на меня непосредственное вліяніе, и великій міръ всегда проникаетъ мой малый міръ своимъ

настроениемъ». То-же мы видимъ въ тотъ вечеръ, весной 1778 г., когда онъ, одиноко размышляя шелъ по берегу Ильма, и мѣсяцъ бросалъ свой волшебный свѣтъ на окрестность и въ его страстно возбужденное сердце. Кротко и мягко начинаетъ онъ чудную пѣснь къ «Мѣсяцу»:

«Снова лѣсъ и доль покрылъ  
Блескъ туманный твой:  
Онъ мнѣ душу растворилъ  
Сладкой тишиной».

(пер. Жуковского).

Теченіе рѣки, возбуждая воспоминаніе о протекшихъ радостяхъ, грустно настраиваетъ его:

«Лейся, мой ручей, стремись!  
Жизнь ужъ отцвѣла.  
Такъ надежды пронеслись;  
Такъ любовь ушла».

(пер. Жуковского).

Но его грусть утихаетъ: его жизненный челнокъ найдетъ для себя покой въ пристани дружбы. Нѣтъ надобности указывать, какъ гармонически картина природы и настроеніе поэта отбѣиваютъ другъ друга, сколько наглядности, жизни и чувства въ его груди и въ проникнутой этимъ чувствомъ природѣ.

19-го января 1778 г. онъ писалъ г-жѣ Ф. Штейнъ по поводу несчастной судьбы Хр. Ф. Ласберга, утопившагося въ Ильмѣ: «Эта заманчивая грусть имѣетъ въ себѣ что-то опасно влекущее, какъ сама вода и отблескъ звѣздъ неба, которыя свѣтятся намъ и изъ нея, изъ него, и притягиваютъ къ себѣ». Въ томъ-же году былъ написанъ «Рыбакъ»; эта великолѣпная баллада, въ которой каждое слово образъ и мелодія, изображаетъ ничто иное, какъ демоническое очарованіе, какое блестящая, привѣтливо манящая, коварная водяная поверхность, «влажно свѣтлая синева», производятъ на воспримчивую душу. Точно также написанный позднѣе «Лѣсной царь» воспроизводитъ ужасъ сѣрой осенней ночи, таящейся какъ призракъ въ деревьяхъ и кустахъ и заставляющей сердце дрожать печальными предчувствіями и тревогой.

Гете всегда любилъ путешествовать пѣшкомъ и въ семидесятыхъ годахъ много ходилъ около Франкфурта и Страсбурга по Рейну, по Тюрингіи и въ горахъ Гарца, («Harzreise», 1777): «Мы поднимались на высокія вершины и за-



ползали въ глубины земли, мы стучались во всѣ скалы». — говоритъ онъ. Вмѣстѣ съ усиливающимся изученіемъ природы возрастаетъ и наслажденіе ею; поэтическое выраженіе послѣдняго въ то-же время принимаетъ болѣе объективную форму; бурная, страстная, даже революціонная субъективность эпохи «Вертера» уступаетъ болѣе спокойному, хотя, въ то-же время, полному души и богатому мыслями воззрѣнію на природу. Этотъ процессъ ясно отражается въ «Швейцарскихъ Письмахъ». Во время перваго путешествія въ Швейцарію въ 1775 году, его духъ, только что высвободившій изъ себя «Вертера», былъ еще въ слишкомъ сильномъ внутреннемъ движеніи, чтобы спокойно и созерцательно наслаждаться природой. Несравненно значительнѣе, зрѣлѣе, даже законченнѣе письма изъ Швейцаріи отъ 1779 г.; они показываютъ намъ воззрѣніе на природу глубокаго, внутренне-просвѣтленнаго, стоящаго на высотѣ своего времени и своего собственного развитія, цѣльнаго и великаго человѣка. Гете — первый изъ нѣмецкихъ поэтовъ, на котораго романтическія, покрытыя снѣгомъ и увѣнчанныя ледниками горы оказали полное, возвышенное впечатлѣніе, изображенное имъ съ неподражаемымъ мастерствомъ. Сознательно наслаждается онъ этими могущественными впечатлѣніями, какъ высшимъ и величайшимъ, что можетъ показать намъ природа въ нашихъ странахъ; онъ сознается самъ: «Эти возвышенныя, несравненныя картины природы будутъ всегда стоять передъ моимъ духомъ», и въ частномъ случаѣ, въ виду Савойскихъ и Валлискихъ горъ, Женевского озера и Монблана онъ восклицаетъ: «Это было великое зрѣлище, почти недосыгаемое для человѣческаго глаза».

Письма къ г-жѣ ф. Штейнъ обнимаютъ болѣе отдаленное время, чѣмъ тѣ, какія были включены въ его произведенія и какія отчасти сливаются съ его письмами изъ Швейцаріи. Его сердце со всѣми его движеніями открыто передъ женщиной-другомъ и мы видимъ, какъ онъ проникательно наблюдаетъ все, что находится передъ его глазами, какъ все его захватываетъ и приковываетъ, не исключая и идиллическихъ картинъ. Такъ, въ концѣ сентября онъ пишетъ изъ Зельца: «Необычайно прекрасный день; счастливая страна еще все зеленая: едва кое-гдѣ виденъ желтый листъ бука или дуба. Ивы стоятъ еще во всей ихъ серебряной красотѣ; мягкое, привѣтливое дыханіе вѣетъ по всей

странѣ. Виноградныя гроздья съ каждымъ днемъ и съ каждымъ шагомъ становятся лучше и лучше. Каждый крестьянскій домикъ украшенъ виноградными лозами до самой кровли; съ cadaго дворика свѣшивается обильная, густая зелень. Вѣтерокъ мягкій, теплый, влажный; Рейнъ и ясныя горы вблизи, перемежающіеся лѣса, луга и поля, похожіе на сады, отрадны для человѣка и даютъ мнѣ то пріятное чувство, каковаго я давно желалъ».

Между тѣмъ, какъ Вертеръ вносилъ въ пейзажъ всю свою мечтательную душу и находилъ въ немъ отраженіе всѣхъ своихъ измѣнчивыхъ ощущеній, Гете созерцаетъ теперь картины швейцарской природы съ спокойствіемъ окрѣпшаго міровозрѣнія; онъ изображаетъ ихъ перомъ поэта и въ то-же время анализируетъ свое впечатлѣніе, также какъ старается объяснить себѣ въ научномъ смыслѣ образованіе горъ, ледниковъ и горныхъ породъ.

Подавленный зрѣлищемъ водопада у Лаутербруннена, онъ пишетъ отъ 9-го октября 1779 г.: «Облака въ высотѣ разошлись, и черезъ нихъ просвѣчивало голубое небо. На скалистыхъ стѣнахъ облака еще держались, даже глава, откуда ниспадаетъ водопадъ, была слегка окутана. Это весьма возвышенное зрѣлище. Передъ нимъ испытывается тоже, что и передъ всѣмъ великимъ; пока видишь его изображеніе, не знаешь, чего именно желаешь отъ него; но когда находишься передъ нимъ, когда уже нельзя ни изображать, ни описывать, тогда только получаешь настоящую точку зрѣнія. Теперь облака спустились въ долину и покрываютъ всѣ свѣтлыя углубленія. Съ правой стороны еще выступаетъ высокая стѣна, съ которой спускается водопадъ. Наступаетъ ночь.... Въ долинѣ Мюнстера, черезъ которую мы прошли, предметы весьма возвышенны, но соразмѣрнѣе съ понятіями человѣческой души, чѣмъ тѣ, къ какимъ мы теперь приближаемся. Передъ слишкомъ великимъ мы всегда слишкомъ малы» <sup>1)</sup>. Когда онъ посѣтилъ изъ Туна Бернерскіе ледники и «наслаждался замѣчательными областями совершенно чистыми, въ небесномъ свѣтѣ», онъ пишетъ (14 октября): «Послѣ всего этого трудно писать... Первый взглядъ съ горы въ долину Гасли поразителенъ; мѣстность удивительно обширна и прі-

---

<sup>1)</sup> Briefe an Frau v. Stein I, 188.

ятна... Красота дороги выше всякаго выраженія.... Видъ съ (Бріензскаго) озера на горы Гасли и на снѣговыя горы величественъ». Величавыя скалы и обломки скалъ, зеленыя озера съ носящимся надъ ними паромъ, съ ихъ отраженіемъ и волненіемъ при различномъ освѣщеніи солнца и луны, движеніе облаковъ, однимъ словомъ, все производитъ на него впечатлѣніе возвышеннаго, великаго, прекраснаго. Всего краснорѣчивѣе анализируетъ онъ его въ письмѣ отъ 3-го октября изъ Мюнстерской долины <sup>1)</sup>).

«Переѣздъ черезъ эти тѣснины вызвалъ во мнѣ величавое, спокойное чувство. Возвышенное даетъ душѣ прекрасное спокойствіе; она вся наполняется имъ, чувствуетъ себя столь великой, насколько это возможно для нея, и рождаетъ чистое чувство, которое поднимается до краевъ, не переливаясь. Мой взоръ и моя душа могли воспринимать эти предметы и, такъ какъ я былъ чистъ, и это ощущеніе нигдѣ не отражалось фальшиво, то они дѣйствовали такъ, какъ должно. Когда сравниваешь такое чувство съ тѣмъ, какое мы испытываемъ, когда кропотливо возвращаемся въ чемъ-либо мелкомъ и стараемся всѣми силами, чтобы его, по возможности, скрывать и собственнымъ созданіемъ доставлять нашему духу радость и пищу, тогда видишь, какъ мы бѣдны душой». Его душа расширяется, и «это даетъ болѣзненную отраду, переполненіе, волнуемое душу и вызывающее сладкія слезы... Если-бы судьба принудила меня жить въ великой странѣ, я каждое утро питаю-бы себя ея величіемъ, извлекая его изъ нея, какъ извлекаю терпѣніе и спокойствіе изъ моей любимой долины». И когда онъ думаетъ о томъ, какъ и въ какое время возникли эти скалистыя массы, какіе перевороты ихъ двигали, раздѣляли и раздробляли, онъ высказываетъ: «Глубоко чувствуется, что здѣсь нѣтъ ничего произвольнаго, но медленно двигающій, вѣчный законъ».

На Женевскомъ озерѣ онъ вспоминаетъ о Руссо и восторгается «безконечно прекрасными» берегами, а когда онъ поднимается на Долю и видитъ подъ собой весь Ваадскій кантонъ, и передъ нимъ постепенно появляются озеро, Веве и

---

<sup>1)</sup> См. Briefe an Frau v. Stein. I, 196 и слѣд., совпадающія съ началомъ 2-го отд. «Писемъ изъ Швейцаріи», а также и слѣдующее письмо отъ 5-го ноября.



Лозанна, онъ сознается: «Нѣтъ словъ для величія и красоты этого зрѣлища; рядъ блестящихъ ледяныхъ горъ все болѣе и болѣе приковывалъ къ себѣ взоръ и душу». Въ Клузѣ онъ наслаждается очаровательнымъ вечеромъ: «Воздухъ былъ теплый, какъ въ началѣ сентября, и страна весьма красива; многія деревья еще зелены, большая часть ихъ буровато-желтаго цвѣта, немногія вполнѣ обнажены, посѣвъ ярко зеленый, горы въ красномъ вечернемъ свѣтѣ розовыя съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, и тѣже-же краски на великихъ, прекрасно—плѣнительныхъ формахъ пейзажа». Такъ-же какъ здѣсь яркость красокъ, въ Шамуни его восхищаютъ воздушныя явленія: «Легкіе пары прозрачнаго воздуха, какъ волнистая шерсть, расчесанная воздухомъ, это—нѣчто прозрачное, сотканное изъ свѣта». Поэзія тумана въ горахъ, которыми онъ особенно любовался съ Коль-де-Бальма (6-го ноября), еще въ сильнѣйшей степени привлекаетъ его въ Лейкербадѣ, у подножія прохода Гемми; онъ пишетъ тамъ отъ 9-го ноября: «Облака, сталкивающіяся въ этомъ мѣстѣ, то покрывающія громадныя скалы и поглощающія ихъ въ непроницаемомъ пустынномъ сумракѣ, то показывающія нѣкоторыя части ихъ какъ привидѣнія, придаютъ этой картинѣ печальную жизнь. Эти дѣйствія природы наполняютъ насъ какимъ-то предчувствіемъ... Чувствуется, какъ вѣчная, внутренняя сила природы таинственно двигается по каждому нерву».

Ужасъ, внушаемый горнымъ уединеніемъ охватываетъ его при переходѣ черезъ Ронскій глетчеръ къ Фурке: «Это былъ странный видъ... въ самой безлюдной странѣ міра, въ громадной, однообразной, покрытой снѣгомъ горной пустынѣ, гдѣ впереди и назади на три часа разстоянія, нѣтъ ни одной живой души, гдѣ съ обѣихъ сторонъ нѣтъ ничего кромѣ обширныхъ пропастей перекрепчивающихся горъ—видѣть рядъ людей, изъ которыхъ одинъ вступаетъ въ глубокіе слѣды другого и гдѣ на гладкомъ, пройденномъ пространствѣ ничего не попадаетъ на глаза, кромѣ сдѣланной шагами борозды. Глубины, изъ которыхъ выходишь, кажутся позади въ туманѣ сѣрыми и безконечными. Облака проносятся надъ блѣднымъ солнцемъ, крупныя хлопья снѣга носятъ въ глубинѣ и затягиваютъ все вѣчно-подвижнымъ, легкимъ покровомъ». Сумму величественныхъ впечатлѣній, какія производитъ на него альпійская природа онъ выражаетъ такъ: «Чувство столькихъ

связанных между собою чудесъ природы возбуждаетъ глубокое и неизрѣченное наслажденіе».

Самый рѣшительный переворотъ въ умственной жизни Гете произошелъ послѣ его путешествія въ Италію, въ 1786—87 гг. Въ его поэтическомъ развитіи этотъ періодъ обозначенъ «Ифигеніей», въ которой отражается его собственный процессъ просвѣтлѣнія, внутренняго подъема къ идеалу античнаго міра. И его воззрѣніе на природу въ это время направилось на другіе пути. Мечтательность Вертера, вызываемая природой, высокій полетъ Фауста надъ предѣлами земнаго міра, прежнее пантеистическое погруженіе въ впечатлѣнія природы уступаетъ болѣе трезвому взгляду на нее; человѣкъ чувства все болѣе и болѣе превращается въ естествоиспытателя и проницательнаго наблюдателя всего реальнаго міра. Самъ Гете сознается въ этомъ въ одномъ изъ писемъ своего «Путешествія по Италіи»: «Въ послѣднее время я вижу только предметы, а не то, что около нихъ и вмѣстѣ съ ними, какъ прежде (30 іюня 1787 г.).

Онъ уже не придаетъ картинамъ природы своихъ ощущеній; онъ даже не изучаетъ и не изслѣдуетъ болѣе впечатлѣнія, какое эти картины оставляютъ въ его душѣ. Онъ изображаетъ природу съ объективнымъ спокойствіемъ, такъ-же какъ и все, что онъ видитъ и переживаетъ; почти схематически набрасываетъ онъ свои наблюденія надъ погодой и облаками, расчлененіемъ горъ и горными породами, пейзажами и общественными условіями; въ этихъ замѣткахъ дневника, по извѣстнымъ рубрикамъ, отсутствуетъ почти всякое художественное созданіе; при наблюденіи природы метеорологія, геологія и ботаника берутъ перевѣсъ надъ эстетическимъ отношеніемъ къ ней. Составу почвы изъ глины или образованію горъ изъ кварца, известняка, слюдистаго сланца, гнейса и т. п. отводится болѣе мѣста, чѣмъ красотѣ страны; вопросъ о первичной растительной формѣ болѣе занимаетъ его, чѣмъ зрѣлище великолѣпныхъ древесныхъ группъ. Какъ-же могло произойти, что этотъ юношески-пламенный духъ, создавшій «Вертера», первую часть «Фауста» и столько величественныхъ пѣсень, заставилъ себя самъ ограничиться одними «чувственными впечатлѣніями», поставивъ ихъ впереди душевныхъ впечатлѣній? Прежде всего, онъ хотѣлъ «разгладить морщины, образовавшіяся и отпечатлѣвшіяся въ его душѣ» и потомъ Веймарская эпоха съ ея практическою дѣя-



тельностью и постепенно усиливавшимися занятіями естествознаніемъ придавали всему его міровоззрѣнію болѣе реалистическій, положительный, объективный характеръ; какъ онъ говоритъ самъ въ своемъ разсужденіи о гранитѣ, онъ перешелъ «отъ наблюденія и изображенія человѣческаго сердца, этой самой новой разнообразной, подвижной, измѣнчивой и непрочной части творенія, къ наблюденію самаго древняго, твердаго, глубокаго, непоколебимаго произведенія природы.

Субъективный, мечтательный идеализмъ бурной юности уступилъ свое мѣсто соразмѣрному объективному реализму зрѣлаго мужества. Поэтому, письма изъ Италіи уже другого содержанія, чѣмъ письма изъ Швейцаріи 1779 г.; тамъ совершилась его внутренняя метаморфоза: «Между Веймаромъ и Палермо, я испыталъ много переменъ», говоритъ онъ. Все это не исключаетъ, однако, восхищенія той красотой, какая въ Италіи развѣтывалась передъ глазами Гете. Онъ самъ замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ: «Въ моей природѣ заключается свободное и радостное почитаніе великаго и прекраснаго и развивать эту способность въ виду величественныхъ предметовъ день за днемъ, часъ за часомъ, есть блаженнѣйшее изъ всѣхъ чувствъ».

Онъ наслаждается съ величайшей отрадой «драгоцѣнными» днями, величественностью странъ, открывающихъ его взору совершенно новый міръ. Могущественное впечатлѣніе производитъ на него море. Онъ описываетъ свой выѣздъ на Лидо: «Я услышалъ сильный шумъ: это было море, и вскорѣ я увидалъ его; оно высоко поднималось на берегъ, въ тоже время отступая отъ него: это было время полуденнаго отлива. Такъ я увидалъ море своими глазами и слѣдовалъ за нимъ по тому красивому мягкому руслу, какое оно оставляетъ». Однако, далѣе онъ ограничивается немногими словами: «Море есть великое зрѣлище!»<sup>1)</sup> И въ другомъ мѣстѣ онъ довольствуется короткимъ сообщеніемъ: «Я оставилъ Перуджію въ великолѣпное утро и чувствовалъ блаженство вновь быть однимъ. Положеніе города прекрасно; видъ моря въ высшей степени отрадный». Именно въ Римѣ въ его душу тѣснится такъ много

---

<sup>1)</sup> Ср. также изданные нѣсколько лѣтъ тому назадъ «Гётевскимъ обществомъ» (Т. II,) «Tagebücher und Briefe Goethe's aus Italien an Frau v. Stein und Herder» von E. Schmidt, Weimar 1886, S. 150.



новыхъ впечатлѣній, и интересъ, возбуждаемый развалинами, картинами, дворцами, церквами, народнѣйшею жизнью и проч., такъ разнообразенъ, что онъ едва успѣваетъ переработывать его внутри себя, и это, въ особенности, потому, что плодотворное дѣйствіе окружающаго вызываетъ въ его груди все болѣе и болѣе роскошную жизнь. Онъ много рисуетъ; такъ онъ пишетъ въ Фраскати (15 ноября 1786 г.): «Страна весьма привлекательна; это мѣсто лежитъ на холмѣ или скорѣе на горѣ, и каждый шагъ представляетъ живописцу великолѣпнѣйшія мѣстности. Видъ отсюда безграничный: видишь Римъ, лежащимъ передъ собою, а еще далѣе—море; на правой сторонѣ горы Тиволи» <sup>1)</sup> и т. д.

Въ самомъ Римѣ онъ пишетъ, отъ 2-го февраля 1787 г.: «Какъ красивъ Римъ, когда по немъ идешь при лунномъ свѣтѣ,—нельзя имѣть понятія, не издавши его», или во время карнавала 21-го февраля: «Небо столь безконечно-чистое и прекрасное смотрѣло такъ благородно и невинно на эти забавы»; или во время переѣзда въ Сицилію: «Въ полдень мы взошли на корабль и наслаждались, при великолѣпной погодѣ, прекраснѣйшимъ зрѣлищемъ. Недалеко отъ Моло корветъ стоялъ на якорѣ. При ясномъ солнцѣ атмосфера была наполнена парами; отъ этого отбѣненныя, скалистыя стѣны Сорренто казались прекраснаго голубого цвѣта. Освѣщенный, оживленный Неаполь блестѣлъ всѣми красками». И отъ 1-го апрѣля: «Яркій лунный свѣтъ при мутноватомъ небѣ даетъ безконечно-прекрасное отраженіе на морѣ».

Въ остальномъ, Италія и въ особенности Римъ, по крайней мѣрѣ, относительно пейзажа, неба, воздуха, линій и красокъ производили на него такое-же впечатлѣніе, какъ и на многихъ другихъ, пріѣзжавшихъ туда съ сѣвера: онъ только постепенно привыкаетъ и обживаетъ тамъ. Такъ онъ пишетъ во время второго посѣщенія Рима, 16 іюня, 1787 г.: «Еще одно замѣчаніе. Только теперь деревья, скалы, самый Римъ начинаютъ мнѣ нравиться; до этого времени я всегда ихъ чувствовалъ чужими себѣ; напротивъ, меня радовали незначительные предметы, которые имѣли сходство съ тѣми, какіе я видалъ въ юности». Это весьма поучительная мысль. Въ жизни духа все основано на воспріятіи; то настроеніе, ту душу,

---

<sup>1)</sup> Schr. der Goethe-Gesellschaft. Bd. II, S. 220.



THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO



3 8198 322 280 189



